

НОВЫЙ МИР

Ж

179461

3

МОСКВА

1944

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г

№ 3

Год издания XXI

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ — На Урале, поэма	2
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Петр I, книга третья	7
ВЕРОНИКА ТУШНОВА — Хирург, стихотворение	31
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — Казаки, стихотворения	32
ИГОРЬ ЛУКОВСКИЙ — Битва при Грюнвальде, пьеса в 4-х действиях	35
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Рассказы	63
ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ — Севастопольский камень, черноморская легенда	76
СЕМЕН ГУДЗЕНКО — Письмо, стихотворение	78
ДЖОН Б. ПРИСТЛИ — Дневной свет в субботу, роман. Окончание. Перевод с английского М. Е. Абкиной	79

Ч. ВЕНГРОВ — «Сын»	130
А. ГУРВИЧ — Отвлечение от личности	135
М. ДОБРЫНИН — О современной белорусской литературе	145
С. МАРШАК — О детской литературе наших дней	149

БИБЛИОГРАФИЯ

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН — Верность знамени	154
Э. ПАПЕРНЫЙ — «Далеко на севере»	156
Н. ПАВЛОВ — «Солдат-полководец»	157
КОРОТКО О КНИГАХ	159

НА УРАЛЕ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ



1. ВСТУПЛЕНИЕ

Откуда этот ветер смоляной?
Откуда этот гордый звук металаа,
Как музыка летящий над страной?
С железных гор.

От быстрых рек.
С Урала.

Откуда этих пестрых песен клад?
Откуда эти ясные поверья,
Где все слова сверкают и горят,
как светляки, как райской птицы перья?
Откуда этот камень — самоцвет,
то розовый,

то красный,

то зеленый,

запечатлевший нежных радуг след,
лазурь небес и блеск войны студеной?
Похожая на вольную струю,
откуда эта сабля расписная,
готовая проворствовать в бою,
неистовство казачье прославляя?
Откуда эта пушка — громобой?
Какой суровый мастер несравненный
свою судьбу сроднил с ее судьбой,
вдохнув в металл свой разум

вдохновенный?

Откуда он, бывалый человек,
чья жизнь причиной этой песни стала?
С железных гор.

От шумных быстрых рек.

Кузнец и воин.

Верный сын Урала.

2. ХАРАКТЕР У ГОРОДА СТРОГИЙ ТАКОЙ

Город стоит на широкой реке,
Окутанный дымом,

произвенный гудками.

Короткие промы встают вдалеке
и катятся нехотя меж берегами.
Бывает гром,

что летит скуля

с какой-то нотой басовой лени.

А бывает гром,

что дрожит земля

и лошади падают на колени.

Приезжему с фронта сперва не понять,
куда он попал

и куда он приехал:

окопную музыку слышит опять
иль грохот грозы откликается эхом?
Но это недолго.

Один только миг.

Один только раз ошибётся он шибко.
Услышит повторный удар фронтовик —
и сразу лицо раздвигает улыбка.

— Вот это вот да! —

фронтовик говорит

Фашисту беда от таких колоколен!

И взор у солдата задором горит
и видно, что парень доволен-доволен.
А выстрелы снова гремят над рекой
И вьётся дымок на лесном горизонте.

Характер у города строгий такой —
от фронта вдали,

а пальба, как на фронте.

3. С ТОБОЙ ГОВОРIT ПУШКАРЬ

Здесь живут уральцы-пушкари.

Гордость, строгость —

в каждом их ответе!

Задержиcь,

с любым поговори

и узнай, как надо жить на свете.

— Да, браток, работаем сейчас,
скорости хорошей достигая,

Потому профессия у нас
сердцу с малолетства дорогая.

Дед пушкарь и прадед был пушкарь
и внучёнок этим же гордится.

Только то, что делали мы встарь,
с нынешней работой не сравнится.

Нынешняя пушка —

чудеса!

Эвон, чуешь,

как снаряд буравит.

Хочешь —

залетит на небеса,

хочешь —

землю насквозь продырявит.

С нашей пушкой действовать в бою,
сказывают,

каждому охота...

А работу любим мы свою,

потому —

полезная работа!

И опять с восторженным лицом,
голос напрягая до предела,
говорит пушкарь тебе о том,
как он любит пушечное дело.

И вот здесь,

вдали от битв,

в тылу,

ты постигнешь с чувством удивленья,
что такое верность ремеслу,
равная успеху наступленья.
И с трудом спокойствие храня,
ты припомнишь с самого начала
славную историю огня
грозного оружия Урала.
Урал!

Как свежий ветер по утру,
шумит его прославленное имя.
Он помогал Великому Петру
ружейными богатствами своими.
Урал!

Родник

несметных русских сил.

Четыре этих буквы прославляя,
Суворов с торжеством произносил,
Кутузов называл, благославляя,
Уральских пушек седоватый дым
видали Альпы подросшие вершины.

По мёрзлым склонам, голым и крутым,
стучали пулко кованые шины.
стирая нормы всех военных карт,
ослепшие от вьюги, бородаты
их на руках несли чрез Сен-Готард
отчаянные русские солдаты.

Уральских пушек слышен голос был
далече от отечества родного,
сни когда-то брали Измаил,
палили на холмах у Ватерлоо.
Колёса их, пространства не щадя,
сбивая спесь, внушительно и чинно,
прогрохали

по хмурым площадям
впервые покорённого Берлина.

Уральской саблей нехристей рубал
Денис Давыдов

в честь родного края.
Уральскойковки солнечный металл
играл в руке Василия Чапая.
Отсюда,

от уральского хребта
бежал Колчак, разбойник и меняла,
И каждая уральская верста
его кровавый след запоминала.
Мы долго будем в памяти беречь,
как под Смоленском,

в утреннем тумане
Прямой наводкой сыпали картечь
кунгурцы,

кудымкарцы,

чусовляне.

Урал! Урал!

Недаром пушкари
гордятся родословной, как победой.
Остановись,

с любым поговори —
и не уснёшь до самой до зари,
взволнованный вечернею беседой.

4. ПО РЕКЕ ПЛЫВЕТ БАРЖА

Крытый солнца позолотой
гонит лёгкий катерок.
Катерку с большой охотой
помогает ветерок.

А навстречу катерочку,
над волною ворожа,
за буксиром в одиночку
не спеша ползет баржа.
А за черной за баржою
в три сажени шириною
долиной на полверсты
чередом идут плоты.
Тяжело буксиру, трудно,
гулевой волне вдогон
тащит маленькое судно
сразу, может, тыщу тонн.
И чего тут только нету!
Словно странник-великан
много дней гуляя по свету
и находки клал в карман.
Лом чугунный,

лом железный,

драгоценный лом стальной.
По причине неизвестной
якорь сломанный, кривой,
Паровозные колёса,

Отслужившие свой срок,
ствол пожарного насоса,
перебитый полперек,
две рессоры ржавой масти
старика-грузовика,
развалившийся на части
полукруг маховика,
обод погнутый и жалкий,
извлечённый из золь,
лемеха,

кранштейны,

балки,

одряхлевшие валы,
с расщеплёнными боками
паровой котёл худой,
танки с белыми крестами,
с развороченной броней.
Всё заводу пригодится,
Всё пойдет на переплав,
всё в орудья превратится,
снова грозной силой став.
Чародей-завод прожорлив,
виснет зарево над ним.
День и ночь в кирпичном горле
смоляной хлопочет дым.
Многотрубный,

коренастый,

тучей вставший над рекой,
огнедышащий

горастый,
потерявший сон-покой,
пожирающий бесчётно
уголь,

нефть,

еловый лес,
злые, дымные полотна
протянувший до небес,
ляющий,

плавающий,

кующий,

грому, родственник прямой,
он живет, как мастер суций,
трудной жизнью тыловой!
Но чего б он ни присвоил
и чего б ни сжег в огне, —
в самый краткий срок с лихвою
возвращается стране.

5. МЕТАЛЛА КИПИТ И ЛЬЕТСЯ

Вот берёт магнит-лебёдка
щепоть лома в тонну весом
и несёт свою находку
с хищным,

жадным интересом.

Вот плывёт,

вот повисает,

на мгновение помешкав,
и звенящий груз бросает
в мульду — круглую тележку.
У тележки — нрав серьёзный,
так сказать, не нрав, а норов, —
катит мульда с песней грозной
в печь без лишних разговоров.

Лезет мульда к чорту в душу,
а за ней десяток дугом —
и порожние наружу
возвращаются с испугом.
Побывать в печи — не шутка,
неприглядная картина:
как в аду красно и жутко
и до ужаса пустынно.

Гаснет звуков перепалка.
Кран-магнит давно в отставке.
Быстро кончилась завалка,
наступает время плавки.
Не создаст воображенья,
не раскроет описание
это страшное брожение,
это злое клочотанье.

Как живой металл бормочет!
Презирая муки плавки,
он из твердого не хочет
сноза стать послушно-мягким.
Но в печи температура
душит,

давит,

наступает —

и железная натура
постепенно уступает.

Гордый якорь уж не якорь,
весь поник с тоской немой,
будто он во век не бражал
толстой цепью за кормом.
Может-быть, ещё минута
и печальный миг настанет —
вскрихнет якорь почему-то
и его совсем не станет.
Потеряет якорь имя,
захлабится пузырьки
и смешается с другими
обречёнными друзьями.
И начнёт бурлить по кругу,
всё стремительней и пуще,
звизхнув огненную выюгу,
вулканическая гуща.
Не дыша стоишь в молчанье,
если видишь ты впервые

это мертвое качанье,
эти волны неживые.

А вокруг —

июль сверкает.

Говор.

Радость.

Воскресенье.

Люди ждут и наблюдают
смертоносное кипенье.
Людам нужен до зареза
этот кладезь гневной лавы.
Люди будут из железа
делать памятники славы.
Солнце соло.

Даль поблекла.

час пришёл,

Пора настала —

вырывается из пекла
голос пленника-металла.
Кто-то властной рукою
где-то, что-то отодвинул, —
и прошёл,

ударил,

хлынул

огнепад струей круток.
Как неопытному глазу
разглядеть струю такую
искрометно-огневую,
ослепляющую сразу!?
Даже дрожь бежит по коже
(как поэту жить не мучась!)
с чем сравнить, чтоб было схоже,
эту яркость,

эту жгучесть!?

С крепкой удаляю народной,
с боевой пушкой братской,
с хлёсткой песнею походной,
с русской доблестью солдатской.
С жаркой кровью в наших жилах,
с нашей дерзостью извечной,
с нашей славой, с нашей силой,
с нашей верой бесконечной.
С твердой волей человека,
чьи дела и думы стали
сокровенным чувством века,
блеском солнца, звонком стали.
Кто идёт в огне и дыме
с нами вместе неразлучно,
чьё торжественное имя
с чистой сталью так созвучно!

6. САМОЕ ГЛАВНОЕ — СТВОЛ!

Ушки прошу держать на макушке
о чём бы я речь ни вёл.
Самая главная часть у пушки
это, конечно, ствол.

Пушка,

считай,

без ствола не шутка,

как лук без струны-тегивы,
как боевой барабан без звука,
как всадник без головы.
Каждой детали —

своя дорога,

свой на пути приют.

Посмотрим, однако, на дело строго,
как этот ствол куют.

Падают вниз громовёржец-молот

зола и, как бык, мордаст.
Попадая никто у него не молит,
он все равно не даст.
Любо смотреть,

как одним ударом
сводится толща на-нет.
Стонет болванка,
плюёт нагаром,

вытягивает хребет.
Там, где горбатое было место —
гладь возникает вдруг.
Так разминают тугое тесто
сильным нажимом рук.
Ловко,

уверенно,

точно,

быстро,

множество раз под ряд.
Только белесые брызги — искры
вместо свечей горят.

А в ковочной —
ветер горячий злится

Чад.

Духота.

Жара.

Людам хочется окатиться
попросту из ведра.
Стоишь в рубахе

в одной исподней,

а кажется, что в дохе.
Так же, наверно, стоят в преисподней,
какая в своём грехе.
И диву даёшься, с каким терпеньем
люди весь день куют.
Мало терпенья —

с ожесточеньем

Песни ещё поют.

Нет, не горька им исчадья чаша.

Они на войне. Бойцы.

Вот они,

гордость и совесть наша, —
уральские кузнецы!

Вот она

нация мировая,

люди, что бьют слеза,
ливнем осколочным накрывая
Гитлера — падача.

Вон, как один из них,

с виду кроткий,

весело,

напряжик,

в насквозь промокшей косоворотке
действует в этот миг.

Ловит пылающую болванку
и набок её кладёт.

Так бронбойщик навстречу танку
один-на-один идёт.

Будет немедленно ствол откован
и двинется к мастерам
и каждому в отдельности облюбован,
станет казист и прям.

И, может-быть, будет ещё удобно,
после когда-нибудь,
лёгким стихом описать подробно
весь его долгий путь.

Как закаляют,

как выпрямляют,

ведут на цепях под уздцы,
как иступлённо его строгают
с разных сторон резцы.
Как с ястребиным упрямством сверла
лезут в нутро винтом,
как в перегретом и дымном горле
долго першит потом.
Как его гладят,

качают,

вертят,

ставят затем на дыбы,
как по стальному каналу смерти
тянет змею резьбы.
Как он прямой,

маслянистый,

чистый,

бурям наперекор,
светлый,

ликующий

и плечистый

ждёт, наконец, на сбор.

7. ПУШКА ДОЛЖНА ПЕТЬ!

Радостный говор стали
звонок, как на торгу.
Сходятся все детали
в сборочном, на кругу.
Здесь, — и светло, и гулко.

Жить не охота врозь.
Прочно ложится люлька
на боевую ось.

Впредь никакая тряска
пушечке не страшна.

Масляная салазка
в люльку погружена.

Тесно,

надежно,

туго

ствол на неё надет.

Держат они друг друга
так же, как их — лафет.

Накрепко все припёрто
начисто, до конца.

Прочность такого сорта
не подведёт бойца.

Но чтоб огневого вала
сила была грозна, —

прочности пушке мало,
ей точность ещё нужна.

И снова кипит работа —
до тонкости, до мечты

подъёма и поворота
доводятся все винты.

Работа —

над каждой гранью,

над каждой резьбой внутри.
С приспиранием,

со стараньем

трудятся пушкари.

Работают дружно, рьяно,
как будто в листах брони,
не пушку,

а фортепяно

настраивают они.

И кажется в этом раже:
попробуй людей спроси —

и люди тебе покажут,
где «до» прозвучит,
где «си».

Прочность —
чтоб без износа

сыпало дуло жар.

Точность —

чтоб даже носа
не подточил комар!

Чтоб круче,

быстрее,

дальше,

чтоб голос его без фальши
в холодной ночи звенел.

Чтоб пушка жила и пела,

чтоб даже не застил дым

угол того прицепа,

который необходим!

8. НА МИРНОЙ ТРАВЕ ПОЛИГОНА

Сегодня особенно тих и печален
Уральский закат над вершинами бора.
Певучие звуки дневных наковален
расплавились в море цветного набора.
Как редок он здесь, этот час

безмятежный!

Притих зачарованный труженик-город.

Но вдруг заколдованный

воздух прибрежный

качнулся немислимой силой распорот.

Урал, город Н.

Теперь уже громы помчатся с разгону,
хоть уши зажми, хоть шепчи

заклинанья.

На мирной, на влажной траве полигона
опять и опять начались испытанья.

— Ещё раз! Ещё раз! —

хмельной, потрясённый

кричу я во тьме пушкаря молодому.

Кричу и бегу по дорожке бетонной

навстречу летящему новому грому.

Удар за ударом,

удар за ударом.

Впиваются в небо тупие спирали.

Нет, в песнях Урал прославляют не даром.

Не даром несётся молва на Урале!

Ещё раз! Ещё раз! —

Удары крепчают.

Один одного тяжелее и тверже.

За Керчью, под Яссами нам отвечают.

Ответы грохочут под древнею Оршей.

С Урала на Запад летят эшелоны,

грузённые страшным стальным

урожаем —

приветливым словом, глубоким поклоном

с великой надеждой мы их провожаем.

Гремит переключка широкого боя.

Окрестности неба в багровом покрове.

Лихой «бог войны» с огневой бородою

нахмурил суровые, дымные брови...

ПЕТР I

Книга третья

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Скучно стало в Москве. В обеденную пору — в июльский зной — одни бездомные собаки бродили по кривым улицам, опустив хвосты, приносивая всякую дрянь, которую люди выбрасывали за ненадобностью за ворота. Не было прежней толкотни и крика на площадях, когда у иного почтенного человека полы оторвут, зывая к палаткам, или вывернут карманы, раньше чем он что-нибудь купит на таком вертячем месте. Бывало, еще до зари ого всех слобод, — арбатских, сухаревских и замоскворецких, — везли полные телеги красного, скобяного и кожевниного товара, — горшки, чашки, плашки, кренделя, решета с ягодой и всякие овощи, несли шести с лаптями, лотки с пирогами, торопясь становили телеги и палатки на площадях. Опустели стрелецкие слободы, дворы на них позападали, поросли глухой крапивой. Много народу работало теперь на новозаведенных мануфактурах, вместе с колодниками и кабальными. Полотно и сукно оттуда шло прямо в Преображенский приказ. Во всех московских кузницах ковали шпаги, копья, стрелы и шпоры. Конопляной веревочки нельзя было купить на Москве, — вся конопля взята в казну.

И колокольного звона прежнего уже не было — от светла до светла, — во многих церквах большие колокола сняты и отвезены на Литейный двор, перелиты в пушки. Пономарь от Старого Пимена, когда пропахшие табачищем драгуны сволокли у него с колокольни великий колокол, напился пьян и хотел повеситься на перекладне, а потом, лежа связанный на сундуке, в исступлении ума закричал, что слава была Москва малиновым звоном, а теперь на Москве станет тóмно.

Прежде у каждого боярского двора, у ворот, зубоскалили наглые дворовые холо-

пы, в шапках, сбитых на ухо, играли в свайку, метали деньгу или просто — не давали проходу ни конному, ни пешему, — хохот, баловство, хватанье руками. Нынче ворота закрыты наглухо, на широком дворе — тихо, людишки взяты на войну, боярские сыновья и зятья либо в полках унтер-офицерами, либо усланы за море, недоросли отданы в школы — учиться навигации, математике и фортификации, сам боярин сидит без дела у раскрытого окошечка, — рад, что хоть на малое время царь Петр, за отъездом, не неволит его курить табак, скоблить бороду, или в белых чулках по колено, в парике из бабьих волос — до пупа — вертеть и дергать ногами.

Не весело, тóмно думается боярину у окошечка... «Все равно мово Мишку математике не научишь, поставлена Москва без математики, и жили, слава богу, пятьсот лет без математики — лучше нынешнего; от этой войны, само собой, ждать нечего, кроме конечного разорения, сколько ни таскай по Москве в золоченых телегах богопротивных Нептунов и Венерок во имя преславной виктории на Неве... Как пить дать, швед побьет наше войско, и еще татары, давно этого дожидаясь, выйдут ордой из Крыма, полезут через Оку... О, хо-хо!»

Боярин тянулся толстым пальцем к тарелке с малиной, — осы, проклятые, облепили всю тарелку и подокольник! Лениво перебирая четки из маслиновых косточек — с Афона, — боярин глядел на двор. Запустение! Который год за царскими затеями да забавами и подумывать некогда о своем-то... Клетки покривились, на погребках дерновые крыши просели, повсюду бурьян безобразный... «И куры, гляди-ко, какие-то голенастые, и утка мелкая нынче, горбатые поросята идут гуськом за свиньей — грязные да тощие. О хо-хо...» Умом боярин понимал, что надо бы крикнуть скотницу и птичницу да тут же их под окошком и похлестать лозой, вздев юбки.

В такой зной кричать да сердиться — себе дороже.

Боярин перевел глаза повыше — за тын, за липы, покрытые бело-желтым цветом и гудящими пчелами. Не так далеко виднелась обветшавшая кремлевская стена, на которой между зубцами росли кусты. И смех, и грех, — допартвовался, Петр Алексеевич! Крепостной ров от самых Троицких ворот, где лежали кучи мусора, заболотился совсем, курица перейдет, и вониза же от него!.. И речка Неглинная обмелела, с правой стороны по ней — Лоскутный базар, где прямо с рук торгуют всяким краденым, а по левому берегу под стеной сидят с удочками мальчишки в запачканных рубашках, и никто их оттуда не гонит...

В рядах на Красной площади купцы забирают лавки, собрались итти обедать, все равно торговлишка тихая, вешают на дверях пудовые замки. И пономарь прикрыл двери, затряс козлиной бородой на нищих, тоже пошел потихоньку домой — хлебать квас с луком, с вяленой рыбой, потом — посыпать носом в холодок под бузину. И нищие, убогие, всякие уроды сползли с паперти, побрели под полуденным зноем — кто куда...

В самом деле, пора бы собирать обедать, а то истома совсем одолела, такая скучища. Боярин всмотрелся, вытянул шею и губы, даже приподнялся с табурета и прикрыл ладонью сверху глаза свои, — по кирпичному мосту, что перекинут от Троицких ворот через Неглинную на Лоскутный базар, ехала, отсвечивая солнцем, стеклянная карета четверней — цугом серых коней, с малиновым гайдуком на выносной. Это царевна Наталья, любимая сестра царя Петра, с таким же спокойным нравом, как у брата, вышла в поход. Куда же она поехала-то, батюшки? Боярин, сердито отмахиваясь платком от ос, высунулся в окошечко.

— Гришутка, — закричал он небольшому пареньку в длинной колацевой рубашке с красными подмышками, мочившему босые ноги в луже около колодца, — беги что есть духу, вот я тебя!.. Увидишь на Тверской золотую карету — беги за ней, не отставай, вернешься — скажешь, куда она поехала...

2.

Четверня серых лошадей, с красными султанами над ушами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павианы, забиравшиеся летом спать на деревья. Не перечеть, сколько на бревенчатом, потемневшем от времени дворце было пестрых и луженых крыш над свет-

лицами, переходами и крыльцами: и крутых, с гребешком, как у ерша, и бочкой, и кокошником. Над ними в полуденной тишине резали воздух злые стрижи. Все окошечки во дворце заперты. На крыльце дремал на одной ноге старый петух, — когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал, и, как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда из подклети открылась низенькая дверь и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, стал на колени и поклонился лбом в землю.

Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо:

— Где боярышни, дедушка?

Дед поднялся, выставил сивую бороду, вытянул губы:

— Здравствуй, матушка, здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна, — и ласково глядел на нее из-под бровей, застывавших ему глаза, — ах ты, богоданная, ах ты, любезная... Где боярышни, спрашиваешь? А боярышни не знаю где, не видал.

Наталья выпрыгнула из кареты, стщила с головы тяжелый, жемчужный, рогатый венец, с плеч сбросила парчевый астрник, — надевала она старомосковское платье только для выезда, — ближняя боярыня, Василиса Мясная, подхватила вещи в карету. Наталья, высокая, худощавая, быстрая, в легком голландском платье, пошла по лугу к роще. Там — в прохладе — зажмурилась, — до того был силен и сладок дух цветущей липы.

— Ах! — крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, отжалкнулся ленивый женский голос. На берегу пруда, близ воды у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер, в тени его на подушках, изнывая, лежали четыре молодых женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, разморенные, с развитыми косами. Та, что постарше, низенькая, длинноногая, Анисья Толстая, первая подбежала к ней и всплеснулась, вертя проворными глазами:

— Свет наш, Натальюшка, государыня-царевна, ах, ах, туалет заграничный! Ах, ах, божество!

Две другие, — сестры Александра Даниловича Меншикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой для обучения политесу и грамоте, — юные девы Марфа и Аня, обе пышные, еще мало обтесанные, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское, — красная, тонкой шерсти широкая юбка, с тройной золотой каймой по подолу и невиданная узкая душегрейка, — шея, плечи — голые, руки по локоть — голые. Наталья и сама понимала, что только с богиней можно сравнить ее, ну — с Дианой, кругловатое лицо ее, с приподнятым коротким, как у брата, носом,

маленькие ушки, ротик — все было ясное, юное, надменное.

— Туалет вчера мне привезли, прислала из Гааги Саңька, Александра Ивановича Волкова... Красиво и — телу вольно... Конечно — не для большого выхода, а для рожи, для луга, для забав.

Натаалья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль, скромно сложив наперед опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские. Круглые щеки — румяны от зноя, темные, кудрявые волосы — тоже влажные. Натаалья, поворачиваясь под ахи и всплески рук, несколько раз взглянула на нее, стропливо выпятила нижнюю губу, — еще не понимала сама: любезна или неприятна ей эта маринбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меншиковым и покорно, — однажды ночью, у горящего очага, за стаканом вина, — отданная им Петру Алексеевичу.

Натаалья была девственница, — не в пример своим единокровным сестрам, родным сестрам, заточенной в монастыре правительницы Софьи, царевнам Катьке и Машке, над которыми потешалась вся Москва. Нрав у Натаальи был пылкий и непримиримый. Катьку и Машку она не раз ругивала потаскушками и коровами, разгорячаясь, и била их по щекам. Старые теремные обычаи, жаркие скромные шопоты разных бабок-задворенок она изгнала у себя из дворца. Она и брату, Петру Алексеевичу, выговаривала, когда он одно время, навсегда отослав от себя бестыжью фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами. Вначале Натаалья думала, что и эта — солдатская полонянка — также ему лишь на полчаса: встряхнется и забудет. Нет, Петр Алексеевич не забыл того вечера у Меншикова, когда бушевал ветер, и Екатерина, взяв свечу, посветила царю в спальне. Для меншиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелю, узлы и коробья, а через небольшое время оттуда ее перевезли в измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой.

Здесь Катерина жила без печали, всегда веселая, простодушная, свежая, и ваялась в свое время под солдатской телегой. Петр Алексеевич часто ей присылал с оказией коротенькие смешливые письма, — то то со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Питербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала. У

Натаальи растревалось любопытство: чем она, все-таки, его приворожила?

— Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя? — сказала Натаалья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила:

— Хочу очень... Спасибо...

— Робеет она тебя, свет Натаальюшка, — зашептала Анисья Толстая, — не пепели ее взором, будь с ней послабее... Я ей — и так, и сяк — про твою доброту, она знай свое: «царевна безгрешная, я — грешная, ее, говорит, доброту ничем не заслужила... Что меня, говорит, государь полюбил — мне и то удивительно, как гром с ясного неба, опомниться не могу...» Да и эти две мои дурищи все к ней лезут с расспросами, — что с ней было, да как? Я им настрого про это и думать и говорить наказала. Вот вам, говорю, греческие боги да амур, про их похождения и думайте, и говорите... Нет и нет, въелась в них эта деревенщина — щебетать про все пошлое... С утра до ночи им одно повторю: были вы рабынями, стали богинями.

От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве так, что в ушах было сухо. Далеко, на той стороне пруда, черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в мареве. Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли на бледной воде. Натаалья пошла под тень шатра, сбросила душгрейку, окрутила темнорусые косы вокруг головы, растегнула, уронила юбку, вышла из нее, спустила тонкую рубашку и, совсем, как на печатанных голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из Дворцового приказа, — не стыдясь наготы, — пошла на мостки.

— Купаться всем! — крикнула Натаалья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна жеманились, раздеваясь, покада Анисья Толстая не прикрикнула на них: «Чего приседаете, толстомясые, никто ваши прелести не похитит!». Катерина тоже смущалась, замечая, что царевна пристально разглядывает ее. Натаалья как будто и брезговала, и любовалась ею. Когда Катерина, опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве, и зной озолотил ее, круглоплечую, тугобедрую, налитую здоровьем и силой, Натаалье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине, ему, наверно, видится сквозз табачный дым, как — вот она — красивыми руками поднесет младенца к высокой груди... Натаалья с трудом выдохнула полную грудь воздуха и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду... В этом месте со дна били клячуи...

Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась, и тут только Натаалья окончательно поняла, что, кажется, готова любить

ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи.

— Красивая ты, Катерина, я рада, что братец тебя любит.

— Спасибо, государыня...

— Можешь звать меня Наташей...

Она поцеловала Катерину в холоднотазую, круглую, мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза.

— Будь умна, Катерина, буду тебе другом...

Марфа и Анна, окуная то одну, то другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках, — Анисья Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все паучки разбежались, все стрекозы, сорвавшись с осоки, летали, толклись над купающимися богинями.

3.

В тени шатра, закрутив мокрые волосы, Наталья пила только-что принесенные с погребца ягодные водички, грушевые медки и кисленькие кваски. Кладя в рот маленький кусочек сахарного пряника, говорила:

— Обидно видеть наше невежество. Слава богу — мы других народов не глупее, девы наши статны и красивы, как никакие другие, — это все иностранцы говорят, — способны к учению и политесу. Братец который год бьется, — силой тащит людей из теремов, из затхлости... Упираются, да не довки, — отцы с матерями. Братец, уезжая на войну, уж как меня просил: «Наташа, не давай, пожалуйста, им покоя — старозаветного бородачам... Досаждай им, если добром не хотят... Засосет нас это болото...» Я бьюсь, я — одна... Спасибо царице Прасковье, в последнее время она мне помогает, — хоть и трудно ей старину ломать — все-таки завела для дочерей новые порядки: по воскресеньям у нее после обедни бываю во французском платье, пьют кофей, слушают музыкальный ящик и говорят о мирском... А, вот, у меня в Кремле осенью будет новинка, так новинка.

— Что же за новинка будет у тебя, свет наш? — спросила Анисья Толстая, вытирая сладкие губы.

— Новинка будет изрядная... Театр... Не совсем, конечно, как при французском дворе... Там, в Версале, во всем свете преславные актеры, и танцоры, и живописцы, и музыканты... А здесь — я одна, я и трагедии перекладывай с французского на русский, я и сочиняй — чего недостает, я и с комедиантами возись...

Когда Наталья выговорила «театр», обе девы Меншиковы, и Анисья Толстая, и Катерина, слушавшая ее, впившись темным взором, перегаянулись, всплеснули руками...

— Для начала, чтобы не очень напугать, будет представлено «Пещное действо», с пением виршей... А к новому году, когда государь придет на праздники, и из Петербурга съедутся, представим «Нраво-

учительное действо о распутном сластолюбце Дон Жуане, или как его земля поглотила...» Уж я весело в театре бываю всем, упираться начнут — драгунов буду посылать за публикой... Жалко, нет в Москве Александры Ивановны Волковой, — она бы очень помогла... Вот она, к примеру, из черной мужицкой семьи, отец ее лычком подпоясывался, сама грамоте начала учиться, когда уж замуж вышла... Говорит бойко на трех языках, сочиняет вирши, сейчас она в Гааге при нашем после Андрее Артамоновиче Матвееве... Кавалеры из-за нее на шпагах бьются, и есть убитые... И она собирается в Париж, ко двору Людовика Четырнадцатого — блистать... Понятна вам ученья польза?

Анисья Толстая тут же ткнула жесткой щепотью под бок Марфу и Анну.

— Дождались вопроса? А вот придет государь, да — случится ему — подведет к тебе или к тебе галантного кавалера, а сам будет слушать, как ты станешь сражаться...

— Оставь их, Анисья, жарко, — сказала Наталья, — ну, прощайте. Мне еще в Немецкую свободу нужно заехать. Опять жалобы на сестриц. Боюсь, до государя дойдет. Хочу с ними поговорить крутенько.

4.

Царевны Екатерина и Марья уже давно, — по заключении Софьи в Новодевичий монастырь, — выселены были из Кремля — с глаз долой — на Покровку. Дворцовый приказ выдавал им кормление и всякое удовольствие, платил жалование их певчим, конюхам и всем дворовым людям. Но денег на руки царевнам не давал, в первых, было незачем, к тому же и опасно, зная их дурость.

Катке было под сорок, Машка на год моложе. Вся Москва знала, что они на Покровке бесятся с жиру. Встают поздно, полдня нечесаные сидят у окошечек да зевают до слез. А как смеркнется — к ним в горницу приходят певчие с домраями и дудками; царевны, нарумянившись, как яблоки, подведя сажей брови, разнаряженные, слушают песни, пьют сладкие наливки и скачут, пляшут до поздней ночи так, что старый бревенчатый дом весь трясется. С певчими, будто бы, царевны живут и рожают от них ребят, и отдают тех ребят в город Кимры на воспитание.

Певчие эти до того избаловались, — в будни ходят в малиновых шелковых рубашках, в кунных высоких шапках и в сафьяновых сапогах, постоянно вымогают у царевен денег и пропивают их в кружале у Покровских ворот. Царевны, чтобы достать денег, посылают на Лоскутный базар бабу-кимрянку, Домну Вахрамеевну, которая живет у них в чулане, под лестницей, и баба продает всякое их ношенное платье; но этих денег им мало, и царевна Екатерина мечтает найти клады, для этого

она велит Домне Вахрамеевой видеть сны проклады. Домна такие сны видит, и царевна надеется быть с деньгами.

Наталя давно собиралась поговорить с сестрами крутенюко, но было недосуг, — либо проливной дождь с громом, либо что-нибудь другое мешало. Вчера ей рассказали про их невые похождения: царевны повадились ездить в Немецкую слободу. Отправились в открытой карете на двор к голландскому посланнику; покуда он, удивясь, надевал парик, и кафтан, и шпагу, Катька и Машка, сидя у него в горнице на стульях, шептались и пересмеивались. Когда он стал им кланяться, как полагается перед высокими особами — метя пол шляпой, они ответить не сумели, только приподняли зады над стульями и опять плюхнулись, и тут же спросили: «Где живет здесь немка-сахарница, которая продает сахар и конфеты?» — за этим они де и заехали к нему.

Голландский посланник любезно проводил царевен к сахарнице, до самой ее лавки. Там они, хватаясь руками за то и за это, выбрали сахару, конфет, пирожков, марципановых яблочек и яичек — на девять рублей. Марья сказала:

«Скорее несите это в карету».

Сахарница ответила:

«Без денег не отнесу».

Царевны сердито пошептались и сказали ей:

«Заверни, да запечатай, мы после придем».

От сахарницы они, совсем потеряв стыд, поехали к бывшей фаворитке, Анне Монс, которая жила все в том же доме, построенном для нее Петром Алексеевичем. К ней не сразу пустили, пришлось долго стучать, и выли цепные кобели. Бывшая фаворитка приняла их в постели, должно быть, нарочно улеглась. Они ей сказали:

«Здравствуй на много лет, любезная Анна Ивановна, мы знаем, что ты даешь деньги в рост, дай нам хоть сто рублей, а хотелось бы двести».

Монсха ответила со всей жесточью:

«Без заклада не дам».

Екатерина даже заплакала:

«Лихо нам, закладу нет, думали так выпросить».

И царевны пошли с фавориткиного двора прочь.

В ту пору захотелось им кушать. Они велели карете остановиться у одного дома, где им было видно через открытые окошки, как веселятся гости, — там жена сержанта Данилы Юдина, бывшего в ту пору в Ливонии, на войне, родила двойню, и у нее крестили. Царевны вошли в дом и напросились кушать, и им был оказан почет.

Часа через три, когда они отъехали от сержантовой жены, шедший по дороге аглицкий купец Вильям Пиль узнал их в карете, они остановились и спросили его, — не хочет ли он угостить их обедом? Вильям Пиль подбросил вверх шляпу и сказал

весело: «Со всем отменным удовольствием». Царевны поехали к нему, кушали и пили аглицкую водку и пиво. А за час до вечера, отъехав от Пила, стали кататься по слободе, заглядывая в освещенные окошки. Екатерина желала еще куда-нибудь напроситься поужинать, а Марья удерживала. Так они прохладжались до темна.

5.

Карета Натали вскачь неслась по Немецкой слободе мимо деревянных домиков, искусно выкрашенных под кирпич, приземистых, длинных купеческих амбаров с воротами, окованными железом, мимо забавно подстриженных деревьев в палисадниках; повсюду — поперек к улице — висели размалеванные вывески, в лавочках распахнуты двери, увешанные всяким товаром. Наталя сидела, поджав губы, ни на кого не глядя, как кука, — в рогатом венце, в накинутом на плечи летнике. Ей кланялись толстяки, в подтяжках и вязанных колпаках; степенные женщины в соломенных шляпках указывали детям на ее карету; с дороги отскакивал какой-нибудь щеголь в растопыренном на боках кафтане и прикрывался шляпой от пыли; Наталя чуть не плакала со стыда, хорошо понимая, как Машка и Катька насмешили всю слободу и все, конечно, — голландки, швейцарки, англичанки, немки, — судачат про то, что у царя Петра сестры — варварки, голодные попрошайки.

Открытую карету сестер она увидела в кривом переулке около полосатых — красных с желтым — ворот двора прусского посланника Кейзерлинга, про которого говорили, что он хочет жениться на Анне Монс и только все еще побаивается Петра Алексеевича. Наталя застучала перстнями в переднее стекло, кучер обернул смоланную бороду, надрывающе закричал: «Тпрурру, голуби!» Серые лошади остановились, тяжело поводя боками. Наталя сказала ближайшей боярыне:

— Ступай, Василиса Матвеевна, скажи немецкому посланнику, что, мол, Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна мне весьма надобны... Да им не давай куска проглотить, уводи хоть силой!

Василиса Мясная, тихо охая, полезла из кареты. Наталя откинулась, стала ждаться хрустя пальцами. Скоро с крыльца сбежал посланник Кейзерлинг, худенький, маленький, с тельчыми ресницами; прижимая на спех схваченные шляпу и трость к груди, кланялся на каждой ступеньке, вывертывая ноги в красных чулках, умильно вытягивал острый носик, молил царевну пожаловать зайти к нему, испить холодного пива.

— Недосуг! — жестко ответила Наталя. — Да и не стану я у тебя пиво пить... Стыдными делами занимаешься, батюшка... (И не давая ему раскрыть рта). Ступай, ступай, вышли мне царевен поскорее...

Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна вышли, наконец, из дома, как две копны — в широких платях с подхватами и оборками, круглые лица у обеих испуганные, глупые, нарумяненные, вместо своих волос — вороны, высоко вскрученные парики, увешанные бусами (Наталья даже застонала сквозь зубы). Царевны жмурились на солнце запавшие глаза, позади боярыня Мясная шипела: «Не срамитесь, вы, скорее садитесь к ней в карету». Кейзерлинг с поклонами открыл дверцу. Царевны, забыв и проститься с ним, полезли и едва уместились на скамейке, напротив Натальи. Карета, пыля красными колесами и поваливаясь на стороны, помчалась переулком и через пустырь на Покровку.

Всю дорогу Наталья молчала, царевны удивленно обмахивались платочками. И только войдя к ним наверх в горницу и приказав запереть двери, Наталья выскочила:

— Вы что же, бесстыжие, с ума совсем попятитесь или в монастырское заточение захотели? Мало вам славы по Москве? Понадобилось вам еще передо всем светом срамиться! Да кто вас научил к посланникам ездить? В зеркало поглядитесь, — от сытости щеки лопаются, еще им голландских да немецких разносолов захотелось! Да как у вас ума хватило пойти кланяться в двухстах рублях к скверной женке Анне Монсовой? Она-то довольна, что выгнала вас, попрошаек, — Кейзерлинг об этом непременно письмо настроит прусскому королю, а король по всей Европе растрезвонит! Сахарницу хотели обворовать, — хотели, не отпирайтесь! Хорошо она догадалась, вам без денег не отдала. Господи, да что же теперь государь-то скажет? Как ему теперь поступить с вами, коровищами? Остричь, да на реку на Печору, в Пустозерск...

Не снимая венца и летника, Наталья ходила по горнице, сжимая в волнении руки, моча горящие взоры на Катьку и Машку, — они сначала стояли, потом, не владея ногами, сели; носы у них покраснели, толстые лица тряслись, надувались воплем, но голоса подавать им было страшно.

— Государь сверх сил из пучины настянет, — говорила Наталья. — Недоспит, неест сам, доски пилит, сам гвозди вбивает, под пулями, ядрами ходит, только чтоб из нас людей сделать... Враги его того и ждуг — обесславить да погубить. А эти! Да ни один лютый враг того не догадается, что вы сделали... Да никогда я не доверю, я дознаюсь — кто вас надоумил в Немецкую свободу ездить... Вы — девки старые, неповоротливые...

Тут Катька и Машка, распутив вспухшие губы, залились слезами:

— Никто нас ненадоумил, — провила Катька, — провалиться нам сквозь землю...

Наталья ей крикнула:
— Врешь! А кто вам про сахарницу рассказал? А кто сказал, что Монсиха даст деньги в рост?..

Марья также провила:

— Сказала нам про это баба-кимрянка, Домна Вахрамеева. Она эту сахарницу по сне видела, мы ей верим, нам марципану захотелось...

Наталья кинулась, распахнула дверь, — за ней отскочил старичок — комнатный шалун в женском платье, попятитесь бабки-задворенки, бабки-уродки, бабки-шутихи с набитыми репьями в волосах. Наталья схватила за руку опрятную мягкую женщину в черном платке.

— Ты — баба-кимрянка?

Женщина молча махнула всем туловищем истовый поклон:

— Государыня-царевна, точно я из Кимр, скудная вдова Домна Вахрамеева...

— Ты царевен подговаривала ездить в Немецкую свободу? Отвечай...

Белое лицо Вахрамеевской задрожало, длинные губы перекривились:

— Я — женка порченная, государыня моя, говорю нечестные слова в ума иступления, благодетельницы-царевны моими глупыми словами тешатся, мне то и радость... По ночам сны вижу несказанные. А уж верят ли моим снам благодетельницы-царевны, нет ли — того не ведаю... В Немецкой свободе отродясь не бывала, никакая сахарницы и в глаза не видала. — Опять махнув Наталье поклон, вдова Вахрамеева стала сложить руки на животе под платком, закаменела, — хоть огнем пытай...

Наталья мрачно взглянула на сестер, — Катька и Машка только негромко охали, маясь от жары. В дверь просунулся старичок-шалун с одними ноздрями вместо носа, — усы, бороденка взъерошены, губы выворочены.

— Ай, рассмешить надо? — Марья досадливо махнула на него платком. Но уже с десяток рук вцепились с той стороны в дверь, и шутихи, уродки в лохмотьях, простоволосые, иные в дурацких сарафанах, в лубяных кокошниках, толкая старичка-шалуна, ввалились в горницу. Проворные, бесстыжие, начали сгигать, вскрикивать, драться между собой, таскаясь за волосы, хлеща по щекам. Старичок-шалун влез верхом на горбатую бабку, выставив ладти из-под лоскутной юбки, закричал гнусаво: «А вот немец на немке верхом песчал пиво пить...» В сенях подоспевшие певчие с присвистами грянули плясовую. Домна Вахрамеева отошла и стала за печку, опустил платок на брови.

В досаде, в гнев Наталья затопала красными башмачками, — «прочь!», — закричала на эту кувьркающуюся рвань и дрянь, — «прочь!» Но дурки и шутихи только громче завизжали. Что она могла сделать одна с этой бесовской толщей! Вся Москва полна ею, в каждом доме боярском, вокруг каждой паперти крутилась этот мрак кро-

мешный... Наталья брезгливо подбирала подола, — поняла, что на том и кончился ее разговор с сестрами. И уйти было бы глупо сейчас, — Катька с Машкой, высунувшись в окошки, так-то бы посмеялись вслед ее карете...

Вдруг, среди шума и возни, послышался на дворе конский топот и грохот колес. Певчие в сенях замолкли. Старичок-шаулю крикнул, оскаля зубы: «Разбегайся!» — дурки и шутихи, как крысы, кинулись в двери. В доме сразу будто все умерло. Деревянная лестница начала скрипеть под грузными шагами.

В светлицу, отдуваясь, вошел тучный человек, держа в руке посох, кованный серебром, и шапку. Одет он был по-старомосковски в длинный — до полу — кляквенный просторный армяк; широкое смуглое лицо сбрито, черные усы закручены по-польски, светловатые — со слезой — глаза выпучены, как у рака. Он молча поклонился — шапкой до полу — Наталье Алексеевне, тяжело повернулся и так же поклонился царевнам Катерине и Марье, задыхнувшимся от страха. Потом сел на скамью, положив около себя шапку и посох.

— Ух, — сказал он, — ну вот, я и пришел. — Вытащил из-за пазухи цветной большой платок, вытер лицо, шею, мокрые волосы, начесанные на лоб. Это был самый страшный на Москве человек — князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский.

— Слышали мы, слышали, — неладные здесь дела начались. Ай, ай ай! — Сунув платок за пазуху армяка, князь-кесарь перекатил глаза на царевен Катерину и Марью. — Марципану захотелось? Так, так, так... А глупость-то хуже воровства... Шум вышел большой... — Он повернула, как идола, широкое лицо к Наталье. — За деньгами их посылали в Немецкую слободу, — вот что. Значит, у кого-то в деньгах нужда. Ты уж на меня не гневайся, — придется около дома сестриц твоих караул поставить. В чулане у них живет баба-кимрянка, и носит тайно еду в горшечке на лустырь за огородом, в брошенную баньку. В той баньке живет беглый, пытаный распол Гришка... (Тут Катерина и Марья побелели, схватились за щеки). Который распол Гришка варит будто бы в баньке любовное зелье, и зелье от зачатия, и чтобы плод сбрасывать. Ладно. Нам известно, что распол Гришка, кроме того, в баньке пишет подметные воровские письма, и по ночам ходит в Немецкую слободу на дворы к некоторым посланникам, и заходит к женщине-черноряске, которая, черноряска, бывает в Новодевичьем монастыре, моет там помы, и моет пол в келье у бывшей правительницы Софьи Алексеевны... (Князь-кесарь говорил негромко, медленно, в светлице никто не дышал. Так я

здесь останусь небольшое время, любезная Наталья Алексеевна, а ты уж не марайся в эти дела, ступай домой по вечерней прохладе...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

За столом сидели три брата Бровкины — Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Нынче всё — спех, всё — недосуг. Сегодня ты здесь, завтра уж мчишься за тысячу верст в санях, закопавшись в сено под тулупом... Оказалось, что людей мало. Людей нехватает.

Яков приехал из Воронежа, Гаврила — из Москвы. Обоим было указано ставить на левом берегу Невы, повыше устья Фонтанки, амбары, или цейхгаузы, у воды — причалы, на воде — бóны, и крепить весь берег сваями — в ожидании первых кораблей балтийского флота, который со всем спешением строился близ Лодейного Поля на Свири. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меншиков, велел валить мацовой лес и как-раз на святую неделю заложил первую верфь. Туда привезены были знаменитые плотники из Олонцецкого уезда и кузнецы из Устюжины Железопольской. Молодые мастера-навигаторы, научившиеся этим делам в Амстердаме, старые мастера из Воронежа и Архангельска, славные мастера из Голландии и Англии строили на Свири двадцатипушечные фрегаты, шнявы, галюты, бригантины, буера, галеры и шмаки. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути, и скоро ожидали его здесь, в Питербурхе.

Алексей, без кафтана в одной рубашке голландского полотна, свежей по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, штоф с водкой, три оловянных стаканчика, перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба.

— Щи с солониной в Москве не диковинка, — говорил братьям Алексей, румяный, чисто выбритый, со светлыми подкрученными усами и острой головой (париж его висел на стене, на деревянном гвозде), — здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуста квашеная — у Александра Даниловича на погребу, у Брюса, да — пожалуй — у меня, и — только... И то ведь оттого, что летось догадались — сами на огороде посадили. Трудно, трудно живем. И дорого все, и достать нечего.

Алексей сбросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами, налил по чарке. Братья, поклонясь друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать.

— Ехать сюда бояться, женок здесь, почти-тай что, совсем нет, живем, как в пустыне, ей-ей.. Зимой еще — туда сюда — бураны страшные, тьма, да и дел этой зимой было много... А вот, как сегодня, завернет весенний ветер, — и лезет в голову неудобь сказуемое... А ведь здесь с тебя, брат, спрашивают строго...

Яков, разгрызая большими зубами хрящ, сказал:

— Да, местá у вас не веселые.

Яков, не в пример братьям, за собой не смотрел, — коричневый кафтан на нем был в пятнах, пуговицы оторваны, черный галстук засажен на волосатой шее, весь пропах табаком-канупером. Волосы носил свои — до плеч — плохо чесанные.

— Что ты, брат, — ответил Алексей, — места у нас даже очень веселые: пониже, по взморью, и в стороне, где Дудергофская муза. Травы — по пояс, роши березовые — шапка валяется, и рожь, и всякая овощь родится, и ягода... В самом неском устье, конечно, — топь, дичь. Но государь, почему-то, именно тут облюбывал город. Место военное, удобное. Одна беда — швед очень беспокоит. В прошлом году так он на нас навалился от Сестры реки и флотом с моря, — душа у нас в носе была. Но отбили. Теперь-то уж он с моря не сунется. В январе около Котлина острова опустили мы под лед ражи с камнями, и всю зиму возили и сыпали камень. Реке еще не вскрыться — будет готов круглый бастион о пятидесяти пушек. Петр Алексеевич к тому чертежи прислал из Воронежа и саморучную модель, и велел назвать бастион — Кроншлотом.

— Как же, дело известное, — сказал Яков, — об этой модели с Петром Алексеевичем мы поспорили; я говорю: бастион низок, в волну будет пушки заливать, надо его возвысить на двадцать вершков. Он меня два раза и погладил дубинкой. Утрась позвал: «Ты, говорит, Яков, прав, а я не прав». И, значит, мне подносит чарку и крендель. Помирились. Вот эту трубку подарил.

Яков вытасил из набитого всякой чепухой кармана обгорелую трубочку с вишневым, изгрызанным на конце, чубуком. Набил и, сопя, стал высекать искру на трут. Младший, Гаврила, ростом выше братьев и крепче всеми членами, с юношескими щеками, с темными усиками, большеглазый, похожий на сестру Саньку, начал вдруг грядти ложку со щами и сказал — ни к селу, ни к городу:

— Алеша, ведь я таракана поймал.

— Что ты, глупый, это уголек. — Алексей взял у него черненькое с ложки и бросил под стол. Гаврила закинул голову и рассмеялся, открывая напоказ сахарные зубы.

— Ни дать, ни взять покойная маманя. Бывало, батя ложку бросит: — «Безобразие, говорит, таракан.» А маманя: — «Уголек, редимый». И смех, и грех. Ты, Алеша, по-

старше было, а Яков помнит, как мы на печке без штанов всю зиму жили. Санька нам страшные сказки рассказывала. Да, было...

Братья положили ложки, облокотились, на минуту задумались, будто повеяло на каждого издали печалью. Алексей налил в стакачики, и опять пошел неспешный разговор. Алексей стал жаловаться: наблюдал он за работами в крепости, где пилили доски для строящегося собора Петра и Павла, — нехватало пил и топоров, все труднее было доставать хлеб, пшено и соль для рабочих; от бескормицы падали лошади, на которых по зимнему пути возили камень и лес с финского берега. Сейчас на санях уж не проедешь, телеги нужны, — колес нет...

Потом, налив по стаканчику, братья начали перебирать европейский политик. Удивлялись и осуждали. Кажется, просвещенные государства, — трудились бы да торговали честно. Так — нет. Французский король воюет на суше и на море с англичанами, голландцами и императором, и конца этой войне не видно; турки, не поделив Средиземного моря с Венецией и Испанией, жгут друг у друга флоты; один Фридрих, прусский король, откуда сидит смирно да вертит носом, приноживая — где можно легче урвать; Саксония, Силезия и Польша с Литвой из края в край пылают войной и междуособицей; в позапрошлом месяце король Карл зелел полякам избрать нового короля, и теперь в Польше стало два короля — Август Саксонский и Станислав Лещинский, — польские паны одни стали за Августа, другие — за Станислава, горячатся, рубятся саблями на сеймиках, ополчась шляхтой, жгут друг у друга деревеньки и поместья, а король Карл бродит с войсками по Польше, кормится, грабит, разоряет города и прозрит, когда пригнет всю Польшу, повернуть на царя Петра и сжечь Москву, запустошить русское государство; тогда он провозгласит себя новым Александром Македонским. Можно сказать: весь мир сошел с ума...

Со звоном вдруг упала большая сосулька за глубоким — в мазанной стене — окошечком в четыре стеклышка. Братья обернулись и увидели бездонное, синее — какое бывает только здесь на взморье — влажное небо, услышали частую капель с крыши и воробьиное хлопотанье на голом кусте. Тогда они заговорили о насущном.

— Вот нас три брата, — проговорил Алексей задумчиво, — три горьких бобыля. Рубашки у меня денщик стирает, и пуговицу пришьет, когда надо, а все не то... Не женская рука... Да и не в том дело, бог с ними с рубашками... Хочется, чтобы она меня у окошка ждала, на улицу глядела. А ведь придешь, усталый, озябший, упадешь на жесткую постель, носом в подушку, как пес, один на свете... А где ее найти?..

— Вот то-то — где? — сказал Яков, положив локти на стол, и выпустил из трубки три клуба дыма один за другим. — Я, брат, отпетый. На дуре какой-нибудь неграмотной не женюсь, мне с такой разговаривать не о чем. А с белыми ручками боярышня, которую вертишь на асамблее, да ей куплименты говоришь по приказу Петра Алексеевича, сама за меня не пойдет... Вот и пробавляюсь кое-чем, когда нуждишка-то... Скверно это, конечно, грязь. Да мне одна математика дороже всех баб на свете...

Алексей — ему — тихо:

— Одно другому не помеха...

— Стало быть, помеха, если я говорю. Вон — на кусту воробей, другого занятия ему нет, — прыгай через воробыху... А бог человека создал, чтобы тот думал. — Яков взглянул на меньшого и захрипел трубкой. — Разве вот, Гаврюшка-то наш проворен по этой части.

От самой шеи все лицо Гаврилы залилось румянцем, усмехнулся медленно, подернулись влагой глаза, не знал — в смущении — куда их отвести.

Яков пхнул его локтем:

— Рассказывай. Я люблю эти разговоры-то.

— Да ну вас, право... И нечего рассказывать... Молодой я еще... — Но Яков, а за ним Алексей привязались: «Свои же дурень, какой заробел...» Гаврила долго упирался, потом начал вздыхать, и вот что под конец он рассказал братьям.

Перед самым рождеством, подвечер, прибежал на двор Ивана Артемича дворцовый скороход и сказал, что де «Гавриле Иванову Бровкину велено тотчас быть во дворце». Гаврила вначале заупрямился, — хотя был молод, но — персона, у царя на виду, к тому же он обводил китайской тушью законченный чертеж двухпалубного корабля для воронежской верфи и хотел этот чертеж показать своим ученикам в Навигационной школе, что в Сухаревой башне, где по приказу Петра Алексеевича преподавал дворянским недорослям корабельное искусство. Иван Артемич строго выговорил сыну: «Надевай, Гаврюшка, французский кафтан, ступай, куда тебе приказано, с такими делами не шутят».

Гаврила надел шелковый белый кафтан, перепопоясая шарфом, выпустил кружева из-за подборodka, надушил мускусом вороной парик, накинул плащ, длинной до шпор, и на отцовской тройке, которой завидовала вся Москва, поехал в Кремль.

Скороход провел его узенькими лестницами, темными переходами наверх в старинные каменные терема, уцелевшие от большого пожара. Там все покои были низенькие, сводчатые, расписанные всякими травами-цветами по золотому, по алому, по зеленому полю; пахло воском, старым ладаном, было жарко от изразцовых печей, где на каждой лежанке дремал ленивый ангорский кот, за слюдяными дверцами

поставцев поблескивали енды и кувшины, из которых, может быть, пивал Иван Грозный, но нынче их уже не употребляли. Гаврила со всем презрением к этой старине бил шпорами по резным каменным плитам. В последней двери нагнулся, шагнул, и его, как жаром, охватила прелесть.

Под тускло-золотым сводом стоял на крылатых грифонах стол, на нем горели свечи, перед ними, положив голые локти на разбросанные листы, сидела молодая женщина в наброшенной на обнаженные плечи меховой душегрейке; мягкий свет лился на ее нежное кругловатое лицо; она писала; бросила лебединое перо, поднесла руку с перстнями к русой голове, поправляя окрученную толстую косу и подняла на Гаврилу бархатные глаза. Это была царевна Наталья Алексеевна.

Гаврила не стал валиться в ноги, как бы, кажется, полагалось ему варварским обычаем, но по всему французскому политесу ударил перед собой левой ногой и низко помахал шляпой, закрываясь куделями борохотного парика. Царевна улынулась ему уголками маленького рта, вышла из-за стола, приподняла с боков широкую жемчужного атласа юбку и присела низко.

— Ты — Гаврила, сын Ивана Артемича? — спросила царевна, глядя на него блестящими от свечей глазами снизу вверх, так как был он высок — едва не под самый свод париком. — Здравствуй, Садись. Твоя сестра, Александра Ивановна, прислала мне письмо из Гааги, она пишет, что ты для моих дел можешь быть весьма полезен. Ты в Париже был? Театры в Париже видел?

Гавриле пришлось рассказывать про то, как в позапрошлом году он с двумя навигаторами на масленицу ездил из Гааги в Париж и какие там видел чудеса, — театры и уличные карнавалы. Наталья Алексеевна хотела все знать подробно, нетерпеливо постукивала каблучком, когда он мялся — не мог толково объяснить; в восхищении близко придвигалась, глядя расширенными зрачками, даже приоткрывала рот, дивясь французским обычаям.

«Вот, — говорила, — не сидят же люди, как бирьки, по своим дворам, умеют веселиться и других веселить, и на улицах пляшут, и комедии слушают охотно... Такое и у нас нужно завести. Ты инженер, говорят? Тебе-то я и велю перестроить одну палату, — ее присмотрела под театр... Возьми свечу, пойдем...»

Гаврила взяла пыталый подсвечник с горящей свечой; Наталья Алексеевна легкой походкой, шурша платьем, пошла впереди него через сводчатые палаты, где на горячих лежанках просыпались, выгибали спины ангорские коты и снова ложились, нежась; где со сводов — то там, то там — черствые лики царей московских непримиримо-сурово глядели вслед царевне Наталье, увлекающей в тартарары и себя, и

этого юношу в рогатом, как у чорта, парике, и всю заветную старину московскую.

На крутой, узкой лестнице, спускающейся в тьму, Наталья Алексеевна заробела, просунула голую руку под локоть Гавриле; он ощутил теплоту ее плеча, запах волос, меха ее душегрейки; она выставала из-под подола юбки сафьяновый башмачок с тупым носиком, нагибаясь в темноту — спускалась все осторожнее; Гаврилу начало мелко знобить внутри и голос стал глухой; когда сошли вниз, она быстро, внимательно взглянула ему в глаза.

«Отвори вот эту дверь», — сказала, указывая на низенькую дверцу, обитую изъеденным молю сукном. Наталья Алексеевна первая шагнула через высокий порог туда — в теплую темноту, где пахло мышиами и пылью. Высоко подняв свечу, Гаврила увидел большую сводчатую палату о четырех приземистых столпах. Здесь в давние времена была столовая изба, где смиренный царь Михаил Федорович обедал с Земским Собором. Росписи на сводах и столпах обдувались, досчатые полы скрипели. В глубине на гвоздях висели мочальные парики, бумажные мантии и другие комедиантское отрепье, в углу свалены жестяные короны и латы, скиптры, деревянные мечи, сломанные стулья — все, что осталось от недавно упраздненного — по причине дурости и великой непристойности — немецкого театра Иогана Куншта, бывшего на Красной площади.

«Здесь будет мой театр, — сказала Наталья, — с этой стороны поставишь для комедиантов помост с занавесом и плашками, а здесь — для смотрельщиков — скамьи. Свои надо расписать нарядно, чтобы уж забава была — так забава...»

Тем же порядком Гаврила провел царевну Наталью наверх, и она его отпустила. — пожаловав поцеловать ручку. Он вернулся домой заполночь и, как был в парике и кафтани, повалился на постель и глядел в потолок, будто при неясном свете оплывшей свечи все еще виделись ему круглатое лицо с бархатно-пристальными глазами, маленький рот, проносивший слова, нежные плечи, полуоткрытые пахучим мехом, и всё шумели, улетая перед ним в горячую темноту, тяжелые складки жемчужной юбки...

На другой вечер царевна Наталья опять велела ему быть у себя и прочла «Пещное действо» — свою, неоконченную еще — комедию о трех отроках в огненной печи. Гаврила допоздна слушал, как она выговаривала, помакивая лебединым пером, складные вирши, и казалось ему, — не один ли он из трех отроков, готовый неистово голосить от счастья, стоя наг в огненной печи...

За перестройку старой палаты он взялся со всей горячностью, хотя сразу же подьячие Дворового приказа начали чинить ему преткновения и всякую приказную

волокиту из-за лесу, известки, гвоздей и прочего. Иван Артемич помакивал, хотя и видел, что Гаврила забросил чертежи и не ездит в Навигационную школу, за обедом, не прикасаясь к ложке, устаетается глупыми глазами в пустое место, и ночью, когда люди спят, сжигает целую свечу ценой в алдын. Только раз Иван Артемич, вертя пальцами за спиной, пожевав губами, выговорил сыну: Одно, скажу, одно, Гаврюшка, — близко огня ходишь, поостерегись!...

Великим постом из Воронежа через Москву на Свирь промчался царь Пётр и приказал Гавриле ехать с братом Яковом в Питербург — строить гавань. На том и окончились его дела с театром... На том Гаврила и окончил свой рассказ. Вылез из-за стола, расстегнул множество пуговиц на голландской куртке, раскинул ее на груди и, засунув руки в широкие, как пузыри, короткие штаны, зашагал по мазаной избушке — от двери до окна.

Алексей сказал:

— И забыть ее не можешь?

— Нет... И не хочу такое забывать, хоть мне плохой грози...

Яков сказал, стуча по столу ногтями:

— Это маманя сердцем-то нас неистовым наградила... И Санька такая же... Тут ничего не поделаешь, — сию болезнь лечить нечем. Давайте, братки, нальем и выпьем — память давайтелицы нашей, Авдотьи Евдокимовны...

В это время в сенях, околичивая грязь, засучили сапогами, шпорами, рванули дверь и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Эстляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меншиков.

2.

— Батюшки, накурили, как в берлоге! Да сидите, сидите, будьте без чинов. Здорово! — грубо-весело сказал Алесандр Данилович. — На реку, что ли, сходишь? А? — И он, сбросив плащ, стацил шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, поглядел на валяющиеся обглоданные мослы, заглянул в пустую чашку. — Со скуки рано пообедал, спать лег на часок, а — просыпаюсь — в доме нет никого, ни гостей, ни челяди. Бросили генерал-губернатора... Мог я во сне умереть и никто бы не знал. — Он глазом мигнул Алексею. — Господин подполковник, перцовочки поднеси, да расстарайся капустки, — голова что-то болит... Ну, а у вас как дела, братья-корабельщики? Надо, надо поторапливаться. Затра схожу, посмотрю. — Алексей принес из сеней капусту и штэф. Александр Данилович, отставляя коленный мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с тарелки щепоть капу-

сты с ледком, прищурился, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал хрустко жевать капусту. — Хуже нет воскресенья, так я скучаю по воскресеньям, ужас. Или весна, что ли, здешняя такая вредная?.. Все тело разболело и тянет... Баб нет, — одна причина... Вот тебе и загователи! Довоевались! Построили городок, — баб нет! Ей богу, отпущусь у Петра Алексеевича, не надо и не надо мне генерал-губернаторства... Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться... Да ведь девки-то какие в Москве! Венусы! Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные, проворные, да смешливые... Ну, пойдемте, пойдемте на реку, здесь что-то душно...

Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте, времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с царем Петром; говорил он одно, сам думал другое и разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. Опять — натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольем меху и вышел из мазанки вместе с братьями Бровкиными. Сразу в лицо задул сильный, сырой весенний ветер. По всему Фсмину острову, как называли его в старину, а теперь — Петербургской стороной, — шумели сосны так мягко и могуче, будто из бездны бездн голубого неба лилась река... Кричали грачи, кружась над голыми редкими берегами.

Алексеева мазанка стояла в глубине очищенной от леса и выкорчеванной Троицкой площади, неподалеку от только-что построенных деревянных гостиных рядов; лавки были накрест забиты досками, купцы еще не приехали; направо виднелись оголенные от снега земляные валы и бастионы крепости; пока только один из бастионов, — бомбардира Петра Алексеева, — был до половины одет камнем, там на мачте плескался белый с андреевским крестом морской флаг — в предвещии ожидаемого флота.

По всей площади ветром рябило воду; Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел — наискосок — к Неве. Главная площадь Питербурха была только в разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке; а всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка — Троицкий собор, неподалеку от него — ближе к реке — дом Петра Алексеевича, — чисто рубленая изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич, на крыше, на коньке для красоты поставлены деревянные — крашенные — мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями.

По другой стороне площади находился низенький голландский дом, весьма располагающий к тому, чтобы туда зайти, — из трубы его постоянно курился дымок, за окном, сквозь мутные стеклышки видне-

лась оловянная посуда и висящие колбасы, на входной двери намалеван преужасный штурман с пиратской бородой, в одной руке он держит пивную кружку, в другой — чем играют в кости, над входом скрипела на шесте вывеска: «Аустерия четырех фрегатов».

Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий, с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился:

— Две тысячи рублей отпустили им на все работы! Ах, чернильные души, ах, постники, грибоеды! Да наплевал я на дьяков, на подьячих, на все Приказы, — в Москве над полушкой трясутся, бумагу переводят! Я здесь хозяин! У меня есть деньги, есть лошади, мужиков добрых могу достать сколько надобно, где я их найду — это мое дело... Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали... Не доспать, не доесть — к концу мая должны быть готовы все причалы, и боны, и амбары... Да не только на левом берегу, где вам указано... Здесь, на Питербуржской стороне, должны быть удобства, чтобы подойти, пришвартоваться большому кораблю... — Александр Данилович быстро шел по берегу, указывая — где начинать бить сваи, где ставить причалы. — После морской виктории подпальвет флагман, с пальбой, с продырявленными парусами, — что же ему в устье Фонтанки швартоваться? Нет — здесь! — он топал ботфортом в лужу. — А случится — приплывет из Англии, из Голландии богатый гость, — вот — дом Петра Алексеевича, вот — мой дом, — милости просим...

Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец, — в ста саженьях от царской избушки — вверх по реке, — построен был наспех, глинобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видной издали по реке; как-раз посреди фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах, с портиком, на котором — на правом скате — лежал деревянный золоченый Нептун с трезубцем, на левом скате — Наядя, с большими грудями, локтем опираясь на опрокинутый горшок; в треугольнике портика — шифр «А. М.», обвитый змеей; на крыше — на мачте — собственный флаг генерал-губернатора; перед крыльцом стояли две пушки.

— Домишко не стыдно иностранцам показывать... Хороши, ах, хороши боги морские! Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом... А как флот-то со Свири здесь мимо проплывет под парусами, да из пушек мы надымим... Красиво, ах, красиво!..

Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза. Потом повернулся и крикнул с досады, глядя на далекий правый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин.

— Ах, обидно!. Малость тут попортили згоряча... — Он указал тростью на то место, где Фонтанка вытекала из Невы. — Каменная была першепектива перед моими окнами, — бор стоял стеной, там бы плезир поставить для летнего удовольствия... Вырубили! Вот, чорт, всегда так... Ну, что ж, пойдете ко мне, чего-нибудь соберем, зыщем...

— Господин генерал-губернатор, — сказал Алексей, — взгляните — сверху по Неве что-то много саней идет... Уж не государь ли?

Александр Данилович только взглянул: «Он!» — и спохватился. Братья Бровкины тотчас побежали в разные стороны с приказами, сам он поспешил к дому, громким голосом зовя людей. И через небольшое время опять стоял на берегу, на мостках, — в одном преображенском мундире, с огромными — шитыми золотом — красными обшлагами, с шелковым шарфом через плечо, при шпаге — той самой, с которой в позапрошлом году лез на бордаж, на борт шведского фрегата в невшком устье.

По вздувшемуся льду Невы, на которую и смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали бодрить заморенных лошадей и поскакали к берегу, — в опасенье польныи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины возка, из-за медвежьих одеял высунулась длинная нога в ботфорте, — около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом протянулись два тулупных рукава, из них выпростались пальцы с крепкими ногтями, ухватились за кожаный фартук возка, и оттуда был низковатый голос:

— Данилыч, помоги, вот, чорт, — не вылезу...

Александр Данилович прыгнул с мостков по колена в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, покатылся грохот по Неве. У царского домика на мачту, щелкая, пополз штандарт.

Петр Алексеевич вылез на мостки, потянулся, распрямился, сдвинул на затылок меховой колапак и — первое — взглянул на Данилыча, на его покрасневшее от радости лицо, прыгающие брови. Взял его рукой за щеки, сжал:

— Здравствуй, камрат... Не изволил ко мне приехать, а я ждал... Ну, вот — сам приехал... Тащи с меня тулуп. Дорога дрянная, пониже Шлиссельбурга едва не потонули, всего уваяло на ухабах, в ноге — мурашки...

Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на беличьем меху; подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние облака, на быстрые тени, пролетающие по лужам и польням, на

яростное — сквозь прорывы облаков — бездремное солнце за Васильевским островом; у него раздулись ноздри, с боков маленького рта напряглись желваки:

— Парадиз! — сказал. — Ей-ей, Данилыч, парадиз, земной рай... Морем пахнет...

По площади, разбрызгивая лужи, бежали люди. Позади бегущих тяжело ударяли башмаками, шли в линию преображенцы и семеновцы, в зеленых узких кафтанах, в белых гетрах, — держали ружья с багнетами перед собой.

3.

— ... в Варшаве у кардинала Радзеевского за столом он говорил: в Неву ни единой скорлупы не пропущу, пусть москвичи и не надеются сидеть у моря... А поконтчу с Августом — мне Санктпитебургх, как вишневою косточку разгрызть и выплюнуть...

— Ну и дурак же он, бодлива мать! — Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову. — Съехаться мне с ним на поле — я бы этому ерою показал вишневою косточку...

— И еще говорил: в Архангельск ни единого аглицкого корабля не пропущу, у московских купцов товар пускай гниет в амбарах.

— А товар-то у нас не гниет, мин херц, а?

— Тридцать два аглицких корабля, собравшись в караван, с четырьмя охранными фрегатами, с божьей помощью без потерь, приплыли в Архангельск, привезли железо, и сталь, и пушечную медь, и табак в бочках, и многое другое, чего нам не надобно, а купить пришлось.

— Ну что ж, мин херц, в убытке не останемся... Им тоже надо иметь удовольствие, — с отвагой пламы... Квасом хочешь поддать? Нартов! — закричал Александр Данилович, шлепая по мокрому свежеструганному полу к низенькой двери в предбанник. — Что ты там — помер, Нартов? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько...

Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв худые колени — помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже два раза его парил и обливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать. Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить, хотя вот уже два часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода и стоа.

Нартов открыл медную дверцу в печи, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный, мягкий дух, жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крикнул, помовав себе на грудь листьями березового веника.

— Мин херц, а вот Гаврила Бровкин рассказывает — в Париже, например, парить ся да еще квасом — ничего этого не понимают, и народ мелкий, щуплый...

— Там другое понимают — чего нам не мешает понять, — сказал Петр Алексеевич. — Купцы наши — чистые варвары, — сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать, — три года будет врать, божится, плакать — подсовывать гнилье, покуда и свежее у него не сгниет... Рыбы в Северной Двине столько — весло в воду сунь и весло стоит — такие там косяки сельди... А мимо амбаров пройти нельзя — вонища... Поговорил я с ними в бурмистерской палате — сначала человечно, лаской, — ну, пришлось рассердиться...

Александр Данилович сокрушенно вздохнул.

— Это есть у нас, мин херц... Темнота жа... Им, купчишкам, дьяволам, дай воли — в конфузию все государство приведет... Нартов, подай пива холодного...

Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полк, нагнув голову, с кудрявых темных волос его лил пот...

— Хорошо, — сказал он. — Очень хорошо. Так-то, камрат любезный... Без Питербурха нам — как телу без души.

4.

Здесь, на краю русской земли, у отвоеванного морского залива, за столом у Меншикова сидели люди новые, — те, что по указанию царя Петра: — «огненные знатность по годности считать» — одним талантом своим выбились из курной избы, переобули лапти на юфтовые тупоносые башмаки с пряжками и вместо горьких дум: «За что обрекаешь меня, господи, выть с голоду на холодном дворе?» — стали, так вот, как сейчас, — за полными блюдами, хочешь не хочешь, думать и говорить о государском. Здесь были братья Бровкины, Федосей Скляев и Гаврила Авдеевич Меншиков — знаменитые корабельные мастера, сопровождавшие Петра Алексеевича из Воронежа на Свирь, подрядчик — новгородец — Ермолай Негоморский, поблескивающий глазами, как кот ночью, Терентий Буда, якорный мастер, да Ефрем Тараканов — преславный резчик по дереву и золотильщик.

За столом были и не одни худородные: по левую руку Петра Алексеевича сидел Роман Брюс — рыжий шотландец, королевского рода, с костлявым лицом и тонкими губами, сложенными свирепо, — математик и читатель книг, так же, как и брат его Яков, новгородский губернатор; братья родились в Москве, в Немецкой слободе, находились при Петре Алексеевиче еще от юных его лет и его дело считали своим делом; сидел соколиноглазый, темный, надменный, с усиками, пробритыми в черту под тонким носом, — полковник гвардии князь Михайла Михайлович Го-

лицын, прославивший себя штурмом и взятием Шлиссельбурга, — как и все, он пил не мало, бледнел и позвякивал шпорой под столом; сидел вице-адмирал ожидаемого балтийского флота — Корнелий Крейс, морской бродяга, с глубокими, суровыми морщинами на дубленом лице, с водянистым взором, столь же странным, как холодная пучина морская; сидел генерал-майор Чемберс, плотный, крепколицый, крячконосый, тоже — бродяга, из тех, кто, поверя в счастье царя Петра, отдал ему все свое достоинство — шпагу, храбрость и солдатскую честь; сидел тихий Гаврила Иванович Головкин, царский спальник, человек дальнего и хитрого ума, помощник Меншикова по строительству города и крепости.

Гости говорили уже все враз, шумно, — иной нарочно начинал кричать, чтобы государь его услышал. В высокой комнате пахло сырой шугатуркой, на белых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зерцалами, горело много свечей и на пестрой скатерти, воткнутой в пустые штофы — среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог потчевать гостей генерал-губернатор: ветчина и языки, копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы, — все привезенное Александру Даниловичу в дар подрядчиком Негоморским.

Больше всего споров и крику было из-за выдачи провианта и фуража, — кто у кого больше перетянул. Довольствие сюда шло из Новгорода, из главного провиантского приказа, — летом на стругах по Волхову и Ладожскому озеру, зимой — по новопро-сеченной в дремучих лесах дороге, — на склады в Шлиссельбург, под охрану его могучих крепостных стен; там, в амбарах, сидели комиссарами земские целовальники из лучших людей и по требованию отпускали товар в Питербурх для войска, стоявшего в земляном городе на Выборгской стороне, для разных приказов, занимавшихся стройкой, для земских мужиков-строителей, приходивших сюда в три смены — с апреля месяца — по сентябрь, — землекопов, лесорубов, плотников, каменщиков, кровельщиков. Путь из Новгорода был труден, здешний край разорен войной, поблизости досять — нечего, запасов постоянно нехватало, и Брюс, и Чемберс, и Крейс, и другие — помельче люди, рвали каждый себе, и сейчас за столом, разгорячась, сводили счеты.

Петру Алексеевичу было подано горячее, — лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторке, на берегу Фонтанки, у рыбака-чухонца, содравшего ради такого случая пять алтын за старую птицу. Ноев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями: на них после бани надулись жииз. Он говорил мало, слушал внимательно, выпуклые глаза его были строгие, страшнова-

тые: когда же, — набивая трубку, или по какой иной причине, — он опускал их — круглощекое лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом, казалось добродушным, — подожди смело, случись чаркой о его чарку: «Твое здравие, господин бомбардир!» И он, смотря, конечно, по человеку, одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой, — темные, тонкие завивающиеся волосы его встряхивались: «Во имя Бахуса», — говорил баском и пил, как научили его в Голландии штурмана и матрозы, — не прикасаясь губами к чарке — через зубы прямо в глотку.

Петр Алексеевич был сегодня доволен и тем, что Данилыч поставил на зло шведам такой хороший дом, с Нептуном и морской девой на крыше, и тем, что за столом сидят все свои люди и спорят и горячатся с большим делом, не задумываясь, — сколь оно опасно и удастся ли оно, и в особенности радовало сердце то, что здесь, где сходились далекие замыслы и трудные начинания, все то, что для памяти он неразборчиво заносил в толстенную записную книжку, лежавшую в кармане вместе с изгрызанным кусочком карандаша, трубкой и кisetом, — все это стало въяве, — ветер рвет флаг на крепостном бастионе, из топких берегов торчат сваи, повсюду ходят люди в трудах и заботах, и уже стоит город, как город, еще невелик, но уже во всей обыкновенности.

Петр Алексеевич, покусывая янтарь трубки, слушал и не слушал, что ему бубнил про гнилое сено сердитый Брюс, что кричал, сисясь дотянуться чаркой, пьяный Чамберс... Желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, баском и теплом, добытом с великими трудами, хорошо на Белом море, колышущем студёные волны под нависшим туманом, но не равняться им с морем Балтийским, — широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам. Здесь и сердце бьется по-особенному, и мыслей распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое...

Александр Данилович нет-нет да и поглядывал, как у мин херца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки.

— Да будет вам! — крикнул он вдруг гостям. — Заладили — овес, пшено, овес, пшено! Господин бомбардир не за тем сюда ехал — слушать про овес, пшено. — Меншиков всей щечкой мигнул толстенному, сладко улыбающемуся человеку, в горотеньком, растопыренном кафтане. — Фельген, налей ренского, того самого, — и выжидающе повернулся к Петру Алексеевичу. Как всегда, Меншиков угадал, прочел в потемневших глазах его, что — вот, вот — настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилагивалось и так и этак у него в голове — отсталливо и уже непоколебимо становилось ослей... И тут не спорь, не становись поперек его воли.

За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой черной бутылки в чарки. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула:

— Король Карл отважен, но не умен. весьма лишь высокомерен, — заговорил он, с медленностью, — по-московски, — произнося слова. — В семисотом году фортуна свою упустил. А мог быть с фортуной, мы бы здесь ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли научиться. Наши генералы, вкуче с Борис Петровичем Шереметевым, Аникитой Ивановичем Репниным, показали всему миру, что шведы — не чудо и побить их можно и в чистом поле, и на стенах. Вы дети сердца моего, добыли и устроили сие священное место. Бог Нептун, колебатель пучин морских, лег на крыше дома сего вельможы, в ожидании кораблей, над коими мы все трудились даже до мозолей. Но разумно ли, утвердился в Питербурхе, вечно отбиваться от шведов на Сестре реке да на Котлине острове? Ждать, когда Карл, наскуча воевать с одними своими мечтами да сновидениями, повернет из Европы на нас все войска? Тогда нас здесь, пожалуй, и бог Нептун не спасет. Здесь сердце наше, а встречать Карла надо на дальних окраинах, в тяжелых крепостях. Надобно нам отважиться — наступать самим. Как только пройдет лед — итти на Кексгольм, брать его у шведов, чтобы Ладожеское озеро, как в древние времена, опять стало нашим, флоту нашему ходить с севера без опасения. Надобно итти за реку Нарову, брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас. Камрады. Промедление — смерти подобно.

5.

Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозя частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозя разорванные туманы, остановился и повис. — Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо, схожу — подышу, вернусь. — Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшочком. Влетел в ноздри остро пахучий, мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома — из-за колонны — отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.

— Тебе чего? — спросил Петр Алексеевич. — Ты кто? Встань, — указа не знаешь?

— Великий государь, — сказал человек тихим, проникающим голосом, — бьет тебе челом дегинишка скудный и бедный, беззаступный и должный, Андрюшка Голиков... Погибаю, государь, смилуйся...

Петр Алексеевич сердито потянул носом, сердито взял грамоту, показал еще раз застать:

— От работы бегаешь? Болен? Водку на эсцовых шишках вам выдают, как я велел?

— Здоров я, государь, от работы не бегая, вожу камень и землю копаю, бревна гилю... Государь, сила чудная во мне проладет... Живописец есмь от рода Голиковых — богомазов из Палехи. Могу порсуну писать, как бы живые лица человечьи, ве стареющие и не умирающие, но дух живет в них вечно... Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пущечном дыму, — весьма искусно...

Петр Алексеевич в другой раз фыркнул, но уже не сердито:

— Корабли умеешь писать? А — как тебе поверить, что не врешь?

— Мог бы сбегать, принести, показать, да — на стене написано, на штукатурке, и не красками — углем... Красок-то, кистей — нет. Во сне их вижу... За краски, хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил — в огонь бы кинулся...

В третий раз Петр Алексеевич фыркнул коротким носом. — Пойдем! — и подъяв лицо к месяцу, что светил на тонкий ледок луж, хрустевших под ботфортами, пошел, как всегда, стремительно. Андрей Голиков рысцою поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее.

Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли крытые дерном, низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков — вне себя — кланялся и причитая шопотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек двадцать спало на нарах, — из-под полушубков, из-под рогов торчали босые ноги. Голый по поясу, большебродный человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной, — латал рубаху.

Он не удивился, увидя царя Петра, воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви — черному лику.

— Жалуйся! — отрывисто сказал Петр. — Еда плохая?

— Плохая, государь, — ответил человек просто, ясно.

— Одеты худо?

— Осенью выдали одеженку, — за зиму — вишь — сносили.

— Хвораете?

— Многие хворают, государь, — место очень тяжелое.

— Аптека вас пользует?

— Про аптеку слышали, точно.

— Не верите в аптеку?

— Да как тебе сказать, сами собой будто бы поправляемся.

— Ты откуда? По какому наряду пришел?

— Из города Керенска пришел, по третьему, по осеннему наряду... Мы — посадские. Тут, в землянке, мы все-вольные...

— Почему остался зимовать?

— Не хотелось на зиму домой возвращаться, — все равно, — с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе, — возим лес. А ты посмотри — какой хлеб дают. — Мужик вытаскил из-под полушубка кусок черного хлеба, помял, поломал его в негнущихся пальцах. — Плесень.

Разве тут аптека поможет?

Андрей Голиков тихонько переменял лучину в светце, — в низенькой, обмазанной глиной, местами лишь побеленной землянке стало светлее. Кое-кто из-за рогожи поднял голову. Петр Алексеевич присел на нары, обхватил коленку, пронзительно, — в глаза, — глядел на бородатого мужика:

— А дома, в Керенске, что делаешь?

— Мы — сбитенщики. Да ныне мало сбитню стали пить, денег ни у кого нет.

— Я — виноват, всех обобрал? Так?

Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустил медный крест на его тощей груди, — с усмешкой качнула головой:

— Пытаешь правду?.. Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные... Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было... А ныне — все деньги да деньги давай... Платили прежде с дыму, с сохи, большей частью — круговой порукой, можно было договориться, посплобонить, — удобство было... Ныне ты велел платить всем подушно, все души переписал, — около каждой души комиссар кружится, земский целовальник, плати. А последние года еще, — сюда, в Питербург, тебе ставь в лето три смены, сорок тысяч земских людей... Легко это? У нас с каждого десятого двора берут человека. — с топором, с долотом или с лопатой, с полеречной пилой. С осгальных девяти дворов собирают ему кормовые деньги — с каждого двора по тринадцать алтын и две денежки... А их надо найти... Вот и дери на базаре глотку: «Вот он, сбитень горячий!» Другой бы добрый человек и выпил, — в кармане ничего нет, кроме «спасиба». Сыновей моих ты взял в драгунны, дома — старуха да четыре девчонки — мал мала меньше... Конечно, государь, тебе виднее — что к чему...

— Это верно, что мне виднее! — жестко проговорил Петр Алексеевич. — Дай-ка этот хлеб-то. — Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман. — Пройдет Нева, привезут новую одежду, лапти. Муку привезут, хлеб будем печь здесь. — Он пошел было к двери, забыв про Голикова, но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него, Петр Алексеевич с усмешкой сказал: — Ну, богомаз? Показывай...

Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый свецек, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:

— Вельми преславная морская виктория в усть Неве маяя пятого дня, тысячу семьсот третьего года: неприятельская шнява «Астрель» о четырнадцати пушек и адмиральский бот «Гедан» о десяти пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексевичу и поручику Меншикову.

На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля, в пучечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на бордаж. Над кораблями из облака высывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексевиц присел на корточки. — Ну и ну! — проговорил. Все было правильно, — и оснастка судов, и надутые пузырями паруса, и флаги. Он даже разобрал Алексеашу с пистолетом и шпагой, лезущего по штурмовому трапу, и узнал себя, — принаряженного слишком, но — действительно — он стоял тогда под самой неприятельской кормой, на носу лодки, кричал и кидал гранаты. — Ну и ну! Откуда же ты знаешь про сию викторию?

— Я тогда на твоей лодке был, гребцом...

Петр Алексевиц потрогал пальцем рисунок, — и верно, что уголь. Голиков за спиной его тихо застонал.

— Эдак я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю — учиться. Не сошьешься? А то я вас знаю, дьяволы...

... Петр Алексевиц вернулся к генерал-губернатору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали. Гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики — Федосей Скляев, Гаврила Меншиков и Яков Бровкин, склоняясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у мин херца подергивается уголок рта, и быстро соображал — с чего бы это?

— На, закуси! — вдруг крикнул ему Петр Алексевиц, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба. — Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!..

— Мин херц, тут не я виноват, хлебными выдачами ведает Головкин, ему подаваться этим куском... Ах, вор, ах, бесстыдник!

— Ешь! — у Петра Алексевица бешено расширились глаза. — Дерьмом людей кормишь — ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь! За каждую душу человечью...

Александр Данилович повел на мин херца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы...

6.

Петр Алексевиц пошел спать к себе в домик, потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца Киста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть, и все-таки ему там нравилось.

Денщик Нартов тепло натопил печь, на столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все — чем писать, — готовальни — чертежные, столярные и медицинские — в толстых кожаных сумках, подзорные трубы, компасы, табак и трубки. Горница была обита морской парусиной. В углу стоял — в полроста человека — медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости; лежало несколько якорей для ботиков и буеров, смоляные концы, бокаутные блоки.

Тут бы Петру Алексевицу — после бани и хорошего ужина — и заснуть сладко на деревянной постели с крашенным пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщевый колпак. Но ему не спалось. Шумел ветер по крыше — порывами, взывал в печной трубе, тряс ставней. На полу, на кошме, поставив около себя круглый фонарь с дырочками, сидел друг сердечный — Алексашка и рассказывал про денежные трудности короля Августа, о которых постоянно доносил — письменно и через нарочных — посол при его дворе князь Григорий Федорович Долгорукий.

Короля Августа вконец разорили фаворитки, а денег нет; в Саксонии подданные его отдали все, что могли, — говорят, там ста талеров не найти взаймы; поляки на сейме в Сандомире в деньгах отказали; Август продал прусскому королю свой замок за полцены, и опять — нето чорт ему подсунул, нето король Карл — одну особу — первую красавицу в Европе, графиню Аврору Кенигсмарк, и он эти деньги ухлопал на фейерверки да на балы в ее честь; когда же графиня убедилась, что карманы у него вывернуты — сказала ему кумплимент и отъехала от него, увозя полную карету бархатов, шелков, кружев и серебряной посуды. Ему стало и есть нечего. Прибыл он ко князю Григорию Федоровичу Долгорукому, разбудил его, упал в кресло и давай плакать: «Мои, говорит, саксонские войска другую неделю грызут одни сухари, польские войска, не получая жалованья, занялись грабежом... Поляки совсем сошли с ума, — такого пьянства, такой междуусобицы в Польше и не запомнят, паны со шляхтой штурмом берут друг у друга города и замки, жгут деревнишки, безобразничают хуже татар; до Речи Посполитой им и горя мало... О, я

несчастный король! О, лучше мне вынуть шпагу, да и напороться на нее!

Князь Долгорукий, человек добрый, послушал — послушал, прослезился над таким несчастьем и дал без расписки из своих денег королю Августу десять тысяч ефимков. Король тут же замялся домой, где у него бесилась новая фаворитка — графиня Козельская, и давай с ней пировать...

Александр Данилович пододвинул железный фонарь, вынул письмецо, и, поднеся его к светящимся дырочкам, прочел с запинками, так как еще не слишком был сиден в грамоте:

— Мин герц, вот, — к примеру, — что нам отписывает из Сандомира Григорий Федорович: «Польское войско хорошо воюет в шинкал за кружкой, а в поле противу неприятеля вывести его трудно... Саксонское войско короля Августа изрядно, только сердца против шведов не имеет. Половина Польши разорена шведом вконец, не пощажены ни костелы, ни гробы. Но польские паны ни на что не глядят: думают только каждый о себе. Не знаю — как может стоять такое государство! Нам оно никакой помощи не принесет, — разве только отвлекать неприятеля...»

— На большую пользу и не рассчитываю, — сказал Петр Алексеевич, — а Долгорукому я писал, что как хочет — так сам и взysкивает с короля десять тысяч ефимков, я в них не ответчик... Фрегат можно построить на эти деньги. — Он зевнул, стукнув зубами. — Евины дочки! Что делают с нашим братом! В Амстердаме ко мне ходила одна, из трактира, нето ее Софьея звали, — врунья, прытка, но — ничего... Тоже — не дешево обошлась...

— Мин герц, разве тебе равняться по этой части с Августом. Ему одна Аврора Кенигсмарк стоила полмиллиона. А Софьея, трактищице, — я хорошо помню, — ты подарил нето полторы, нето две тысячи ефимков, только...

— Неужто — две тысячи? Ай-ай-ай... Бить некому было... Август нам не указка, мы — люди казенные, денег у нас своих нет. Поостерегись, Алексашка, с этим «только», — полегче рассуждай насчет казенных денег... — Он помолчал. — У тебя тут человек один есть, лес возит... Вот, бог дал таланту...

— Это Андрюшка Голиков, что ли?

— Здесь он — зря, не при своем деле... Надо его послать в Москву... Пусть напишет порсуну с одной особы. — Петр Алексеевич покосился, Алексашка, — не разобратъ, — кажется, начал скалить зубы. — А вот — встану — так отвожу тебя дубинкой, куманек, будешь знаць — как смеяться... Скучаю я по Катерине, вот и все... Закрою глаза — и вижу ее, живую, открою глаза — ноздрями ее слышу... Все ей прощаю, всех ее мужиков, с тобой вместе... К ней ничего не пристаю, — свежа, умна, весела... Евина дочка, — и сказать больше нечего...

Петр Алексеевич вдруг оборвал и обернулся к длинному, серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном — в шуме ветра — начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громаздящегося льда.

— Нева тронулась, мин герц!..

Петр Алексеевич вытащил ноги из-под медвежьего одеяла:

— Да ну! Теперь нам — не спать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые гребные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и пяти верст вверх по Неве, — на правом берегу, из поломанного ельника, выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Петр Алексеевич крейсировал на боте под легким зюд-вестом позади гребной флотилии; услышав, как кричит этот человек: «Э-эй, лодошники, где государь? — к нему грамота!» — он перекинул парус и подплыл к берегу. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно испуганными глазами, проговорил ошпшим голосом:

— От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, из-под Ямбурга, господин бомбардир.

Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский.

Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмецо, прочел еще раз внимательно, нахмурился. Прищурясь, стал глядеть туда, где на солнечной зыби плыли тяжело груженные лодки, враз взмахивая веслами.

— Отдай лошадь матрозу, садись в лодку, — сказал он Ягужинскому и вдруг закричал на него: — Зайди в воду, видишь мы — на мели, отпихни лодку, потом прыгай.

Он молчал весь путь до Питербуржской стороны, куда пришлось плыть, лавируя против ветра. Из прожженной трубочки его вкусно пованивало крепким табаком. Он ловко подвел бот к мосткам, два матроса торопливо опустили большой парус, кинулись, стуча башмаками, на нос лодки, где на заевшем кливверштоке хлопало полотнище. Петр Алексеевич молча посверкивал зрачками, покуда они в порядке, по регламенту, не свернули паруса и не убрали все снасти. Только тогда он зашагал к своему

лике; тотчас туда собрались встревоженные Меншиков, Головкин, Брюс и вице-адмирал Крейс. Петр Алексеевич приставил окно, впуская ветер в душную комнату, сел к столу и прочел им письмо Петра Матвеевича Апраксина, начальствующего гарнизоном в крепости Ямы, или — по новоназванному — Ямбурге, расположенном в двадцати верстах к северу от Нарвы.

«Как ты приказал, государь, вышел я в начале весны из Ямбурга с тремя пехотными полками и пятью ротами конницы к устью Наровы и стал там на месте, где впадает ручей Росонь. Вскорости пришло пять шведских кораблей, и еще были видны вымпелы далеко в море. В малый ветер два боевых корабля вошли в устье и стали бить из пушек по нашему обозу. Слава богу, мы отвечали из полевых пушек изрядно, один корабль у шведов разбили ядрами и неприятеля из усть-Наровы выбили.

После этого боя шведы вторую неделю стоят на якорях на взморье, — пять военных кораблей и одиннадцать шхун грузовых, чем приводят меня в немалое сомнение. Я посылаю непрерывно разъезды по всему морскому берегу, не давая шведам выгрузить ничего на сухой берег. А также посылаю драгун по ревальской дороге и к самой Нарве и разбивая неприятельские караулы. Языки говорят, что в Нарве всем нуждаются и очень тужат, что твоим премудрым повелением мы заняли наровское устье.

Охотники наши, подбравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревальского губернатора к наровскому коменданту Горну с цифирным письмом. Оный нарочный объявился презнатной фамилии капитаном гвардии Сталь фон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а, как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском, и шведы уже отправили туда караван в тридцать пять судов с хлебом, соломом, сельдями, копченой рыбой и солониной. Караваном командует вице-адмирал де Пру, француз, у которого левая рука оторвана и вместо нее приделана серебряная. У него на кораблях — слыше двухсот пушек и морская пехота.

Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преважном деле, но — вот, государь, — сегодня рано поутру развеяло над морем мгла и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали слыше сорока вымпелов. Силы мои слабы, конницы — самое малое число, пушек — только девять и то одну на-днях разорвало при стрельбе... Кроме конечной погибли ничего не жду... Помогите, государь...

— Ну? Что скажете? — спросил Петр Алексеевич, окончив чтение.

Брюс свирепо уткнулся подбородком в черный галстук. Корнелий Крейс не выразил ничего на дубленном лице своем, только сузил зрачки, будто отсюда увидал полостни шведских вымпелов в Нарвском заливе; Александр Данилович, всегда быстрый на ответ, сегодня тоже молчал, насупись.

— Спрашиваю, господа военный совет, считать ли нам, что в сей хитрой игре король Карл выиграл у меня фигуру: одним ловким ходом на Нарву оборонил Кексгольм? Или продолжать нам быть упрямыми и вести гвардию на Кексгольм, отдавая Нарву Шлиппенбаху?

Корнелий Крейс затряс лицом, — противно адмиральскому положению вынул из табакерки кусочек матросского табаку, вареного с кайенским перцем и ромом, и сунул за щеку.

— Нет! — сказал он.

— Нет! — сказал Брюс твердо.

— Нет! — сказал Александр Данилович, стукнув себя по коленке.

— Кексгольм нам не трудно будет взять, — проговорил Гавриил Иванович Головкин смиренным голосом, — но как бы король Карл в это время у нас вторую фигуру не отыграл, на сей раз — ферзя.

— Так! сказал Петр Алексеевич.

И без слов было понятно, что — пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву — значило: отказаться от овладения главными крепостями — Нарвой и Юрьевым, — без которых оставались открытыми подступы к Питербургу. Медлить нельзя было ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали по шлиссейбургской дороге и вдоль Невы с приказом — повернуть обратно в Питербург войска и гребной флот.

Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший с седла трое суток, только и успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью и отправился обратно в лагерь к Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено — без сомнения положить печаль свою на господа бога и стоять с войском крепко против шведского флота даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб:

— На словах передашь ему: через неделю всеми войсками буду под Нарвой..

2.

Короля Карла разбудило заливистое пенье петуха; открыв глаза в полусвете палатки, он слушал, как петух с придыханием прилежно надрывает глотку; его возили в обозе и на ночь ставили в клетке у королевского шатра. Потом протяжно заиграл рожок зорю, — королю вспомнилось туманное ущелье в

родных горах, рога, собачий лай и нерепение — пролить кровь зверя... У самого шатра затыкала собачонка, по голосу — дрянь, из тех, что дамы возят с собой в карете... Кто-то шикнул на нее, собачонка жалобно взвизгнула. Король отметил: «Узнать — откуда собачонка». Неподалеку у коновязи забились лошади, одна дико закричала, Король отметил: «Жаль, но, видимо, «Нептун» придется охолостить». Протопаши мерные, тяжелые шаги Король насторожил ухо, чтобы услышать команду при смене караула. Над палаткой пронесли птицы, разрезая со свистом воздух. Отметил: «Будет погожий день». Звуки и голоса становились все отчетливее. Слаще всех виол, арф, клавесин была эта бодрая, мужественная музыка пробуждающегося лагеря.

Король чувствовал себя отлично после короткого сна на походной постели, под шинелью, пахнущей дорожной пылью и конским потом. О, да, было бы в тысячу раз приятнее проснуться от пегушиного крика, когда по другую сторону поля стоит неприятель и в сыром тумане от туда тянет дымком его костров, и — вот, — заиграли его горы... Тогда — одним прыжком с постели — в ботфорты, и — на коня... И спокойным шагом, сдерживая блеск глаз, — выехать к своим войскам, которые уже построились перед боем и стоят, усатые, суровые...

Чорт возьми! — после роковой битвы при Клайсаве король Август, потеряв все пушки и знамена, только отступает, вот уже целый год отступает, пелгует, как заяц, по необъятной Польше... О, трус, о лгун, интриган, предатель, развратник! Он боится открытой встречи, он принуждает своего противника разменивать прогремевшую славу побед при Нарве, Риге и Клайсаве на бесплодную погоню за голодными саксонскими фузилерами и пьяными польскими гусарами... Он принуждает своего врага валиться, подобно куртизанке, все утро в постели!..

Король Карл приложил два пальца к губам, свиснул. Тотчас откинулся край парусины, и в палату вошли камер-юнкер барон Беркенгельм, с бородавочкой на приподнятом носике и вестовой — телохранитель — румяный парень, ростом под самый верх палатки; он внес вычищенные ботфорты и темнозеленый сюртук, на котором в нескольких местах были заштопанные следы от пуль и ядерных осколков.

Король Карл вышел из шатра и подставил ладони, — вестовой осторожно стал лить воду из серебряного кувшина. К лежащим ядрам король Карл приучил себя легко, но холодной воды боялся, когда она попадала на шею и за уши... Бросив полотенце вестовому, он причесал коротко остриженные волосы, — не глядя в зеркальце, поднесенное ему бароном Беркен-

гельмом. Он оправил застегнутый до шеи сюртук и оглянул ровные ряды палаток — на зеленом склоне, спускающемся к ручью. Позади палаток шла обычная суета у коновязей; пушкари начищали тряпками медные стволы пушек. Карл презрительно отметил: «Сколько великодушнее — брызги грязи на лафетах и медь, закопченная порохом!» Внизу, у берега ручья, солдаты мыли рубахи, развешивали их на ветвях низеньких рабит. По другую сторону ручья — по болоту — важно расхаживали аисты, похожие на профессоров богословия. Дальше — торчали голые трубы сожженной деревни, за ней — на бугре — из-за вековых деревьев желтели две облупленные башни костела.

Королю Карлу до оскомины надоел такой, столько раз повторившийся, скучный пейзаж! Три года колесить по проклятой Польше! Три года, которые могли бы отдать ему полмира — от Вислы до Урала!

— Ваше королевское величество изволят принять завтрак, — сказал барон Беркенгельм, изящно, холеной рукой указывая на откинутые полотнища шатра. Там, на пустой пороховой бочке, покрытой белоснежным полотном, лежал на серебряной тарелке хлеб, нарезанный тоненькими кусочками, стояла миска с вареной морковкой и другая — с солдатской похлебкой из полбы. Вот и все. Король вошел, сел, развернул на коленях салфетку. Барон стал за его спиной, осторожно вздыхая упрямым королевским причудам: сокрушать свое здоровье столъ постной пищей! Может быть, это необходимо для будущих мемуаров? Король честолюбив... В золоченом кубке работы великого мастера Бенвенуто Челлини — из коллекции короля Августа, захваченной после битвы при Клайсаве, — подана вода из ручья, пахнущая лягушками. Несомненно, мировая слава — не легкое бремя!

— Откуда в лагере появилась царшивая собачонка, кто-нибудь приехал? — спросил Карл, жуя марковку.

— Ваше величество, поздно ночью в лагерь приехала фаворитка короля Августа, графиня Козельская в надежде, что вы окажете ей милость — принять ее...

— Граф Пипер знает об ее приезде?

Барон ответил утвердительно. Король Карл, окончив печальный завтрак, отважно испил воды из кубка, скомкал салфетку и вышел из шатра, нахлобучивая на затылок маленькую треугольную шляпу без галунов. Он спросил, где карета графини, и зашагал в направлении ореховых кустов; там, между ветвями, поблескивали на солнце золоченый купидон и голубки, украшавшие верх экипажа...

Графиня Козельская спала среди груды подушек и кружев. Это была пышная, еще свежая женщина, с очень белой кожей и русыми кудрями, выбивавшимися из-за помятого чепца. Пробудившись от

визга собачонки, повашей королю под богфорт, она раскрыла большие, изумрудные славянские глаза, которые король Карл презирал у мужчин и ненавидел у женщин. Она увидела придвинувшееся к стеклу каретной дверцы землистое, художавое лицо, с презрительным мальчишеским ртом и большим мясистым носом, — графиня вскрикнула и закрылась руками.

— Зачем вы приехали? — спросил король. — Прикажите немедленно запретить ваших лошадей и отправляйтесь обратно со всей скоростью, иначе вас примут за шпионку грязного бесстыдника короля Августа... Вы слышите меня?

Графиня не даром была полькой, — напугать ее было не легко. К тому же, король сразу повернул дело не в свою пользу: начал с невежливости и угроз... Графиня отняла от лица пухленькие руки, голые по локоть, приподнялась в подушках и улыбнулась ему с очаровательным протестушем:

— Bonjour, sir, — сказала она грациозно, — примите тысячу извинений, что я испугала вас моим криком... Виновата Бижу, моя собачка, она доставляет мне столько тревог, неуклюже попадая под ноги... Я выпустила ее из кареты, чтобы она поискала какую-нибудь корочку или куриную косточку... Сир, мы обе умираем от голоду... Весь вчерашний день мы мчались по пустыне мимо разоренных деревьев и сожженных замков, — мы не могли достать крошки хлеба, я предлагала по червонцу за куриное яйцо... Добрые поляки, которые вылезли из каких-то нор, жюлько воздевали руки к богу... Сир, я хочу завтракать... Я хочу вознаградить себя за все ужасы путешествия, вызваю к вашей доброте, вашему великодушию — позвольте мне завтракать в вашем присутствии.

Говоря без умолку на таком изысканном французском языке, будто она всю жизнь провела в Версале, графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надушиться и переменить ночной чепец на испанские кружева... Король Карл тшетно пытался вставить слово, — графиня выпорхнула из кареты и взяла его под руку:

— О, мой король, от вас — без ума вся Европа, больше не говорят о принце Евгении Савойском, о герцог Мальборо, — Евгений и Мальбрук принуждены уступить венок славы королю шведов... Можно извинить мое волнение, — за минуту видеть вас, героя наших сновидений, я безрассудно готова отдать жизнь... Обвиняйте меня в чем хотите, сир, я, наконец, слышу ваш голос, я счастлива...

Графиня подхватила вертевшуюся под ногами курносую, косматую собачонку и так крепко вцепилась королю под локоть, что ему пришлось бы оказаться смешным, отдирая от себя эту даму.

— Я ем овощи и пью только воду, — отъязисто сказал он, — сомневаюсь, что этим

вы могли бы удовлетвориться после излеществ короля Августа... Идите в мою палатку...

Весь шведский лагерь не мало был удивлен, увидя своего короля, вытаскивающего под руку из орешника пышную красавицу в разлетающихся на утреннем ветерке легких юбках и кружевах. Король вел ее, зло подняв нос. У палатки ожидали — барон Беркенгельм в изящной позиции, с золотым лорнетом, в преогромном парике, и мужиковатый, громоздкий, спокойно-насмешливый граф Пипер.

Пропустив графиню в палатку, король Карл сказал ему сквозь зубы:

— Этого я вам долго не прощу. — И Беркенгельму: — найдите, чорт возьми, какой-нибудь говядины для этой особы...

Король сел на барабан напротив графини, она — на подушки, подсунутые ей бароном. Завтрак, накрытый на пороховой бочке, превзошел все ожидания, — здесь был пахтет, гусиные потроха, холодная дичь, и в кубке работы Бенвенуто Челлини оказалось вино. Король отметил, поджав губы: «Отлично! Я знаю теперь, чем питается этот негодяй Беркенгельм у себя в палатке...» Графиня со вкусом уписывала завтрак, бросая косточки собачонке и продолжая щебетать:

— Ах, Иезус, Мария, зачем ненужное притворство!.. Сир, вы читаете мои мысли... Я приехала сюда с одной надеждой — спасти Речь Посполитую... Это моя миссия, внушенная сердцем... Я хочу вернуть Польше ее беспечность, ее веселье, ее славные пиры, ее роскошные охоты... Польша — в развалинах! Сир, не хмурьте брови, — во всем виновато легкомыслие короля Августа. О, как он раскаивается теперь, что в злой час послушал этого демона, Иогана Паткуля, и стал вашим врагом... Не злая воля Августа, верьте мне, но лишь Паткуль, достойный четвертования, начал несчастную войну за Ливонию. Паткуль, только Паткуль создал противоестественный союз короля Августа с датским королем и диким чудовищем — царем Петром... Но разве ошибки неисправимы? Разве не выше всех добродетелей — великодушие... О, сир, вы — великий человек. вы — великодушны...

Славянские глаза графини сделались похожими на влажные изумруды. Но аппетита она не потеряла. Ее мысли мчались таким галопом, что король Карл с трудом догонял их, и едва только намечался произнести ответную резкость, как нужно было возражать на новую фразу. Беркенгельм сдерживал вздохи. Пипер, расставя в углу палатки тяжелые ноги, с портфелем, прижатым к животу, тонко улыбался:

— Мира, только мира хочет король Август, готовый с облегчением разорвать позорный договор с царем Петром. Но громче всех молим вас о мире мы — женщи-

ны... Три года войны и смуты, — это слишком много для наших коротких лет...

— Не мир, — капитуляция, — проговорил, наконец, король Карл, уставясь на графиню желтоватыми глазами. — Разговаривать я намерен не здесь, в Польше, более уже не принадлежащей Августу, а в Саксонии, в его столице. Вы насытились, сударыня? Вам более не в чем упрекнуть меня?..

— Сир, я совсем сошла с ума, — торопливо сказала графиня, облизывая розовые пальчики, после того как расправилась с отлично зажаренным бекасом. — Я забыла сообщить самое важное, — для чего я мчалась к вам, сломя голову. — Она открыла золотую коробочку, висящую у нее на браслете, вынула бумажную трубочку и развернула ее. — Сир, вот депеша голубиной почтой, полученной вчера утром. Царь Петр с большими силами двинулся на Нарву, фельдмаршал Шереметев с пятидесяти тысячной армией осадил Юрьев... Мой долг предупредить вас об этом опасном марше царя Петра...

Граф Пипер перестал улыбаться, подошел к королю, и они вместе стали разбирать мелкий почерк голубиной депешы. Графиня перевела прекрасные глаза на Беркенгельма, легко вздохнула и, подняв кубок Бенвенуто Челлини, отпила из него...

3.

Великолепный король Август, казалось, созданный природой для роскошных празднеств, для покровительства искусствам, для любовных утех с красивейшими женщинами Европы, для тишеславия Речи Посполитой, желающей иметь короля не хуже, чем в Вене, в Мадриде или в Версале, — находился сейчас в крайне подавленном состоянии духа. Его двор расположился в полуразрушенном замке дрянного городишка Сокаль, — Львовского воеводства, — и терпел лишения. Здесь не было даже воскресного базара, потому что украинское население из ближайших деревень почти все либо попрягалось по лесам, ожидая конца войны, либо ушло чорт знает куда, вернее всего в Приднепровье, увлеченное страшными слухами о белоцерковском полковнике Семене Палее и брадавском полковнике Самусе.

Чтобы не ложиться спать на пустой желудок, королю Августу приходилось принимать приглашения на ужины от местных помещиков, говорить французские комплименты захоластным дамам и пить сквернейшее вино. Любой польский пан, закрутив пышные усы и гордо поглядывая на дальний — «серый» — конец стола, где стучала саблями и кружками беспутная загонова шляхта, — чувствовал себя больше королем, чем король Август. Варшавским сеймом он был декоронован. Правда, половина польских воеводств не признала это-

го, но все же в Варшаве, в его дворце, сидел второй польский король, Станислав Лещинский, писал оскорбительные универсалы и дарил его — Августу — парчевые кафтаны и парижские чулки своей челяди. Весь восток — правобережье Днепра — от Винницы до Подолии — пылал мужицким восстанием, не менее кровавым, чем при Богдане Хмельницком. И, замыкая окружение, не так далеко отсюда, где-то между Львовом и Ярославом, стоял король Карл с отборным тридцатипяти тысячным войском, отрезая Августу отступление в его родную Саксонию.

Август терял самоуверенность от омерзительного страха перед королем Карлом — этим свирепым мальчишкой, в пыльном скюртке и порыжелых ботфортах, с лицом скорца и глазами тигра, подползающего к жертве. Карла нельзя было ни купить, ни соблазнить, — он ничего не желал от жизни, кроме грохота и дыма пушек, лязга скрещенного железа, воплей раненых солдат и зрелища истоптанного поля, пахнущего гарью и кровью, по которому осторожно — через трупы — ступает его высокий, вислозадый конь. Единственная книжка, которую Карл держал у себя под тощей подушкой, были комментарии Цезаря. Он любил войну со страстью средневекового норманна. Он предпочел бы получить в голову двадцатифунтовую бомбу, чем заключить мир, хотя бы самый выгодный для его королевства.

Сегодня король Август весь день ожидал возвращения графини. Он не надеялся, чтобы она, при всей женской ловкости, могла склонить Карла на мир. Но известия, доставленные из Литвы по голубиной почте, о выступлении царя Петра были столь важными и угрожающими, что Карл мог и не понадеяться на один корпус генерала Шлипенбаха и поколебаться, — продолжать ли бессмысленную погоню за Августом, или повернуть войска в Прибалтику, куда для схватки с царем Петром толкали его решительно все: и австрийский император, смертельно боявшийся, как бы Карл не заключил союза с французским королем и не двинул свои войска на Вену, и французский король, опасавшийся, как бы венские дипломаты не перетянули Карла на сторону императора и не предложили бы ему военную прогулку к французским границам, и прусский король, боявшийся решительно всех и больше других — сумасбродного Карла, которому ничего не стоило вторгнуться в Бранденбургскую Пруссию, захватить Кенигсберг и отделать его — короля — так, что он не повернет ни рукой, ни ногой.

Затем пришел злой, как чорт, Иоган Пагуль, казавшийся еще толще от плахо сшитого зеленого, с красными обшлагами, русского генеральского мундира. Он хрипел, собирал морщинами высокий лоб, слишком узкий для его жирного и надменного лица, и на скверном французском

языке жаловался на трусость царя Петра, уклоняющегося от решительной схватки с королем Карлом.

«У царя две большие армии. Он должен вторгнуться в Польшу и, соединясь с вами, разбить Карла, каких бы жертв это ни стоило, — говорил Паткуль, вздрагивая багровыми щеками. — Это был бы смелый и умный шаг. Царь алчет, как все русские. Его пустили к Финскому заливу, где он с мальчишеской торопливостью строит свой городишко; он получил Ингрию и две прекрасные крепости — Ям и Копорье; будь доволен и выполняй свой долг перед Европой! Но у него разыгрывается аппетит на Нарву и Юрьев, он раскрывает рот на Ревель. После ему захочется Ливонии и Риги! Царя нужно удержать в границах... Но разговаривать об этом с его министрами бесполезно... Это неотесанные мужики в париках из крашеной кудели, — Европа для них тоже, что чистая постель для грязной свиньи... Я выражаюсь слишком резко и откровенно, ваше величество, но мне больно... Я хочу одного, — чтобы моя Ливония вернулась под скипетр вашего королевского величества... Но повсюду, — в Вене, в Берлине и здесь у вас — я встречаю полное равнодушие... Я теряюсь, — кто же, в конце-концов, бóльший враг для Ливонии: король Карл, угрожающий лично мне четвертованием, или царь Петр, оказавший мне столь лестное доверие — вплоть до чина генерал-лейтенанта? Да, я надел русский мундир и честно доведу эту игру до конца... Но мои чувства остаются моими чувствами... Боль моего сердца усугубляется оцепенением и бездействием вашего величества... Возвысьте голос, требуйте войск от царя, настаивайте на решительной схватке с Карлом»...

В другое время король Август просто вышвырнул бы за дверь этого наглеца. Сейчас ему приходилось молчать, вертя в пальцах табакерку. Паткуль, наконец, ушел. Король кликнул дежурного — ротмистра Тарновского — и сказал, что пожалует сто червоцгов, — которых у него не было, — тому, кто первый донесет о возвращении графини. Внесли свечи в прозеленевшем трехсвечнике, взятом, должно быть, из синагоги. Король подошел к зеркалу и задумчиво стал разглядывать свое — несколько осунувшееся — лицо. Оно никогда ему не надоедало, потому что он живо представлял себе, как должны любить женщины этот, очерченный, как у античной статуи, несколько чувственный рот с крепкими зубами, большой породистый нос, веселый блеск красивых глаз — фонарей души... Король приподнял парик, — так и есть, — седина! От глаза к виску бегут морщинки... Проклятый Карл!

— Позвольте напомнить, ваше величество, — сказал ротмистр, стоявший у дверей, — пан Собещанский в третий раз присылает шляхтича — сказать, что пан и пани не садятся за стол в ожидании ваше-

го величества... У них блюда такие, что могут перепреть...

Из кармана шелкового камзола, крепко пахнущего мускусом, король вынул лудреницу, лебяжей пуховкой провел по лицу, отряхнул с груди, с кружев, пудру и табак, — спросил небрежно:

— Что же у них будет особенное к ужину?

— Я допросил шляхтича, — он говорит, что со вчерашнего дня на панском дворе колят поросят, режут птицу, набивают колбасы и фарш. Зная утонченный вкус вашего величества, сама пани приготовила пивяки с гусиной кровью...

— Очень мило... Дай шпагу, я еду...

Имень панса Собещанского было невдалеке от города. Грозовая туча прикрыла гускнеющую полосу заката, сильно пахло дорожной пылью и еще не начавшимся дождем, когда Август в кожаной карете, изрядно потрепанной за все невзгоды, подъезжал к усадьбе. О его прибытии оповестил прискакавший вперед него шляхтич. Под темными ветвями вековой аллеи навстречу карете бежали люди с факелами... Карета обогнула куртину и под завыванье собак остановилась у длинного одноэтажного дома, прикрытого, как стогом, камышовой крышей. Здесь тоже метались с факелами босые, в рваных рубахах, панские холопы, с дико растрепанными волосами. У самого крыльца толпилось с полсотни загоновой шляхты, кормившейся при дворе пана Собещанского, — седые ветераны панских драк с ужасающими сабельными рубцами на лице; толстобрюхие обжоры, гордившиеся напомаженными, жесткими, как шипы, усами — без малого по две четверти в длину; юнцы в потрепанных кафтанах с чужого плеча, но от того не менее задорные. Все они стояли подбоченясь, положив руки на рукояти сабель — в доказательство своей шляхетской вольности, — когда же король Август, нагнувшись большим телом, полез из кареты, — они разом — по лагьи — закричали ему приветствие. С крыльца сходил, разводя руки, пожилой пан Собещанский, готовый в эту минуту — от широкого польского гостеприимства — подарить гостю все, чего бы он ни пожелал: гончих собак, коней из конюшни, всю челядь свою, если она ему нужна, василькового сукна, отороченный мехом кунтуш с самого себя... Пожалуй, не отдал бы только молодую пани Собещанскую... Пани Анна стояла позади супруга, такая хорошенькая, беленькая, с приподнятым носиком, удивленными глазами, в испанской шапочке с высокой тульей и пером, — у короля Августа отхлынула от сердца вся меланхолия.

С низким поклоном он взял пани Анну за кончики пальцев и, несколько приподняв ее руку, — как бы в фигуре полонеза, — повел в столовую. За ними шел пан с увлажненными от умиления глазами, за паном — духовник, — пахнущий козлом, сизо выбритый босоногий монах, подпя-

санный веревкой; далее — по чину — вся шляхта.

Стол, на котором под скатертью расстелено было сено, а поверху разбросаны цветы, вызвал крики восхищения; один длинный шляхтич, в кунтуше, надетом на голое тело, даже схватился за голову, мыча и раскачиваясь, чем вызвал общий смех. На серебряных, оловянных, расписных блюдах были навалены груды колбас, жареной птицы, телячьи и свиные окорока, копченые полотки, языки, соленья, моченья, варенья, хлебцы, бублики, пышки, лепешки, стояли украинские — зеленого стекла — медведи с водками, боченки с венгерским, кувшины с пивом.. Горели свечи, и помимо них в окна свежили дымящими факелами дворовые холопы, глядевшие сквозь мутноватые стекла, как славно пирует их пан.

Король Август надеялся, что его присутствие заставит хозяина отказаться от обычая напавать гостей так, чтобы ни один не мог уйти на своих ногах. Но пан Собежанский твердо стоял за старинный польский чин. Сколько сидело за столом гостей — столько раз он поднимался, расправля горстью седые усы, громко произносил имя, начиная от короля, кончая последним на конце — тем длинным шляхтичем, оказавшимся так же и без сапог, — и пил во здравие кубок венгерского. Весь стол вставал, кричал «виват!» Хозяин протягивал полный кубок гостю, и тот пил ответный за здравие пана и пани... Когда же за всех было выпито, пан Собежанский снова пошел по кругу, провозглашая здравицу сначала Речи Посполитой, затем всемилостивейшему королю Польши Августу, — «единственному, кому отдадим наши сабли и нашу кровь»... «Виват! Долой Станислава Лещинского!» — в иступлении кричала шляхта... Затем была витиеватая здравица нерушимой шляхетской вольности. Тут уже разгоряченные головы совсем потеряли разум, — гости выхватили сабли, стол зашатался, свечи повалились. Один плотный, одноглазый шляхтич, вскрикнув: «Так погибнут наши враги — схизматики и москали!» — лихо разрубил саблелью огромное блюдо с колбасами.

По левую руку короля Августа, со стороны сердца, сидела раскрасневшаяся, как роза, пани Собежанская. Она дивно успевала расспрашивать короля об увлекательных обычаях Версаля, о его там похождениях, мелко-мелко смеясь, касалась его то локтем, то плечом, и в то же время следила за гостями, особенно за «серым» концом, где иной шляхтич, придя в изумление от выпитого, засовывал копченый язык или гусиный полоток в карман своих холщевых шаровар, — и быстрыми, колючими взглядами подзывала слуг, отдавая приказание.

Король уже не один раз пытался обхватить нежную талию хозяйки, но каждый раз пан Собежанский протягивал ему для

вивата полный кубок: «Вам в руки, всемилостивейший король». Август пытался недопивать, или незаметно выплескивал под стол, — ничто не помогало, — кубок тотчас доливался холопом, который сидел с бутылкой под столом. Наконец, дорогому гостю было подано знаменитое блюдо поджаренных пивовок, — хозяйка своими руками положила их полную тарелку.

— Право же мне стыдно, когда вы хвалите такое деревенское кушанье, — говорила она простеньким голодом, а в глазах ее он читал совсем иное, — делать их не мудрено, лишь бы гусь был молодой и не особенно жирный... Когда они напьются крови, их вместе с гусем всовывают в духовую печь, они отваливаются от гусиной грудки и кладутся на скорородку...

— Бедный гусь, — говорил король, беря двумя пальцами пивовку и с хрустом укусывая ее. — Чего только ни придумают хорошенки женщины, чтобы полакомиться.

Пани Анна смеялась, перо на ее шапочке с высокой тульей, надетой набок, задорно вздрагивало. Король видел, что дело идет на лад. Он ждал лишь начала танцев, чтобы объяснить без помехи. В это время, расталкивая в дверях пьяных шляхтичей, ворвалась черная от пыли, потный, перепуганный человек, в изодранном кунтуше:

— Пан, пан, беда! — закричал он, бросаясь на колени перед панским стулом. — Ты послал меня в монастырь за бочкой старого меда... Я все достал исправно... Да черт меня понес обратно околицей — по большому шляху... Все я потерял, — и бочку с медом, и лошадь, и саблю, и шапку... Едва душу свою спас... Разбили меня! Нечислимое войско подходит к Сокалю.

Король Август нахмурился. Пани Анна впиалась ногтями в его руку. Какое иное войско могло сейчас входить в Сокаль, — только король Карл в упрямой погоне... Шляхта закричала дикими голосами: «Шведы! Рагуйте!» Пан Собежанский ударил по столу кулаком так, что подскочили кубки:

— Тихо, паны, ваша милость! Каждому — у кого хмель сейчас же не выскочит из башки — прикажу отпустить пятьдесят плетей, разложу на козре... Слушать меня, собачьи дети... Король мой гость, — я не покрою вечным позором свою седую голову... Пусть шведы приходят сюда хоть всем войском, — моего гостя им не отдадим...

— Не отдадим! — закричала шляхта, с лязгом выхватывая сабли из ножен.

— Седлайте коней... Зарядите пистолы... Умрем, не посраим польской славы...

— Не посраим... Виват!..

Королю Августу было ясно, что единственное благоразумное решение — немедленно вскочить в седло и бежать, благо ночь темна... Но бежать ему, Августу Великолепному, как жалкому трусу, покинув веселый ужин и прелестную женщину, все еще не отпускающую его руки? — К тако-

ку унижению Карл его не принудит!.. К эрзу благородумие!

— Велю вам, милостивые государи, вернуться к столу. Продолжим пир, — сказал он и сел, откинув от разгоряченных щек букли парика. В конце-концов, если сюда явятся шведы — его куда-нибудь спрячут, увезут, — с королями плохого не случается.. Он налил вина, поднял кубок, — большая, красивая рука его была тверда.. Пани Анна взглянула на него с восхищением — за такой взгляд, действительно, можно было отдать королевство...

— Добро! Король нам велит пировать! — лан Собещанский хлопнул в ладоши и приказал тому шляхтичу, что разрубил блюдо с колбасой, ехать с товарищами к большому шляху и стать там дозором; всемо столу — вплоть до «серого» конца — наливать лучшего венгерского и пить, покуда в последней бочке не высохнет дно, из погребов и чуланов нести все, что есть еще доброго в доме, да звать музыкантов...

Пир загремел с новым воодушевлением. Пани Анна пошла танцевать с королем. Она танцевала так, будто соблазняла самого апостола Петра, чтобы отворил ей двери в райский сад. Шапочка ее сбиалась на бок, в кудрях вились звуки мазурки, короткая юбка крутилась и ласкалась вокруг стройных ног, башмачки с красными каблучками то притоптывали, то летели, будто не касаясь пола... Великолепен был и король, танцовавший с нею, — огромный, пышный, бледный от вина и желания...

— Я теряю голову, пани Анна, я теряю голову, ради всех святых — пощадите, — говорил он ей сквозь зубы, и она взглядом отвечала, что пощады нет и двери рая уже раскрыты...

... За окнами в темноте послышались испуганные голоса челядинцев, захрапели лошади... Музыка оборвалась... Никто даже не успел схватиться за саблю или взвести курок пистолета... Только король, у которого в глазах все плыло кругом, крепко обхватил пани Анну и потянул шпагу...

В пиршественную залу вошли двое: один — огромный, в высокой бараньей шапке с золотой кистью, с висящими светлыми усами под большим носом, другой — пониже его — барственный, с приятной мягкостью лица, одетый в запыленный мундир с генеральским шарфом через плечо.

— Здесь ли находится его королевское величество король Август? — спросил он и, увидев Августа, стоящего со шпагой в угрожающей позиции, снял шляпу, низко поклонился! — Всемилодивейший король, примите рапорт: посланием государя Петра Алексеевича я прибыл в ваше распоряжение, с одиннадцатю полками пехоты и пятью конными казачьими полками...

Это был киевский губернатор, командующий вспомогательным войском, Дмитрий Михайлович Голицын, старший брат плисельбургского героя Михайлы Михайлови-

ча. Другой — высокий, в клеювненном кафтане и в епанче до пят — был наказной казачий атаман Данила Апостол. У шляхты угрожающе зашевелились усы при виде этого казака. Он стоял на пороге, небрежно подбоченясь, играя булавой, на красивых губах — усмешка, брови, как стрелы, в едином глазу ночь, озаряемая пожарами гайдамацких набегов.

Король Август рассмеялся, бросил шпагу в ножны, обнял Голицына и атаману протянул руку для целования. В третий раз был накрыт стол. По рукам пошел кубок, вмещавший полкварти венгерского. Пили за царя Петра, сдержавшего обещание — прислать из Украины помощь, пили за все пришедшие полки и за погибель шведов. Задорным шляхтичам в особенности хотелось напоить допьяна атамана Данилу Апостола, но он спокойно вытягивал кубок за кубком, только поднимал брови, — увалить его было невозможно.

На рассвете, когда уже не мало шляхтичей пришлось унести волоком на двор и положить около колодца, король Август сказал пани Анне:

— У меня нет сокровищ, чтобы бросить их к вашим ногам. Я — изгнанник, питающийся подаванием. Но сегодня я снова силен и богат... Пани Анна, я хочу, чтобы вы сели в карету и следовали за моим войском. Выступление — немедленно, ни часу промедления!.. Я проведу за вас, как мальчишку, короля Карла... Божественная пани Анна, я хочу поднести вам на блюде мою Варшаву... — И, поднявшись, великолепно взмахнув рукой, так что разлетелись кружевные манжеты, он обратился к тем за столом, кто еще тарашил глаза и напомаженные усы: — Господа, предлагаю вам и повелеваю — седлайте коней, вас всех беру в мою личную свиту.

Сколько ни пытался князь Дмитрий Михайлович Голицын — вежливо и весьма человечно — доказать ему, что войскам нужно денька три отдохнуть, покормить коней и подтянуть обозы, — король Август был неукротим. Еще солнце не высушило росы — он вернулся в Сокаль, сопровождаемый Голицыным и атаманом. Повсюду на городских улицах стояли возы, кони, пушки, на кудрявой травке спали усталые русские солдаты. Дымились костры. Король глядел в окно кареты на спящих пехотинцев, на казаков, живописно развалившихся на возах:

— Какие солдаты! — повторял он. — Какие солдаты, богатыри!

В дверях замка его встретил ротмистр Тарновский испуганным шопотом:

— Графиня вернулась, не желает ложиться почивать, весьма гневна...

— Ах, какие мелочи! — король весело вошел в сводчатую, сырую спальню, где оплавив сосульками, догорали свечи в прозеленевшем подсвечнике из синагоги. Графиня ~~встретила~~ его стоя, молча глядя

в лицо, лишь ожидая его первого слова, чтобы ответить как нужно.

— Софи, наконец-то! — сказал он с большей, чем хотелось бы, торопливостью. — Ну как? Вы видели короля Карла?

— Да, я видела короля Карла, благодарю вас... — Ее лицо было будто обсыпано мукой и казалось обрюзгшим, некрасивым. — Король Карл ничего так не желает, как повесить вас на первой попавшейся осине, ваше величество... Если вам нужны подробности моей беседы с королем — я расскажу... Но сейчас мне хочется спросить: какое вы сами дадите качество

вашему поведению? — Вы посылаете меня, как последнюю судомойку, обдирать ваши грязные делишки... Я подвергаюсь оскорблениям, в дороге я тысячу раз подвергаюсь опасности быть изнасилованной, зарезанной, ограбленной... А вы, тем временем, развлекаетесь в объятиях пани Собещанской!.. Этой маленькой шляхтянки, которую я постеснялась бы взять к себе в камеристки...

— Какие мелочи, Софи!

Это восклицание было неосторожным со стороны короля Августа. Графиня придвинулась к нему и — ловко, быстро, как кошка лапой, — вцепилась ему пощечину...

(Продолжение следует.)

ХИРУРГ

ВЕРНИКА ТУШНОВА

☆

Порой он был ворчливым оттого,
Что полшага до старости осталось,
Что верно часто мучила его
Нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
Его хранил от мыслей одиноких.
Он столько жизней бережно держал
В своих ладонях умных и широких.

И не один, на белый стол ложась,
Когда терпеть и покоряться надо,
Узнал почти божественную власть
Спокойных рук и греющего взгляда.

Вдохнул эфир, слабел и, наконец,
Спеша в лицо неясное взглядеться,

Припоминал, что, кажется, отец
Смотрел вот так, когда-то, в раннем
детстве.

А тот ли в самом деле был отцом
И, может быть, над раненым склоненный
Не раз искал похожего лицом
В молочном свете операционной.

Своей тоски ничем не выдал он,
Никто не знает, как случилось это,
В какое утро был он извещен
О смерти сына под Осолом где-то.

Не в то ли утро с ветром и пургой,
Когда немного бледный и усталый
Он паренька с раздробленной ногой
Сынком назвал совсем не по уставу.

КАЗАКИ

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ



КАЗАКИ ЗА БУГРОМ

Из леса в степь на бешеном карьере
Казачий полк летит на скакунах;
Еще клинки в крови не побагтели,
Но казаки стоят на стременах.
И топот плотный по полю несется,
Как с неба павший перекатный гром;
Из края в край над степью раздается:
— Эгей! Гей-гей! Казаки за бугром!

Мелькают в поле красные лампасы,
Шнурки от бурок вьются на груди;
И — перерезанная с лету насыпь
Уже шуршит песками позади.
Горит, как дом, немецкий бронепоезд,
До неба пламя вздыблено ребром;
Гремит в степи, в высоких травах кроясь:
— Эгей! Гей-гей! Казаки за бугром.

У переправы на речном изломе, —
Железный стон и выкрики солдат;
Дивизион немецкий на пароме,
Звенит струной натянутый канат.

Но где ты, левый, где ты, берег правый, —
Канат рассечен, вниз идет паром,
И над рекой встает у переправы:
— Эгей! Гей-гей! Казаки за бугром!

Стоит печальный придорожный тополь,
Ведет с дорогой долгий разговор...
Но вот он слышит за холмами топот,
Копытный стук, стремянный перебор,
И он шумит от радости ветвями,
Звенит над степью тихим серебром,
Гудит корой и темными корнями:
— Эгей! Гей-гей! Казаки за бугром!

Эгей! Гей-гей! Не скошены, не смяты,
Гремят обвалом грозные полки.
Встают восходы, падают закаты, —
В седле, в седле донские казаки.
Поля, поля, широкие долины, —
Мы все пройдем, но с седел не сойдем,
Пока не грянем громом под Берлином:
— Эгей! Гей-гей! Казаки за бугром!



НА МОГИЛЕ КОЧУБЕЯ

Степная могила покрыта травой
Да красной кирпичною кромкой...
Ты, слышишь, Иван Кочубей, над тобой
Стоят боевые потомки.

Горячие кони грызут удила,
Копытами бьют в нетерпенье;
К тебе нас степная молва привела,
Сердец непокорных кипенье.

Как пламя, под ветром горят башлыки,
Твоей подожженные силой...
Стоят на коленях в степи казаки
Пред честной казачьей могилой.

Багряное знамя витой бахромой
Над прахом твоим наклонилось;
Пусть тело истлело твое под землей,
Но сердце еще сохранилось.

Оно под землей ставропольской лежит
И слышит, ни часу не дремля, —
Как топот от поля до поля бежит,
Все ближе, все дальше по землям.

И пусть под землею сокрыто давно,
Но так же порывисто бьется;
Лишь топот услышит и — снизу оно
Под солнце кубанское рвется.

Чтоб снова увидеть казацьи полки
На бешеном вольном аллюре;
Чтоб снова узнать, как летят казаки
В движенье, подобные буре.

Чтоб снова в сиянье кубанской зари.
Как некогда в грохоте сечи, —
Увидеть, как жарко горят гозыри, —
Облитые золотом свечи.

Лежи, Кочубей, мы к могиле твоей
Пришли на походе полками;
Наш вечный водитель, Иван Кочубей.
Военная слава Кубани.

Ты шашку твою захватить нам позволь.
Она неподкупная — с нами:

По стали булатной, исчерчена вдоль
Арабскими письменами.

И где-нибудь там, у дунайских степей,
Остриженный клопец с Кубани,
Пред страшным ударом «Иван Кочубей!» —
Прошепчет сухими губами.

Ты с нами, Иван Кочубей! Казаки
Твоею исполнены силой!
...Взметается пыль над травой, полки
Идут над степною могилой.

Горят башлыки по-над степью зарей,
Стучат на дороге копыта;
И сердце, что бьется, стучит под землей*
С полками невидимо слито.

★

СКАЗ ПРО БАНДУРУ

Эт, как жил Бандура,
Кубанский казак;
Статен фигурой,
Глаза, как табак.

Ловок был да жилист,
Весел, здоров;
С ним в полку служил
Четверо дружков.

Чай-похлебку пили,
Курили самосад;
Под гармонь любили
Цеть да плясать.

«Взяв бы я бандуру»...
Пели казаки,
«Из-за той бандуры», —
В темень у реки.

Вот и кончен вечер,
Погас в землянке свет...
Бандура — разведчик,
Остальные — нет.

Только свистнет лихо:
«Пожелайте мне...»
И меж сосен тихо
Скроется во тьме.

Звезды меж стволами
В темноте блестят;
Березы ветвями
О чем-то шелестят.

Путь Бандуры длинный, —
Деревья, кусты.
Выкрик совиный.
Берег. Мосты.

Красная ракета,
Зеленая летит.
Очень много света,
Красивый вид.

Сосновые ветки
Сверкают в темноте...
Если ты в разведке, —
Забудь о красоте.

Бандура обнаружен,
Начали стрелять;
Хочет фриц на ужи
Казака поймать.

Немцу закуску
Жалко упустить;
Можно чай в прикуску
В мирном доте пить.

Бандура под корнями
Не дышит, лежит.
Сухими губами
Молча шевелит.

Бандура, Бандура!
За что пропадешь?
Ах, ты, немец-дура,
Куда ж ты идешь!

Или ты не видишь, —
Я здесь лежу;
Или ты не слышишь —
Лимонку держу.

Взмахну рукою,
Выдерну кольцо,
Навеки успокою
Твое лицо.

Проходит немец,
За ним другой,
До них обоих
Подать рукой.

Идут по Бандуре,
Во тьму глядят...
Как будто в бурю
Корни гудят.

С Бандурой остается
Немец второй,
С фонариком он гнётся,
В ночи сырой.

Ах, ты, немец-дура,
Ну что тебе сказать?
Взял бы ты Бандуру,
Да не сможешь взять.

Ах, ты, немец-дура,
Пришел твой конец;
Из-за той Бандуры
Ты не жалец.

Дрожишь под руками,
Крепко давлю...
Место под корнями
Тебе уступаю.

Бандура отползает
От места своего.
Все, что надо, — знает
И — сверх того.

Сосны, мои сосны,
Предутренный покой;
Дымок папиросный
Струится над рекой.

То не дымок — туманы,
Студеная роса...
За синим курганом
Казачьи голоса.

Да конское ржанье
До неба встает;
Да чье-то восклицанье:
— Бандура идет!

Зеленые ветки
Бьют ему поклон.
Результат разведки
Докладывает он.

Слышит, как седлают
Коней казаки.
Шашки вынимают
Его дружки.

Степные кобылицы
Копытами бьют;
Зеленые зарницы
В глазах у них встают.

Они помчатся бурей
Над степью, над травой...
И просится Бандура:
— Разрешите в бой?

Головой качает
Майор в ответ, —
И это означает:
— Нет, Бандура, нет!

Ты иди, Бандура,
Отправляйся спать;
Взял бы я Бандуру
Да не могу взять.

БИТВА ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ

Пьеса в 4-х действиях

ИГОРЬ ЛУКОВСКИЙ

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иванко Жданов — псковский мужик.

Ольга — его жена.

Избрана — сестра Ольги.

Ждан — отец Иванко.

Марфа — мать Иванко.

Михалко — отец Ольги и Избраны.

Милка — псковская девочка.

Василий Дмитриевич — великий князь Московский.

Софья Витовтовна — его жена, великая княгиня.

Витовт Кейстутович — великий князь Литовский и Белорусский, отец Софьи Витовтовны.

Юрий Лугвениевич — смоленский князь и воевода.

Владислав Ягайло — польский король.

Збигнев Олесницкий — его секретарь.

Зындрам из Машковиц — польский рыцарь.

Ульрих фон-Юнгинген — Великий Магистр Тевтонского Ордена.

Фридрих фон-Валленрод — Великий маршал Ордена.

Куно фон-Лихтенштейн — Великий комтур Ордена.

Кунигунда фон-Альфлебен.

Фабриас — доктор богословия.

Антонио Сальвари — итальянский наемник.

Филаф Машмура — венгерский наемник.

Де-Лануа — французский художник.

Марквард Зальцбах — комтур Ордена.

Большой Карл — оруженосец Магистра родом прусс.

Андрей Всеволодович — псковский дружинник.

Капеллан Готфрид Мерхейм — секретарь Магистра.

Генрих — кнехт.

Вингала — литовский воевода.

Иван Родионович Квашня — московский боярин.

Ян Жишка из Трочнова — чешский рыцарь.

Порфишка } — смоленские ратники.
Вячка }

Московские ратники, польские рыцари, рыцари Тевтонского Ордена, псковичи, смоленцы, ловчие и слуги Витовта, гонцы.

Время действия — 1410 год.

★

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Изба Ждана на Псковщине вблизи границы Тевтонского Ордена. Февраль 1410 года. Вечер.

В очаге весело пылает огонь, бросая красноватые блики на стены, сложенные из почерневших дубовых кражей, на лица людей, сидящих вокруг большого стола.

В глубине горницы дверь, справа от нее маленькое оконце, слева — сундук, над которым висят турьи рога и боевые топоры. От очага крутая лесенка ведет на чердак избы.

Стол уставлен жбанами, ендавами с медом и брагой, деревянными тарелками со всякой снедью. На скамье, покрытой медвежьей шкурой, сидят молодые — Иванко и Ольга, отец невесты — Михалко, его младшая дочь Избрана и старый псковский дружинник Андрей Всеволодович.

Хлебосольный хозяин, маленький старичок Ждан все подливает и подливает в чаши, и жена его — здоровенная старуха Марфа мечет из печи на стол новую снедь.

Поднялся старый дружинник Андрей, седая борода распушилась на кольчуге, лицо в шрамах.

Андрей (вынул ожерелье). Могуч янтарь от дурного глаза. В свейской земле добыт. Бери, Ольга, на счастье, да принеси мужу, сколько зерен тут, столько мальчиков...

Избрана. А сколько мальчиков—столько девочек!.. Ай, сестричка, янтарь! Заморский!

Михалко. Тароватый гость... Кланяйся, Олюшка...

Ольга. Спасибо, Андрей Всеволодыч... А зерен в нем и не счесть... Вишь, ты мне сколько бабьих мук нажелал.

Марфа. И-и-и, невестка... Рожать не муча, а бабья радость.

Андрей. Хо-хо-хо!..

Михалко. Ай-да тетка Марфа!..

Ждан. Марфуша, чу!.. Еще снеси мечи!.. Глянь-ка, Михалко, на дно жбана... Э-э-э, пусто на свадьбе не бываты!

Михалко. Льем не в ухо, а в брюхо, там дно далеко... Доченьки-то мои! Старшая поспела, младшая дозревает... Пожди, потерпи, Избранка, впредь на весну сыщется и тебе жених! (Ольга и Иванко целуются.)

Избрана. Довольно уж вам, сладеньки!..

Михалко. А до весны не далече!..

Марфа. Снег нынче пухло лежит — весна будет красна.

Иванко. Избу новую срубим, Олюшка, на столбах резных!..

Андрей. Да, други, кабы не вражье лихо! Вот и сосед наш Василько Олексич ставил избы прошлой весной...

Ждан. Ставил, бедный!..

Андрей. Проезжал я мимо — пепел да кости...

Ждан. Что же вам с дедовских земель уходить?.. Здешний искони русский рубеж, и отсюда никуда не пойдём!

Иванко. Разве топор наш немецкую кость не берет?..

Михалко. Велика ихняя сила! В бою как станут стеной один подле другого, в железных бронях, да рожи закрыты: лишь глаза в решетках забрал!..

Иванко. А вот в глаза и колоды!..

Андрей. Встречал я их конным и пешим, с мечом и с топором, и хоть я мужик, а не рыцарь, но доставал сквозь железо и до ихнего мяса

Михалко. Пскову нашему одному не отбиться. С Москвы надо рать просить.

Избрана. Так нынче же мир у нас!

Иванко. С худыми соседями мир не в мир.

Михалко. Может, князья запишут союз?

Андрей. Союз? Хе-хе!.. Да будто и тихо у нас, езджают к нам ихние купцы да посольства, засылают грамоты... А какой толк? Кто ложится спать, вот как мы, близ немецкого рубежа, тот никогда не знает — проснется ли он?

Марфа. Верно, Андрей Всеволодыч!

Михалко. Не раз и мы с огнем просыпались...

Андрей. Нынче время настанет: вырастут внуки, дедов не зная, сыновья отцов не увидят. А вы толкуете — мир!..

Марфа. Нам ли толковать?.. Семерья сынов до смерти побили...

Михалко. А моя-то женка... Взшла ей вражья стрела в самое горло... Ночь промучилась... Эх!

Ольга. Не поминай про мамку!.. Не ждало!.. (заплакала Избрана).

Ждан. Да что вы все о войне да о войне?.. Тьфу!.. Из-за вас мед в соль пролило... Не к добру... Что мы свадьбу как гризну, правим!.. Михалко Лександрыч скинь слезу, выпей! Господи Христе, ведь веселье у нас!.. Андрей Всеволодыч!

Иванко. Тише... Где-то звонят.

Андрей. Никак в било ударили?

Михалко. Эге, да это с городища всплохи!..

Марфа. Ой, не к добру!.. Худо звонят... (подбежала к оконду). Глядите, красота!

Ждан. Городище горит!..

Ольга. О беде говорили, а беда к нам!.. Избрана. Немцы!..

Андрей. Раз огонь, так они!

Ждан. Близко... (стук в дверь).

Иванко. Пришли!..

Ольга. На дворе загорелось!

Андрей. Туши лучину!.. (в горнице стало почти темно, лишь за окном смутно мелькают огни. Снова тяжелый стук в дверь).

Ждан. Эй, кто стучит?..

Голос (за дверью). Во имя Иисуса Христа — отворите!

Ждан. Час поздний. Проходи, человек, мимо!

Голос (за дверью). Отворите, смерды! Выломаем дверь!

Андрей. Не пугай! Нас тут много к мужи не с голыми руками (снял со стены топор).

Ждан. Добраться бы голько до коней!

Голос (за дверью). Винрих, лезы!..

(Вылетела рама оконца, в узкое отверстие просунулось зазубренное копые и вслед голова немца в квадратном шлеме с опущенным налчичиком).

Андрей. А-а-а!.. Челом!.. (страшно ударил топором по голове немца, тот со звоном скатился обратно в ночь).

Иванко. Мало нас — шестеро!

Марфа (взяла рогатину). И меня посчитай, сынок!.. (В окне показался кнехт Генрих, вскинул арбалет, спустил стрелу, исчез. Михалко медленно опустился на пол).

Михалко. Ох, други... (дочери бросились к нему).

Ольга. Батюшка, очнись!
 Избрана. Батюшка, скажи что-нибудь..
 Ольга. Водицы на!..
 Михалко. Отбейтесь, други!.. Дочез
 сбереги, Иванко!..
 Избрана. Батюшка, не умирай!
 (Из-под дверей и в оконце повалил
 густой дым).
 Ждан. Спекут нас, проклятые!..
 Андрей. Надо выходить!
 Иванко. Олюшка!.. Выбьем их, Олюшка!
 Ольга. Иванко!.. Батюшка!..
 Андрей. Становись мне по левую руку,
 ты по правую. Выйдем, держаться рука
 к руке! Ну, помоги нам боже! Марфа
 Ивановна, открывай!..
 (Марфа сняла засовы, распахнула дверь
 и все тесной кучкой устремились
 на врага. В дыму, за дверью звон и
 лязг железа... На сцене Ольга и Из-
 брана у тела отца.)
 Избрана. Батюшка!.. Никак не дышит!..
 Михалко. Дышу еще, дочка!.. Дышу..
 (приподнялся и упал навзничь).
 Ольга (выглядывая за дверь). Иванко
 свалил двоих!.. Еще одного!.. Милый!
 Еще свалил!.. Ой, упал Андрей Всеволо-
 дыч!.. Рубят его!.. И Ждан упал! Господи!
 На Иванко сзади набросились!.. Помочь
 ему!.. Помочь!.. (схватила нож и броси-
 лась к двери, но в этот миг навстречу
 Ольге вбежал в избу Фридрих фон Вал-
 ленрод с обнаженным мечом, в черных
 вороненых доспехах и в белом орден-
 ском плаще. За ним латник Генрих
 и еще двое кнехтов).
 Валленрод. Тушить огонь, собаки!..
 Добыча тут!.. Волчье семя — трое му-
 жиков столько народа искрошили! Свя-
 зали этого бычка с топором?..
 Генрих. Да, благородный комтур!.. Юнец
 диковинной силы; его одного едва дер-
 жат десять человек!..
 Валленрод. Язвы христовы!.. Я по-
 дарю этого здорового раба любвице
 Магистра! (к Ольге). Что глядишь,
 как сова?.. Может, ты ведьма, спаси
 меня святой Либерий!.. Слыхали мы, в
 здешних озерах водятся такие русал-
 ки... (Ольга с ножом бросилась на не-
 го, но Валленрод поймал ее руку.)
 Ольга. Пусти... разбойник!
 Валленрод. А-а-а... Так ты не ведьма..
 Теплая!..
 Ольга. Убей тогда, убей!..
 Валленрод. Убить?.. Да я за тебя
 возьму мешок золота, девчонка!.. (Из-
 бране) А за тебя — второй!.. Привязать
 их к седлам!.. (Кнехты утащили деву-
 шек. Валленрод шагнул, взял со сто-
 ла едovou с медом, осушил). Язвы
 христовы!.. У хамов хороший мед!
 Ломай сундук!
 Генрих. Здесь только ружья, благо-
 родный комтур!..
 Валленрод. Гляди получил!..

Генрих. Ого, на дне — шкатулка.
 Валленрод. Давай сюда! (спрятал гор-
 шок под рыцарский плащ. Вошел кнехт
 Большой Карл).
 Большой Карл. Благородный комтур
 рыцарь брат Эльблонг доносит тебе: все
 городище сожжено, мужики порублены
 и загнаны в огонь. Осталась только
 земля да вода.
 Валленрод. Трубить сбор! Добычу гру-
 зить, рабов ковать!.. (осушил жбан,
 швырнул в очаг. Все выходят. Снару-
 жи завывали боевые рога... Изба пуста.
 Тухнет очаг. Тишина. Шатаюсь, вхо-
 дит Марфа с обломком рогатины в ру-
 ке. Мимо разбитого сундука, мимо
 праздничного стола, мимо переверну-
 тых скамей, мимо тела Михалко идет
 она к потухшему очагу... Села. Долго
 сидит, скрестив на коленях руки... Гу-
 стее сумрак. Марфа наклонилась,
 подобрала в очаг одно полено, за
 ним — другое, третье... Подула в тле-
 ющие уголья и, вновь разгораясь,
 вспыхнуло пламя в очаге. В дверь ти-
 хонько вошла Милка, маленькая про-
 стоволосая девочка в огромном кожу-
 хе, вся в снегу).
 Милка. Тетка Марфа, а тетка Марфа..
 Марфа. А-а-а, это ты, Милка..
 Милка. Я... Дай хлеба, тетка Марфа..
 Марфа. Возьми!..
 Милка (взяла со стола хлеб, жадно
 ест). Я с волками в лесу песни пе-
 ла... волчица... старая... седая... Мама
 моя. Я говорю, почему ты, мама, живая,
 ведь тебя давно немцы сожгли... Мног
 их скачет по дороге... все в лагах..
 огоньки в руках... дома горят... Тетка
 Софья лежит в канаве... дитяток на
 груди пищит... а сама она мертвая..
 (Отблеск от очага упал на лицо Ми-
 халко и он приподнялся).
 Михалко. Ну, что... отбился?
 Марфа. Нет.
 Михалко. Дай воды!.. (Марфа встала
 поднесла ковш). А дочки мои где?..
 Марфа. Угнали... Нет у тебя дочек... И
 сыночка у меня нет... И мужа убили..
 А ты что ж? Помираешь?
 Михалко. Нет, нет! Я помирать не мо-
 гу!.. Земли дай мне с паутинкой, я ра-
 ну залеплю, встану... сейчас встану!.. На
 Псков побегу, люд подымать!.. Сейчас
 побегу!.. А псковичей нехватит, новго-
 родцев позовем, а новгородцев нехва-
 тит — Москве ударим челом — князю
 Василию Дмитриевичу! Москву позовем!
 Марфа. Москва-то далека..
 Михалко. Ой, не далека!.. Москва татар
 отбила и рыцарей от русской земли
 отбьет!.. Я сейчас всю Русь пробегу..
 только бы вот очуци... завязать по-
 крепче... (снова упал в забытьи).
 Марфа (наклонилась над ним). Кажись,
 душу стрела не задела... Отхожу тебя!..

Картина вторая

Мариенбург, или Мальборг — столица Тевтонского Ордена. Июль Великого Магистра Ордена в Высоком Замке. Апрель 1410 года. Утро.

Большая мрачная комната. Своды потолка поддерживает массивная колонна, на которой висит треугольный щит с черным крестом на пурпурном поле. Такие же кресты — на дверях, на стеклах узких готических окон в оловянных рамах и на спинках высоких кресел. В глубине комнаты на возвышении стоит длинный трапезный стол, покрытый белой, золотом вышитой скатертью. Всюду по стенам развешаны богатые рыцарские доспехи, двухручные мечи, тяжелые боевые секиры и седла.

Ближе к авансцене, за малым столом, заваленным свитками пергамента и книгами, сидит капеллан Готфрид. Великий Магистр Ордена Ульрих фон-Юнгинген нетерпеливо шагает взад и вперед. Он одет в платье простого кнехта: кожаный колет, который обычно носят под панцирем, грубые сборчатые штаны и высокие сапоги. Только толстая золотая цепь с драгоценными знаками его звания украшает солдатский костюм Магистра. Сам он — мужчина высокого роста, склонный к полноте, с обрюзглым лицом, на котором странно выделяется хищный горбатый нос. Магистр диктует негромко, помогая себе характерным прищелкиванием пальцев. На кресле небрежно брошен его белый рыцарский плащ.

В отдалении стоят — комтур Большого Конвента Куно фон-Лихтенштейн — седой старик с мрачным жестоким лицом, также одетый просто, — и доктор богословия Фабриас в дорожном костюме странствующего ученого.

Магистр (диктует). «Жители Данцига, в садах ночного разврата, в домах прелюбодеяния — да оставят свои расточительные пороки... Дева, что ходит ныне с обнаженным телом, пусть грудь и плечи свои закроет простым плащом и снимет жемчуг с волос своих... Купец Данцига пусть ныне сократит свою торговлю, да не гратит золото на роскошь из далеких стран... Горожанин Данцига пусть льет меньше дорогого масла в свою пищу и вместо иностранных вин пьет черное немецкое пиво. Да запрещаются всякие излишества, ибо каждый грош нужен Святому Ордену для крестового похода на Восток, куда мы понесем в языческую тьму — свет христианского мира. Для сей священной цели повелевается Городскому Совету Данцига внести в кассу Ордена — сто тысяч золотых марок, да под страхом смерти не замедлят... (Магистр остановился у стола). Давай, подпишу. (Лихтенштейну). Поставь свою подпись и ты, Куно. Ты жег этот непокорный Данциг и, если они не раскошелятся, твое имя пахнет на них знакомым дымком... Святая кровь... Я заставляю забыть их, что Данциг по-польски когда-то звался — Гданском! Хм... Гданск!.. (Готфриду). Такие же грамоты пошлешь городским советам Мемеля и Торна. Война должна кормить войну. Аминь. Посланы письма в Вену и в Рим?

Готфрид. Гонцы ускакали в ночь.

Магистр. Разрешаю удалиться. (Готфрид собрал бумаги, ушел).

Лихтенштейн. Великий Магистр, вот доктор богословия Фабриас. Он едет в Краковскую Академию... (Фабриас низко поклонился).

Магистр. Фабриас?. Я помню это имя в списке лиц, получающих наше золото. Фабриас. Я — немец.

Магистр. Умный ответ. Прошлой зимой ты жил в Праге?

Фабриас (с усмешкой). Я написал там латинский трактат «О главных торжествах девы Марии».

Лихтенштейн. И сообщал нам о всех интригах при дворе короля Венгеля.

Магистр. Помню.

Фабриас. Когда я покидал Прагу, чехи еще пытались бороться, но наша немецкая партия при дворе уже брала верх...

Магистр. Еще бы! Король Венцель задолжал нам триста тысяч галеров, а даже проценты ему нечем платить. Мы заберем залог, а потом... Святая кровь!.. Что начато золотом — пора закончить мечом. Итак, ты едешь в Польшу?

Фабриас (с той же усмешкой). Я приглашен читать лекции на богословском факультете в Краковской Академии.

Магистр. Хорошо. Поляки — народ благочестивый, а сам король Ягайло-хитрый ханжа. Не брейся, не мойся, ходи в заблужданной рясе, напиши латинский трактат, хоть о хвосте самого дьявола, и король сочтет тебя за свя-

того... Вотрись в доверие, стань его духовником, наблюдай за его связями с литовцами, с Москвой, почаще пиши нам. Аминь. (Фабриас, пятясь, с низкими поклонами ушел). Кстати, мой Куно, что делает наш гость король Ягайло?..

Лихтенштейн. Шестой день он с притворным смирением ждет вашей аудиенции.

Магистр. Слава господу, настало время, когда польский король окопачивается в наших передних... Ведь он стыдливо приехал под чужим именем... Ха!.. Пусть подождет еще до вечера. Дальше?

Лихтенштейн. Рыцари-крестоносцы продолжают прибывать. Уже переполнены все форштадты и даже в поле раскинулись десятки шатров.

Магистр. Кто приехал сегодня?

Лихтенштейн. Итальянцы и герцог Конрад Австрийский. Вчера вечером вернулся из похода на Псковские земли комтур фон-Валленрод.

Магистр. Почему он сразу не явился ко мне? Вероятно, был удачный поход?

Лихтенштейн. Добычи много... Он даже вчера подарил молодого русского раба вашей крестной сестре, прекрасной Кунигунде... и ...

Магистр. И... и что?..

Лихтенштейн. И раб всю ночь находился в ее покоях...

Магистр (гневно). Ступай!

Лихтенштейн. Еще не все! Лучшую весть я оставил на конец. Пришел из Нарвы корабль...

Магистр. Неужели, Зальцбах?

Лихтенштейн. Да, рыцарь Марквард Зальцбах приехал из Московий.

Магистр. Зови! (Лихтенштейн поспешно вышел. Вошла Кунигунда фон-Альфлебен).

Кунигунда. Все дела... дела... Здравствуй, мой добрый Ульрих.

Магистр. Прочь... Шелудивая шляжа!.. Тело на пиршество червям!..

Кунигунда. Великий Магистр!..

Магистр. Замолчи, чума тебе в кровь... Голую вею привязать к хвосту жеребца, пустить вскачь, чтоб все камни мостовой пересчитала своими престями.

Кунигунда. Ведь я слабая женщина, мой рыцарь...

Магистр. Ты — дьявол!.. С пленным рабом похабные затеяла шашни... фу, фу...

Кунигунда. Ах, вас тревожит подарок Валленрода — этот русский бычок?.. Но, мой монах, виновата не я... Ведь вы разогрели мой лед и он презратился в лужицу... Вы зажгли мой костер и перестали подбрасывать дрова... Возьмите обратно все подарки, украшения и платья, они не стоят моей молодости... (Закрыла шарфом лицо.)

Магистр. Только не плачь... Твои слезы всегда ранят меня... Я собираюсь бросить к своим ногам половину мира, а ты... не уважая ни моих содин, ни этого святого креста на плаще... Ну, открой же лицо, открой... (вошел Готфрид) Что?

Готфрид. Великий Магистр, из Эльбинга рыцарь Вальде доносит: вновь взбунтовались пруссы и дерзко отказались платить святую дань.

Магистр. Передать брату Вальде: селенья непокорных сжечь дотла и всем мужчинам от мала до велика — отрубить правые руки, дабы впредь не поднимали их на немецкий крест!.. (Глядя на Кунигунду). А... женщины... сечь плетями... Дань собрать! ! Аминь. (Готфрид ушел).

Кунигунда. Вот когда ты такой... я боюсь тебя и... люблю тебя, Ульрих... (Вошли Куно фон-Лихтенштейн и Марквард Зальцбах).

Магистр. (Кунигунде). Разрешаю удалиться. (Кунигунда вышла).

Лихтенштейн. Вот — немец, который вернулся с того света.

Магистр. Марквард Зальцбах! Садись. Накануне больших походов на Восток, я должен знать всю правду о Московии...

Зальцбах. Славный Ульрих, мне удалось проникнуть в эту заповедную страну... В марте прошлого года, под именем ганзейского купца Шорна, как ты ведел, я приехал с товарам в Нарву и оттуда направился в Новгород, а как вскрылся на реках лед, начал пробираться в Московию. Через два месяца я увидел столицу Азиатской Сарматии — город Москву и замок Большой Кремль...

Магистр. Ну, ну, Марквард, говори!

Зальцбах. Скажу откровенно: если на Востоке чье-либо могущество возвеличится, это будет могущество Москвы!

Магистр. Что ж... Московский король так силен?..

Зальцбах. Да, Василий — сын короля Дмитрия Донского — это хозяйственный и хитроумный государь. Он ныне мирно ладит с татарами, он привел в покорность Москве разноплеменные земли, он подчинил себе других русских синьоров и жестоко карает непокорных. Он женат на дочери литовского князя Витовта, а сам свою дочь выдал замуж за сына греческого императора. Он копит несметную казну. Он строит крепости, делает порох. Он увеличил и украсил крепкий московский замок Кремль и воздвигает новые города. Король Василий — это муж совета и муж войны. По заслугам следует считать его в числе сильнейших государей нашего века.

Магистр. Говори дальше!

Зальцбах. Московия — страна многолюдная и богатая...

Магистр. Вот это подробней, прошу тебя!

Зальцбах. Ты знаешь, я уже стар и в жизни никогда не лгал. На шкуре моей немало рубцов от русских секир и мечей... Так поверишь ли ты, что восточные купцы рубины и жемчуг продают горстями... Арабские клинки, насеченные золотом, дивные шелковые ткани... Драгоценные меха — соболя, куницы и горностаи, редкие пряности из Индии!.. Серебро и золото там рубят топором, как дерево, и называют эти куски рублями!..

Магистр. Святая кровь!..

Зальцбах. Прекрасные седла и кольчуги, мед и воск, шерсть и полотно, белый зуб водяного зверя, что зовется моржом, лен, ковры, серая амбра, мускус, ладан, редкостная икра из огромных рыб — все это я видел там на базарах...

Магистр. Довольно! Ты выполнял мое повеление честно. Ты здесь никому не рассказывай этих... чудес. Мы тоже не бедны. Башня, рядом с этой трапезной, сверху до низу набита слитками золота и серебра!.. В предстоящей войне мы каждому убитому русскому и литовцу сможем положить по червонцу на мертвые глаза!..

Зальцбах. И все же это — нищета по сравнению с сокровищами Востока!..

Магистр. Замолчи, мы — монахи, и наше богатство — крест и меч!..

Лихтенштейн. Меч!..

Магистр. Все рыцари Европы помогут нам — итальянцы, венгерцы, фризцы, шведы, датчане! Император шлет нам свои войска. Римский папа благословляет наши знамена!.. Или этого мало, Марквард? Что выставит против нас Восток, что?.. Горсточку польской шляхты? Толпу литовских рабов? Или мужицкие полки Московского короля? Да мы истребим их так, что даже имени их не останется!..

Зальцбах. Но если они объединятся!..

Магистр. Нет, нет, благородный Марквард!.. Мы натравим Польшу на Литву, Литву на Москву, Москву на Польшу! Мы перебесим всех славянских собак, чтобы они кусали и рвали собственные хвосты, и тогда будем бить их обухом по черепам!.. Я готов бросить судьбу нашего Ордена на чашку весов — вот так!.. Но чтоб на другой чашке не было ничего — пыль! Сегодня польский король Ягайло ждет моего приема. Мы запугаем этого ханжу! (Вошел комтур фон-Валленрод). А-а, здравствуй, комтур! Из похода на Псков поздравить с прибылью? Пленных рабов уже начал раздаривать, комтур?

Валленрод. Да, Магистр, я подарил...

Магистр. Знаю, знаю... Что ж, это вся похвальба?..

Валленрод. Нет! Я ночью ворвался в псковские рубежи и на двадцать стадий вокруг не оставил в живых ни одного мужика!.. Я пригнал сотни рабов и обозы с добычей!.. Брат Эльблонг двинулся в Новгородские земли. Рыцари Шлиппен и Гаген вторглись в Жмудь и в Мазовию. Путь на Восток открыт!

Магистр. Час настал!

Валленрод. Железо посею — золото соберем!

Магистр. Марквард, ты без отдыха поедешь опять в Московию. Ты, Куно, и ты, Валленрод, ступайте к иностранным рыцарям, обещайте им денег, девок, вина, добычу. Пусть ждут походной труппы! Разрешаю удалиться (Рыцари уходят. Магистр — один, накинуд на плечи плащ, пошел к лестнице в верхние покои, но, заметив на полу шарф Кунигунды, поднял его). Ах, Кунигунда!.. (прижал шарф к губам, спрятав под плащ, поднимается по лестнице). Как предсказали мне астрологи? Бояться я должен лишь одного: чтобы враги мои не соединились вместе... (Внезапно дорогу Магистру преградила кнехт Большой Карл, бросился на колени).

Большой Карл. Великий Магистр! Я твой оруженосец, Большой Карл. В боях я трижды принимал на свою грудь удары направленные в тебя!.. Вот здесь — рубцы! Смотри!

Магистр. Не ты, не ты, а господь спасал меня!..

Большой Карл. Великий Магистр, ты сегодня приказал всем пруссам в Эльбинге отрубить руки!.. Правда?

Магистр. Это мягкая кара для бунтовщиков.

Большой Карл. Я ведь сам родом из Эльбинга!.. Там мой отец!.. братья!.. такие же пруссы, как я!..

Магистр. А-а-а!.. Так помиловать их! Нет!

Большой Карл (ползает на коленях): Магистр!.. Магистр!..

Магистр. Оставь святой плащ!.. Вижу у тебя рука тоже просится под топор! Вот тебе золотой! Нажрись вина и купи девочку!

(Уходит).

Большой Карл. Ну, берегись, Магистр! Придет мой час, и я переломлю тебе все кости!..

(Из соседних покоев выходит Кунигунда, с ней художник де-Ланнуа, позади кнехт Генрих ведет на веревке связанного Иванко).

Кунигунда. Все вы художники — бездельники и лстыцы! Удивляюсь, как тебя еще не повесили!

Ланнуа. Прелестная Кунигунда. Меж-

повесить так же нелегко, как и трудно достойно наградить.

Кунигунда. Неужели... Мне стоит только мигнуть Великому Магистру... и ты... (жест — кверху).

Ланнуа. Если я буду повешен, ваш портрет останется незаконченным и вас никогда не увидит потомство. Наградить же легче солдата, того, кто убивает... (жест в сторону Большого Карла), чем того, кто дает бессмертие!.. Моя кисть ничем не хуже и даже лучше когтя бы вон того огромного меча, что висит на стене.

Кунигунда. Ах, ты, французский ублюдок! Ты смеешь сравнивать свое никчемное помело с рыцарским оружием? И с каким оружием! Ведь это по преданию меч самого Зигфрида, тот самый, которым он поразил дракона! Этот меч — святыня германских рыцарей. Замолчи или в самом деле мой портрет не будет закончен!..

Ланнуа. Меч Зигфрида... О-о-о!.. Я слышал про него. Говорят, пока этим мечом владеет Магистр Тевтонского Ордена, никакая человеческая сила не оставит его завоеваний! Это правда?

Кунигунда. Святая правда! И что бы никто не похитил меч, здесь у дверей всегда стоит сильная стража. Послушай, француз. Я буду сопровождать армию Магистра в походе на Восток и ты, среди грома сражений, закончишь мой портрет. Разрешаю удалиться. (Де-Ланнуа с поклоном ушел).

Кунигунда (приблизилась к Иванко). Ты все глядишь в землю, пскович. Подними же глаза на меня, ну!.. Бедный варвар! Хочешь, я сыграю на лютне, а ты спой какую-нибудь песню. Свою... русскую песню...

Иванко. В неволе и птица не поет.

Кунигунда. Какие у тебя мягкие волосы! И плечи какие широкие! Слушай, пскович, вот под этими парчовыми юбками, — ноги, стройней которых ты никогда не видал и не увидишь! Встань! Кожа на теле у меня — белая, прозрачная, так, что просвечивает каждая жилка! Разорви чума твои кишки, ты что, мужик, не слушаешь меня? Почему ты смеешься?

Иванко. А тому смеюсь: знаешь, немка, у нас на базаре во Пскове, когда мужики корову продают, вот и хвалятся: глянь на копыта, глянь на вымя, глянь на рога! А глянешь — корова, что корова, еще самая худая!

Кунигунда. Грязный раб! Я велю тебе вырвать языки!..

Иванко. Сила твоя, а воли твоей на меня нету. Точно мне от тебя. Отстань! **Кунигунда.** Глухой темный мужик! О! Я знаю причину твоего целомудрия! Иди сюда, к окну! Видишь, темная круглая башня? Под ней, в скале высечены глубокие колодцы. Туда не достигае

свет! Там, на дне, сидят наши пленники! Что ты побледнел, пскович? Да, там сидят... две грязных девки, которых схватили вместе с тобой!

Иванко. Олюшка... Избранка... Стало быть, они живы? Живы!

Кунигунда. Они умрут! Я прикажу в их колодезь больше не спускать пищи! А когда от их тел станет разить смрадом, я велю спустить тебя в тот же колодезь и... тогда уж почаше кормить! Ну, что же ты опять не смеешься пскович? Смейся!.. Ну, смейся!..

Иванко (смеется). А на!.. Смехом те Псков силен! Хо-хо-хо-го-хо-хо!..

Кунигунда (Геориху). Уведи его Уведи!.. (Георих уходит Иванко. Входят приехавшие в Мариенбург иностранные крестоносцы — итальянский рыцарь Антонио Сальвари и венгерский рыцарь Филаф Машмура. Сальвари одет в легкие латы, маленький роста, с изрядным брюшком, ож гордо опирается на большой тяжелый меч и подкручивает свои завитые усики. Венгерец Машмура наоборот — высок и худ, облачен в старье, помятые и местами ржавые боевые доспехи; платье из потертой кожи и простого сукна, у пояса — тяжелый топор, за спиной арбалет... Иссеченный шлем осеняет его физиономию забулдыги, украшенную багровым носом и пламенно-рыжей бородой... Вместо кисти левой руки у него торчит железный крюк).

Сальвари (Машмуре). В тот славный день я вот этой рукой срубил пятьдесят голов!.. Да, мессер, там, где речь идет о безумной отваге, вряд ли кто в целом мире может равняться со мной!

Машмура (угрожающе). Гм... Хр-рм... Что?

Сальвари. О, кроме вас, разумеется! (увидел Кунигунду). Смотрите, мессер, какая божественная красота! Кто вы прекрасная дама? (Кунигунда опускает на лицо вуаль и уходит). О, Цирцея! Вы заметили, как она на меня поглядела? Клянусь сатаной, все жемчужины влюбляются в меня с самого первого взгляда!

Машмура. Где же те, которые будут платить? У меня в кошельке пусто как в брюхе, а в брюхе пусто, как в кошельке. Если я сейчас не съем кабанью ляжку с доброй подливой, то просто вознесусь на небо, я стал легче пушинки!..

Сальвари. Потерпите, мессер. К нам идет. Скоро мы будем сыты. (Вошли Валленрод и Лихтенштейн, оба в орденских белых плащах. Взаимные поклоны).

Лихтенштейн. Приветствую вас, дорогие гости, рыцари-крестоносцы в сердце нашего святого Тевтонского Ордена. Позвольте узнать ваши имена?

Сальвари. Наши имена знает вся все-
ленная! Я — римский патриций **Антоньо**
Сальвари герба Единорога!

Валленрод. О, звезда Италии... Ваши
подвиги гремят по всему свету. Откуда
вы теперь?

Сальвари. Благородные крестовые, я
только-что из Испании, где сражался с
маврами и прославил итальянское ору-
жие! Там битвам не было числа! Грудь
моя скопалась в одно с панцирем, и
шлем прирос ко лбу! Сюда я привел че-
тыреста латников, старых головорезов —
авантюрьеров, храбрейших волков пре-
святой девы! Но вы понимаете, такие
воины будут вам стоить не малых де-
нег, уйму денег, чорт поберит!.. Кроме
того, мои римляне привыкли, чтобы за
ними в походе всегда шел обоз в пять-
десять непотребных девок, и везли запас
салернского вина!

Лихтенштейн. Мы бедные монахи,
но на крестовый поход собрали немного
золота. Все ваши затраты будут опла-
чены.

Валленрод. И вас ждет на Востоке
богатая добыча...

Сальвари. Прекрасно! А с кем мы бу-
дем сражаться?

Лихтенштейн. С врагами христиан-
ства.

Валленрод. С литовцами, поляками
и Русью, с новгородцами и москвитями.

Сальвари. Москвиты? Я слышал, что
это самое опасное из всех восточных
племен; у каждого из них как будто по
три ноги... и они пьют конское молоко?

Валленрод. Это не совсем так, но раз-
бить их — не составят особого труда.

Сальвари. О, я окуну свой меч в их
кровь по рукоятку!.. Вот — мессер **Маш-
мура** герба Лисицы — венгерский рыцарь.
Он привел с собой сто искусных луч-
ников. Увы, в одной схватке он лишил-
ся левой руки, и вы видите — у него
железный крюк, он им держит поводья,
а в правой — копьё, но вряд ли есть на
свете человек, который выбил бы его
из седла в таком положении!

Лихтенштейн. Господь в награду за
участие в святой войне может явить
чудо, и у рыцаря вновь отрастет рука...

Машмура (искренно). Я на это весьма
надеюсь!

Лихтенштейн. А пока я вас прово-
жу в трапезную.

Машмура. В трапезную? Гм... Хр-гм...

Валленрод. Т-с-с-с. Взгляните, вот
идут двое польских дворян во всем
черном... Видите? Впереди — лысый че-
ловечек небольшого роста, это польский
король **Владислав Ягайло**. Бедняга!
Он приехал сюда тайком кланяться у
нас дружбы и мира... Пройдемте в сто-
рону: не стоит выслушивать его слез-
ливые жалобы...

Рыцари уходят: Появляется король
Владислав Ягайло и его секретарь **Збиг-**

нев Олесницкий. Ягайло мал ростом,
у него лысый череп, седые волосы
сохранились только на висках, редкая
бородка и такие же незначительные
усики на сухоньком лице. Он идет
сторбившись, глядя в землю, как буд-
то в глубокой задумчивости. Подчерк-
нуто прост его черный кафтан, се-
рый бархатный плащ и поношенные
сапоги. Одна лишь особенность в ко-
стюме сразу бросается в глаза. Грудь
короля покрыта целым иконостасом
крестиков, образов и ладночек, в ру-
ках четки. Олесницкий, идущий поза-
ди, молод и строен, у него умное на-
смешливое лицо. Ягайло устало опу-
стился на стул, молитвенно сложил
ладони).

Ягайло. Помилуй мя, боже, по великой
милости своей!.. Зане в беззакониях за-
чат я и во грехах родила меня мать
моя... (закрыв руками лицо, помолчал,
сквозь пальцы посмотрел на Олесницко-
го). Ты не смеешься над своим бед-
ным королем, мой **Збигнев**?

Олесницкий. Нет.

Ягайло. Жаль. В пору было бы сме-
яться... Ай-ай-ай... Позор, позор! Поду-
май, **Збигнев**; я приехал сюда для ми-
ра, для любви, для милосердия... В
кровожадную пасть немецкого волка я
сунул свою седую голову... Жертвуя
честью, я прокрадся сюда, под чужим
именем. Матерь божья! Я все все делаю
для мира, уступаю земли, плачу день-
ги! И седьмой день меня заставляют
бродить по коридорам!

Олесницкий. Старая латинская посло-
вица гласит: побеждает наступающий. А
кто лишь защищается, тот гибнет!

Ягайло. Но у меня нет сил сражаться с
немцами! За них — весь мир! Нет, **Збиг-**
нев, в политике нужна хитрость... А вот
и хитрости нет у меня! Да, я боюсь вой-
ны, я хочу сохранить мир. Ведь если я
буду побежден, черная шляхта снимет
с меня корону. Династия моя погиб-
нет... Вот я и решил: лучше немцам
уступить часть... договориться...

Олесницкий. Часть чего?

Ягайло. Чужого! Чужого, мой **Збиг-**
нев. Ты удивлен? Видишь, я не так
уж и прост! Боже, научи меня простоте!

Олесницкий. А если брат ваш ли-
товский князь **Витовт** узнает, что вы
были здесь и стоваривались с немцами?

Ягайло. Он не узнает!.. Всему миру
известно, что я уехал на богомолье в
Плоцкий монастырь.

Олесницкий. Простите, ясная мосць.
Вы можете до возвращения в Краков
казнить меня, но я скажу: это измена!
Это — позор Польши!

Ягайло. Молчи! Как ты смеешь су-
дить меня? (вошел капеллан **Готфрид**.
Ягайло, смиренно склонив голову, дви-
нулся к нему навстречу). Святой отец,
благословите...

Готфрид (благословляет). Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Наш Великий Магистр недужен, но милостью бога он получил облегчение и послал объявить вам, что он, Великий Магистр, следует сюда. (Трубы. Входит Магистр Ульрих фон-Юнгенген).

Магистр. Сейчас только узнал, что под скромным именем простого рыцаря приехал к нам сам великий король Польши Владислав Ягайло! Поклон, ваше величество.

Ягайло. И вам поклон, благородный Магистр. Как здоровье ваше?

Магистр. Слава святому Либерию — сносно. Под ненастьем лишь жуют старые раны.

Ягайло. Да, да, старые раны... В нашем возрасте они дают о себе знать.

Магистр. Все ничего... но вот — левое плечо. Здесь рубец от польского топора.

Ягайло. А у меня — нога Нога, Великий Магистр! Лет двадцать назад впилась в нее немецкая стрела... Упаси, господи, вспоминать зажившие раны.

Магистр. Ну, вот...

Ягайло. Вот так-то... (улыбаясь, глядя друг другу в глаза).

Магистр. Какой счастливой звездой обязаны мы, что она привела вас к нам?

Ягайло. Зачем я приехал? Разве вам неизвестно? За миром! Что хотите вы? Я соглашусь на многое, лишь бы рубежи наши не озарялись пожарами! Не проливали бы слез вдовы и сироты! Какие обиды между нами, какие споры? Давайте, решим без брани, по евангельскому завету! Вот я перед вами, без оружия, без свиты, с раскрытым сердцем — навстречу добру!

Магистр. Хм-м... Мы также не досыпаем ночей в заботах о мире. Но, ваше величество, давайте говорить, как воин с воином, без уверток, без оговорок, а главное — без праздных молитв, ибо час обедни прошел. Сядем.

Ягайло. Сядем.

Магистр. Скоро я двину войска на Литву и на Русь.

Ягайло. Знаю, знаю... Но это ужасно для человечества! Ужели все восточные земли вы решили предать мечу? Вильно... Минск... Витебск... Псков... Ай-ай-ай...

Магистр. Лишь бы не ваш Краков!

Ягайло. Да, верно. Лишь бы не мой Краков!

Магистр. Условия Ордена таковы: вы признаете отторжение нами от Литвы Жмудских земель! Вы добровольно уступаете нам польскую Мазовию со всеми замками и городами. Вы снимаете пошлины для нашей и Ганзейской торговли. Вы кланяетесь в грядущей войне ни гайно, ни явно не помогать Литве и Руси. Вы признаете нашим владением Добжанскую землю,

Померанию, Восточную Силезию, Новую Мархию и Дрезденик и наш город Данциг.

Ягайло. Как вы сказали? Данциг? Вот не слышал. Гданск — есть такой город, а Данциг — не знаю.

Магистр. Данциг — это наше, немецкое название.

Ягайло. Ах, название! Может быть... Но и Гданск и Гдыня — это древние польские города. И вспомните, Великий Магистр, что ведь и Силезия, и Померания, все земли на Запад от Вислы до Одера — это исконные земли славян. Да, как бы вы их ни называли. А разве Пруссия это не литовская земля?

Магистр (багровея, поднялся с кресла). Как? Вы смеете посягать на то, что богом дано Ордену?

Ягайло (холодно). Города Мемель, Торн, Кенигсберг и столица ваша Мальборг — еще недавно были литовскими поселениями. Разве бог их вам дал, а не взяли вы сами силой железа?

Магистр. Так вот как вы хотите мира! Вы хотите войны?!

Ягайло (смирненно). О, нет. Я только напомнил вам, на чьих землях живете вы... Только напомнил... А все ли сказали вы, что хотите вновь получить?

Магистр. Все!

Ягайло. Все?

Магистр. Все.

Ягайло. Немного. Но за что я должен уступить вам Мазовию? Где это слышано, чтоб города отдавали даром! Отдаю яблоки, груши, но не города.

Магистр. Мы обещаем вам мир!

Ягайло. Это щедро! Но и только!

Магистр. И город Вильно!

Ягайло. Однако... Вильно — это Литва.

Магистр. Да, Литва.

Ягайло. А на Литве княжит мой возлюбленный брат Витовт. Вы предлагаете раздел его земель или я ослышался? Братоубийство?.. У меня с братом также записан договор.

Магистр. Политика не знает родства.

А договор — это всего лишь пергамент.

Ягайло. А Вильно — это... мало.

Магистр. Мало? (Он поражен).

Ягайло. Клянусь, мало!.. (и он засмеялся). Белую Русь с городами Минском, Ошмяны, Новогрудком, Бобруйском — вот плохой, скромный, но все же... обмен на Мазовию!

Магистр (встал). Не согласен.

Ягайло (встал). Спаси нас господь. Тогда — война.

Магистр. Ваше величество, я могу сейчас приказать, и вы будете брошены в козлцы башни, откуда узники выйдут только на Страшный суд.

Ягайло. Знаю, знаю... Я доверился вам. Я здесь. Но если что случится со мной, кто тогда удержит польский на-

род от помощи Литве? Тогда, Великий Магистр, все враги ваши соединятся! Магистр. Святая кровь! Если римляне произошли от волчицы, то вашим предком был рыжий лис. Хорошо. Орден пойдет на уступки, могу я быть уверен, что польское войско не выйдет в поле против меня?

Ягайло. Клянусь! Я не хочу войны! Вот в этой ладонке — пальчик святого Игнация! Такими клятвами не шутят! Магистр. Готфрид, ты слышал все? Ступай и напиши наш договор.

Ягайло. Святой отец, уж вы не забудьте, какие я называл города... Да припишите еще Могилев!.. Великий Магистр, это совсем, совсем небольшой городок, но аблази, в рощах, водится много соловьев, а я так люблю слушать их пенью. Збигнев, ступай, помоги в составлении пунктов. Иди, иди, что ты так на меня глядишь?

(Готфрид и Олесницкий уходят).

Магистр (хлопнул в ладоши, вбежали слуги). Звать рыцарей сюда! К столу!.. (Слуги несут блюда с яствами и боченки, ставят на стол. Магистр ведет Ягайло, усаживает его рядом с собой. Входят Лихтенштейн, Валленрод, Зальцбах, Сальвари, Машмура, художник Ланнуа, тевтонские рыцари в белых плащах, кнехты, среди них Большой Карл и Генрих. Рыцари занимают места за столом. Входит Кунигунда, она ведет на веревке Иванко, руки которого попрежнему закованы в цепи).

Кунигунда. Валленрод! Возьмите оброчно ваш подарок! Он не хочет быть моим пажом, носить шлейф, улыбаться! Дайте ему работу полегче, вертеть мельничное колесо или чистить навозные ямы!

Магистр. Оставь его, Кунигунда! Садись.

Валленрод. Генрих, возьми веревку. Вот это, благородные господа-гости, русский мужик из племени псковичей. Сальвари. А у него широкие плечи! Ланнуа. И видать — сильные руки! Машмура. На нем хорошо воду возить! Лихтенштейн. Или впречь в соху! Валленрод. Эй, раб, скажи что-нибудь! Иванко. Чего уж... Ругайтесь до сыта, храбрые рыцари!

Магистр. Наполните кубки! (к Ягайло). Примите из рук моих, ваше величество. Вот мой первый глоток! За наш союз! Благородные господа, возвеселимся!

Сальвари. Да здравствует Тевтонский Орден!..

Лихтенштейн. Да пошлет бог истребить всех неверных сарацин!..

Валленрод (запел). Христос воскрес. Христос воскрес!..

Рыцари (подхватили песню):

Он сокрушил рога дьявола!

Архангел огненным мечом

Нам путь укажет в рай!

Христос воскрес, воскрес Христос.

Могучий наш немецкий бог!

Сальвари. Гроб господень! Когда я был в Испании!..

Машмура. Вызываю на спор: за один присест съем эту кабанью ляжку!

Ланнуа. Но без капли вина! Двесьте ефимков!

Машмура. Согласен!..

Сальвари. В Палестине я обезглавил трех великанов... каждый ростом в сорок локтей!.. От их дыхания падали кони... но я призвал деву Марию и... как называется это пойло?

Кунигунда. Смородовый мед!

Сальвари. О, налейте мне вашим благоуханными ручками!

Валленрод. Пленных девок ведут плясать! Язвы христовы!.. Вот они — окорока для дьявольской кухни! (Кнехты бичами вогнали группу полуобнаженных девушек, среди них — Ольга и Избрана. Девушки прижались одна к другой, стараясь лохмотьями скрыть наготу). Ну, ну, девочки-курочки! Крылышками — хлоп, хлоп! Эй, олухи, подгоняйте их плетками!..

Иванко. Олюшка!.. (рванулся, но Генрих удержал его за веревку).

Ольга. Иванко!.. Иванко!.. Ты жив Иванко!

Сальвари. Посейдоном клянусь, возпрелестная девушка! (приближается к Ольге). Ах, ты маленькая плутовка! (Машмура). Взгляните, месье, глаза... губы... волосы... ноги... все устроено, как у наших женщин в Италии! И, сатана меня возьми, даже лучше устроено! Как зовут тебя, русская красавица?

Ольга. Не трогай меня... рыцарь-пес! Сальвари. Ого!..

Избрана (отступая от Машмуры). Олюшка!.. Ой, этот рыжий как глядит на меня. Страшный... Я боюсь его, Олюшка... И руки у него нет одной! Глазь не рука, а палка!

Машмура. Хватит, чтобы тебя сбиять! Хватит!

Ольга. Отпусти ее, бык! Она ребенка еще! Отпусти же!

Сальвари. Валленрод, продайте мне эту пленницу! Она меня скардовала ознобила душу мою и плоть! Ну, сколько?.. Я плачу чистоганом!

Валленрод. Русские рабыни ценятся дорого. Каждая — тысячу талеров.

Сальвари. Беру! Ты счастлива, девочка, в тебя влюблен знаменитый палдин! (разорвал объятия девушек, полагая Ольгу к столу).

Иванко. Не трожь ее!..

Валленрод. Язвы христовы, какой страшный защитник. Ты не печалься медвежонок! Этот рыцарь уежит ее как следует! (Рыцари покатались от хохота).

Иванко. Пусти ее, немец! Говорю, пусти!

Сальвари. Что, что? На кого ты поднимаешь руку, хам? На римского патриция?..

Иванко. Пусти ее, говорю!.. Не то — зашибу! Ей-богу, зашибу!

Сальвари. Кого ты пугаешь?.. Я в Палестине рубил драконов, я входил с мечом в пещеры магических ужасов!.. Уйди, несчастный!.. Носи свои цепи!.. (Потащил Ольгу дальше).

Иванко. Что ваши цепи?.. Вот они!.. (ударом ноги отбросил Генриха, присел, натужился, цепи догнули. Пригнувшись, кинулся вперед, схватил Сальвари, швырнул со звоном на стол, на вина и яства... Обнял Ольгу, погрозил кнехтам). Не подходи!.. (рыцари пошскакали с мест).

Магистр. Ого! Ведь цепи были двойные!

Сальвари. А-а-а!.. Дева Мария!.. Где мой меч? Дайте мне меч! Я вырву у него сердце, печень и селезенку!

Валленрод. Кнехты! Возьмите раба! Магистр. Не троньте его! Благородные гости, я покажу вам редкую забаву. (К Иванко). Ты что же, смерд, мнишь один устоять против всех нас? А? Вот, господа, как хвастлив этот русский народ!

Иванко. Наш народ простой, в золоте не ходим и не бьемся десять на одного, как ваш обычай, но если кто из вас не струсит выйти сюда, один на один, посмотрим, чья кость крепче!.. (шум за столом).

Валленрод. Ты — темный раб, горсть грязи! Кто из рыцарей станет мараться об твою шкуру, свинья!

Кунигунда. Отрубить ему голову за наглость!..

Магистр. Тихе! Послушай, хвастливый смерд, а нашего доброго кнехта, мужика, ты поборешь один на один? Избрана. Поборет!..

Иванко. Для вашей забавы тужиться не буду!

Магистр. Не только для нашей забавы ты станешь бороться, но и для себя: одолеешь моего бойца и ступай с девками куда хочешь, хоть обратно к себе на Русь!

Иванко. Ужели отпустишь?

Магистр. Отпущу!

Иванко. Обманешь, поди...

Лихтенштейн. Слово Магистра — железное слово!

Зальцбах. Рыцари с крестом на плече не лгут.

Иванко. Ин, поверю тебе!.. Давай! Где твой боец?

Лихтенштейн. Против него надо выставить сильнейшего!

Кунигунда. Такие цепи порвал!

Ланнуа. Кого выберет Магистр?

Зальцбах. Нужно показать перед гостями немецкую силу!

Магистр. Я выставлю Большого Карла Рыцари. О-о-о!.. Большой Карл!.. Прусский Самсон! Сильнее нет человека на земле! Ого! Вот это выбор!..

Валленрод. Он из русского мужика сразу выжмет весь сок!

Кунигунда. Он сломает ему хребет! Вот увидите, как это будет!

Ягайло. А кто такой Карл?

Лихтенштейн. Вот наш исполин, сильнейший из простых кнехтов. Он одним ударом кулака в лоб валит быка на землю!

Сальвари. О-о-о!.. Это Голиаф! Даже я не взялся бы с ним бороться!

Магистр. Поди сюда, Карл! Если ты быстро сломаешь этого раба, я помилю твою родню. Понял?

Больш. Карл. Спасибо, спасибо, Великий Магистр! Я съем его живьем! Ольга. Ой, Иванко... Он одолеет тебя.. Избрана. Гляди, грудь у него, как у тура!

Ольга. Отпусти нас лучше, милый.. Не ходи на смерти!

Иванко. Ништо! И тура валзил, а этот без рога, так полегче будет! Ты только гляди на меня, Олюшка, для лихости... Ну, Магистр, биться-то как будем с ним? На мечех али топорах?

Магистр. Дать тебе оружие в руки? Хитер! Условия поединка таковы: биться будете голыми руками, пока один другому не наступит коленом на горло! А тогда, Генрих, ты подашь победителю нож, и пусть зарежет побежденного без пощады!

Машмура. Условия благородные!

Сальвари. Вполне по правилам чести!

Кунигунда. Чудесное зрелище! Я сяду вот здесь!

Машмура. Ставлю за немца. Тысячу против пятисот!

Олесницкий. Принимаю! Я ставлю за русского бойца!

Магистр. Готовы? Во имя бога сокруши неверного, Карл! Начинайте!

Иванко. Ну, гляди, Олюшка... (борьба).

Сальвари. Ого, русский еще держится!

Машмура. Сейчас он ляжет! Сейчас! Ланнуа. Он взял немца на груди!

Олесницкий. Он победит!

Ланнуа. Нет, нет! Немец сильней!

Валленрод. Карл, шею крути!..

Кунигунда. Сломал!.. Сломал!.. Машмура. Нет еще!..

Ягайло. Подножку! Вот сейчас — подножку!..

Магистр. Карл! Карл!.. Ешь его!.. Жри!.. О, дьявол!

Ольга. Иванко, любый, ну!.. Кунигунда. А-ах!.. (Иванко повалил Большого Карла, стал коленом на грудь.)

Иванко. Все, Магистер! Гляди! Не выветрится!

Слепницкий. Давид победил Голафра.. Я так и знал!

Магистр. Дай ему нож! Зарежь его, русский! Прикончи это старое дерьмо! Валленрод. Он опозорил немецкую силу! Смерть ему! Бей его, русский!.. Лихтенштейн. Бей его! Бей!..

Иванко (бросил нож). У нас на Руси лежащего не бьют! Вставай, воин! (Большой Карл, ошеломленный, сел на полу. Магистр приблизился к нему).

Магистр. Ты, червяк, недостойн быть немецким кнехтом. Пошел на конюшню — убирать навоз! (Носком сапога толкнул Карла в лицо, тот встал, шатаясь, вышел). Господа рыцари, этот кнехт, кстати, не немец, нет, не немец, а жалкий прусс.

Иванко. Ну, Магистр, свободны мы? (Магистр молчит.) Ты обещал!

Валленрод. Слово, данное рабу, же слово!

(Магистр молчит. Иностранцы рыцари и Ягайло с любопытством ждут его решения.)

Магистр. Слово рыцаря — всегда слово. Ступайте к себе на Русь.

Кунигунда. О, Ульрих! Ты отпускаешь их?

Магистр. Да.

Кунигунда. Вот поистине — это поступок монаха!

Магистр (закипая яростью). Сестра Кунигунда! Я вам разрешаю удалиться!

Кунигунда. Повинуюсь. (Проходя — к Иванко). Ты в сорочке родился, дурачок! Уж если бы я, женщина, была на месте Магистра, я тоже сдержала бы слово и отпустила вас, но... прежде велела бы выжечь глаза! (Поклонилась Магистру, ушла).

Лихтенштейн. Выжечь глаза! Пожалуй.

Валленрод. Оставить один глаз на троих! Им хватит и одного, чтоб отыскать дорогу.

Иванко. Мы на Русь и слепые дойдем! Магистр. Нет. Не тронуть волоса на них. С миром ступайте. (Подписал грамоту.) Вот тебе охранный пергамент!

Иванко. Прощайте, немецкие рыцари. Может, еще и свидимся! (Иванко ж девушки вышли. Молчание).

Зальдбах. Магистр поступил благородно!

Рыцари. Тише. Магистр гневен. Тише. Ягайло. Хороший купец никогда не обсчитает на грош, а уж, если придется, так сразу — на целый золотой..

Магистр (ударил кулаком по столу). Что за скаку! Позвать сюда шпильманов и шутов! Ученых медведей сюда! Собаки!

(За сценой голос Кунигунды: «Измена! Измена!»)

Кунигунда (вбежала). Измена! Предательство! Великий Магистр! В моем покое лежит убитый часовой, а меч Зигфрида, волшебный меч Зигфрида... похищен!.. Его нет на месте!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Дорога. Лес. Древний каменный крест с высеченной на нем молитвой, окруженный цветущими кустами. Бежит Ольга.

Ольга (зовет). Иванко! Избрана! Подите сюда! Река!

(Подшли Иванко и Избрана.)

Избрана. А дедушка-странник сказывал, как дойдем до реки, так и конец немецкой земле, а на той стороне Литва, а за Литвой — Белая Русь!

Иванко. Ну, слава те, дошли... Хоть не родные места, а все — русским духом запахло!.. Слышь, Олюшка, будто медком несет... Правду мамка моя баяла: весна ноне станет красна! Ну, сестрички, садитесь рядком. Вот лепешки, перекусим, да и я пойду — брод искать!

Ольга. Ох, Иванко, не верится, что на воле мы! Солнце яркое! Пчелы на цветах! Смотри, крапива растет! Ой, жжется!

Иванко. На, ешь! Глянь, Избранка, уже две лепешки съела. Вот реку перейдем, авось мужички дадут щец похле-

бать. Далеко занесло нас... Не чаю, как и добраться отсюда до Пскова-то... Кабы коней сыскать? Да придется нам на Велой Руси пожить хоть до жатвы, наняться к какому боярину, аль мужику побогаче, а то ведь так, на побирушках, домой не дойти. Правда, Олюшка? Ольга!..

Избрана. Спит. Она, бедная, столько дней глаз не смыкала. Как в колодце сидели. я, бывало, и подремлю, а она все сторожит... Ой! Боялись... Вот, Иванко, ты все говоришь: домой, домой... А что у нас дома? Одно лихо! Батю нашего убили... Твоих Жданычей тоже убили... Пепелище.

Иванко. Не хнычь. Дома — родима земля. Руки есть, заживем и на пустоши. Я за батю тебе стану, хорошего мужа найду.

Избрана. Замуж я не хочу! Я штаны, кольчужку, шелом надену, юнцом скажусь, князю кинусь в ноги: я, мол, отрок, ратное дело хочу изведать! И возьмет меня княже в большую дружину! А что, Иванко; я ведь рукой не слабенька! С батей втроем на медведя ходили! Бывало, напорется зверь; мы с Ольгой рогатину держим, а батя бьет его по голове топором, пока не грянется оземь!.. Любо! А еще бывало...

Иванко. Постой! Кто-то скачет сюда, вишь... никак прямо на нас. Воин... Олужка! Встань! Поди, снова беду отгонять надо...

Избрана. С коня соскочил!

Ольга. Сюда идет!

Избрана. Ой, с мечом, да в броне...

(По дороге поднимается Большой Карл, несет на плече меч Зигфрида, на конце его болтается узелок. Остановился, сбросил узелок на землю, оперся на меч).

Иванко. Чего тебе нужно, немец?

Большой Карл. Я не немец. Я прусс. Моя мать — литвинка была, а отец — прусс. Я кнехт Большой Карл. Ты меня в замке поборол.

Иванко. Вижу... Панцырь надел? С мечом? Хочешь теперь безоружного одолеть? (Большой Карл вдруг зашагал на Иванко, поднял меч и... бросил к его ногам).

Большой Карл. Вот тебе — не простой, а магистров меч Зигфрида!.. Вся немецкая сила в нем! (И, повернувшись туда, откуда пришел, Большой Карл погрозил кулаком, и слезы обиды потекли по его лицу). Чтоб деды мои до века спокойно в земле не спали, чтоб черти мне воду мешали с ядом и хлеб мне в глотку не проходил, чтоб я сам обернулся в проклятую жабу, если... если только я... клянусь, пскович... не отомщу магистру самой черной, самой жесточайшей смертью!.. Народу моему рыцари руки рубят, отцу моему... братьям моим!.. Месть им! Месть! Пскович, ты нож мне от горла отнял! Бери меня! Одна мне дорога с тобой! (И Большой Карл обнял колени Иванко).

Иванко. Ну, ну... Нечего реветь, воин!.. Вишь, бедный!.. И возьми-ка, возьми-ка свой меч! Я тебе верю!..

Занавес

Картина четвертая

Опушка дремучего леса. На пне укреплен штандарт литовского князя Витовта. Возле — двое слуг, старый и молодой.

Под развесистым деревом стоит группа охотников. Среди них, своим мощным телосложением, властным львиным лицом в ореоле полуседых волос и богатейшим охотничьим костюмом сразу выделяется великий князь Литовский и Русский Витовт Кейстутович. Он одет в кафтан из белой парчи, изобильно шитый серебром и жемчугом, алые бархатные штаны и сафьяновые сапоги с позументом, по-татарски загнутыми носками.

Голова его ничем не покрыта. Он радостно улыбается, вглядывается в даль, видно, что звуки охотничьих рогов действуют на него опьяняюще.

Рядом с ним стоит король Ягайло, смиренно глядя в землю, перебирая бесчисленные ладонки и крестики у себя на груди. Позади Витовта — смоленский воевода князь Юрий Лугвениевич Милославский, молодой боярин с русой бородкой, Позади же Ягайло — его неоплаченный секретарь Збигнев Олесницкий и доктор богословия Фабриас. Издали доносятся собачий лай и трели охотничьих рогов.

Князь Витовт. Уже пошли! Пошли в загон! Егеря спускают собак! Эх, накрыли бы здоровенного тура!

Старый слуга (тихо молодому). Гляди, малый, на князюньку нашего Витовта Кейстутыча... Ведь орел? Пра, что орел! Шестьдесят годков за плечами, а на охоте — ровно юнец! (губы).

Князь Витовт. Звонко гремят! Славно гремят! Что ж это ловчий о звере не доложит?! Ведь пора уж, пора! Эх, хоть бы скорей обложили! Не терпится!..

Ягайло. А я думаю, милый братец, вот мы охотимся, а ведь это возможно, тяжкий грех... Разве не сказано в писании: милуй всякую тварь.

Князь Витовт. Глупости, брат! Сам царь Давид обожал охоту. И я уверен, что все свои псалмы он слал между двумя чарами крепкого меда, за жарким из только-что убитого кабана! Что? (Юрию Лугвениевичу). Верно говорю, Юрий?

Юрий Лугвениевич. Верно! Ведь и Христос

асяла рыбку на озере, стало быть тоже был охотник!

Князь Витовт (к Ягайло). Иной человек одну скотинку помирует, а десять людей задушит!

Ягайло. Ай-ай-ай... Толкуешь ты, словно язычник, братец. И боярин твой на шута похож! Боже, прости меня за грешное слово!

Юрий Лугвен. Ловчий скачет! Князь Витовт. Ну, что? (Вошел ловчий). Кого гонят? Говори скорей!

Ловчий. Княже! Такого тура накрыли, что в свете не видано! Бык-великан! Спешите!

Витовт. Дай арбалет! Коня! (уходит за ловчим, с ним Юрий Лугвениевич).

Ягайло. Иезус-Мария, помилуй, мя грешного...

Старый слуга (молодому). А братец святой — крестик в руках! Глянь-ка, всё молится.

Ягайло. Архангелы сил, помилуйте мя... Молодой слуга. Он ведь с Плоцкого монастыря приехал. Говорят, с неделаю постился, и монахи его там бичевали.

Ягайло. Пошлите мир и кротость душе моей...

Старый слуга. Знать, новый обман задумал! Он ведь всегда: «боженька, божишко, — отпусти мне ножишка!»

Ягайло. Ох, Збигнев, мой братец меня сбижает, а уж боярин его исколол меня стрелами своего остроумия...

Фабриас. Ослоумия, ваше величество.

Ягайло. Верно! Ослы лягают престарелого льва... Ты как будто тоже усмехнулся, Збигнев? А? Ты, видно, тоже не прочь посмеяться над своим несчастным королем? А?

Лесницкий. Ваше величество, люди, которые над вами смеялись, — давно гниют в подземельях Краковского замка. А я еще молод и люблю жизнь.

Ягайло. Я жесток? А? Посмотри мне в глаза. Вот так. Ох, как ты меня ненавидишь!

Лесницкий. Ваше величество...

Ягайло. Не спорь! Только поэтому я и держу тебя возле своей особы. Иные государи окружают себя угодниками и льстецами. А я? Я — нет! Я люблю наблюдать за тем, как меня ненавидят, люблю... ибо это укрепляет мой слабый дух. (к Фабриасу) Или это неверно? А? (Внезапно раздался тревожный вой рогов). Иезус-Мария! Рога играют тревогу!

Старый слуга. Что это? Что так затрубили?

Лесницкий. Стряслось какое-то несчастье. Вот ловчий бежит. (Вбежал ловчий).

Ловчий. Беда! Беда!..

Старый слуга. Что случилось?

Лесницкий. Какая беда? Постой! (Ловчий замахаал руками, скрылся за деревьями.)

Старый слуга. Великая Праурима Неужели с князьинькой что худое? (Вбежал оруженосец).

Оруженосец. Скорей зовите лекаря! Где лекарь?.. Князь тур забодал!

Ягайло. Что? Насмерть?

Старый слуга. Княжий лекарь — вон там у палатки!

(Слуги убежали).

Ягайло. Скажи мне, насмерть? (схватил оруженосца за грудь). Отвечай, отвечай же!

Оруженосец. Не знаю, не знаю! Мне загощи по цепи передали! (убежал)

Ягайло. Господи, спаси душу моего любимого брата!.. Погибнуть без покаяния на рогах дикого быка... какой ужас! И ведь я его единственный законный наследник!.. Куда же мне еще такую тяжесть?.. На мои дряхлые плечи! (Вошел Юрий Лугвениевич).

Ягайло. Неужели мой дорогой братец. Прошу вас, говорите, без утайки!..

Юрий Лугвен. Чудо!.. Поистине — чудо!.. Чудесно спасен!..

Ягайло. Спасен?.. Фабриас, помогите мне сесть... Так ослабели ноги... Боярин кто спас моего брата?

Юрий Лугвен. Какие-то удивительные люди.

Ягайло. Кто они?

Юрий Лугвен. Неизвестно!.. Они словно упали с неба! Огромный тур выскочил из чащи и устремился на нас.. Он был разъярен, в его шкуре торчала щетина стрел и на ляжках повисли псы.. Князь на коне храбро бросился навстречу, пытаясь паразит зверя копытом загрибок, но копыте сломалось, и тур поднял коня на рога!.. Князь упал... Еще миг, и тур разорвал бы его рогами и жтоптал копытами!..

Ягайло. Великий боже!

Юрий Лугвен. Но помощь пришла неожиданно!.. Из леса выскочили двое странных людей. Один коренастый силач кинулся на быка и, схватив его руками за рога, стал с дивной силой гнуть его шею к земле, а другой — настоящий великан — поднял свой меч и одним ударом рассек туру череп! Когда мы побежали, зверь уже издыхал, а князь целовал своих спасителей. Конь слегка помял ему ногу.

Ягайло. Этим людям надо просто озолотить. Клянусь пальчиком святого Игнатия, я велю в их честь поставить серок свечей перед Остробрамской богородицей!

Юрий Лугвен. Но самое чудесное, что вслед за этими силачами из леса вышел один конь и на нем... две юных девы. одетые в жалкие рубища...

Фабриас. Все это похоже на волшебство!..

Ягайло. Слезы застилают мне зрение, господи... Нет, нет, я не пережил бы смерти брата!..

Юрий Лугвен. Князя несут!
Старый и молодой слуга, ловчий и оруженосец вносят на носилах князя Витова. Позади, среди бояр, идут Иванко, Большой Карл, Ольга и Избрана).

Ягайло (подбежал к Витовту). Братец, милый братец! (Ткнулся лицом в его плечо, всхлипнул). Как я за тебя испугался!.. Ты ранен?

Князь Витовт. Спасибо, брат! По мне еще рано заказывать обедни! Через час я снова сяду на коня. Вот добрые люди, кому я обязан жизнью обязан тем, что вижу это яркое солнце, пью душистый мед! Я не боюсь смерти, но с радостью прожил бы десять жизней — в каждой по сто лет! (старому слуге). Дядя Лухим, налей! Пусть мои спасители пьют из моего кубка, а чем наградить вас, други, не ведаю! Что не дам, все будет мало!

Иванко. Спасибо за честь, княже... И награждать-то нас не за что... Ну отбили тебя от быка, эко дело: ведь кабы и ты, княже, меня в такой беде увидел, небось, тоже пособил бы! Верно? А я что? Я только за рога держал... Вот он... (указал на Карла) быка-то и прикончил!

Князь Витовт. Ха-ха-ха! Послушайте бояре... Он тура только за рога держал! Только!.. Ну, и силаща у тебя, друг! Счастлив псковский народ, что родит таких богатырей!

Иванко. И-и-и, княже... У нас народ крепко дюжий!.. И посильнее меня много есть! Гаврило из Изборска, потом, стало быть, Вячка-монах, да и батька мой — Ждан, мало что собой невеличка, а доброе коня на плечах подымал! Я-то послабже его буду.

Князь Витовт. Где же твой батька? **Иванко.** Рыцари-псы побили...

Князь Витовт. А кто эти славные девушки?

Иванко. Жена моя, да сестренка ее.. **Князь Витовт.** Одеть их в лучшее платье, чтоб глядели, как боярыни! Вечеру посадить за ближний стол! Полно кланяться, красавицы и нечего, нечего от меня руками закрываться! Я вам в деды гожусь, хотя, правду сказать, глядя на вас, всяк помолодеет. Ну, так чем же вас наградить, други? (к Ягайло). Хоть бы ты подсказал, брат!

Ягайло. Я знаю, братец! Я от себя награжу их по-королевски! Храбрые смерды!.. Вот два чудесных крестика, в каждом из них запечатан волосок святой Вавары что хранит от яда змей пауков и всякой погани! Я дарю вам святыни! Носите!

Иванко. Спасибо за милость. Только вот крестик, жалко, лагынский; а я русский человек... Носить его не смелу... пан... Прости...

Олесницкий. С тобой говорит не простой пан, а ясновельможный польский король!

Иванко. Это я знаю! Дней десять назад, слава те, боже, виделись...

Князь Витовт. Виделись? Что же ты молчишь, брат? Ты знаешь его?

Ягайло. Вот не припомню братец... Может быть, где-нибудь мельком...

Иванко. А и припомнить не трудно. Вот и меня, и его, и девушек наших видели... Правда, Карл? Чай, и ты признал?

Большой Карл. Чистая правда! Узнаю!

Ягайло (сдерживая бешенство). Глуposti плетешь, холоп!.. Берегись! Где это мы видеться могли? Не в твоём ли свинарнике?

Иванко. А почто в свинарнике? Не-ет. В Плодком монастыре! Я вот во дворе с ним для потехи боролся, а вы поглядели, да еще нам две серебряных денежки подарили... Я вон свою за щекой держу, а он снова в реку обронил... Да нешто не припомните?

Ягайло. А-ах, память моя! Ну, конечно, вспомнил! Ну, на богомольи встречали их, братец! Этак потешно они играли, боролись! Нате вам, как старым знакомым, целый кошель серебра, да и золото тут найдется... Только в реку теперь не роняйте!

Иванко. Спасибо за подарок, пан король! Почаше бы вас встречать!

Ягайло. Молитесь творцу и будьте воздержны на язык, ибо нет хуже порока, чем праздная болтовня!

Князь Витовт. Ну, ну, ты их в молчальники не мани! Петь, болтать и пить — вот что должен делать язык доброго воина! Слушайте, пскович Иванко и кнехт Карл, есть у меня тут недалеко малая деревушка — Любеньки звать, — хатенок двадцать стоит и живет душ до ста мужиков — поселенцы с походов моих... Так вот вам обоим дарю деревенку эту с людьми, владейте на здоровье! А еще — пишу вас в свою дружину — быть в бою у княжею хоругви! Ну, довольны?

Юрий Лугвен. Что ж молчите вы? Аль одарены мало?

Иванко. Да много, боярин, аж в толк не возьму... На что мне та деревушка и мужики в ней? У меня ж на Пскове своя земляца есть, а изба — так руби да и ставь! Человек я, хоть простой, но вольный. Уж лучше таким на отчине быть, чем на чужбине — паном! Прости, господине, мне родимый Псков всего света милее, не гожусь я в твои бояре! Вот, коль Карлу в той деревушке хитрость, пушай он один берет! А уж меня с женкой ты вместо всякой награды на отчину отпусти.

Князь Витовт. Жаль, что служить мне не хочешь и милости мои... Ну, да ладно. Погостишь у меня немного и... скачи домой! (К Большому Карлу.) А ты?

Большой Карл. Я на свете один!
Я — кнехт, мое дело — война... Я поклялся отомстить рыцарям и буду вернo биться в твоей дружине вот этим мечом Зигфрида!

Князь Витовт. Мечом Зигфрида?

Юрий Лугвен. Это не тот ли, коим хвастают рыцари, как немецким волшебным мечом?

Большой Карл. Да, теперь этот меч у меня!

Ягайло. Он указан в пророчестве святой Бригитты!

Олесницкий. Я слышал эту сказку еще в Пражской академии...

Фабриас. Кнехт жлет! Это не тот меч!..

Большой Карл. Кто говорит, что я лгу? Я сам взял его из покоев Магистра! Это меч Зигфрида, говорю я вам! Я знаю!

Князь Витовт. Ты знаешь? Расскажи!

Юрий Лугвен. Князь приказывает, кнехт! Расскажи!

Ягайло. Достоинo ли нам, христианам, слушать языческие преданья?

Фабриас. И возможно ли верить рабу, который изменил своей родине?

Большой Карл. Я родину свою люблю больше, чем ты, поп, если есть у тебя родина! Я расскажу!.. Вы видите, на клинке искусно насечены люди и звери... Глядя на эти рисунки, пел старый шпильман на пиру у Магистра... Вот что гласит древняя сага... В незапамятные времена, далеко отсюда, у реки Рейна, жил Зигфрид — сын простого кузнеца. Отец его был карлик — слабый, как муха, но великий волшебник. Он сковал своему могучему сыну этот меч и сказал: «Бери! сражайся этим мечом против черных чудовищ и злых великанов!» Зигфрид поклялся отцу, что не поднимет дивное оружие ради какого-либо черного дела и поехал совершать подвиги. Этим мечом он убил трехглавого дракона, который угнетал всю страну. Он выкупался в его крови. и кожа Зигфрида стала подобно броне неуязвима для стрел и мечей! Лишь на одно местечко не попала драконова кровь — вот сюда под лопаткой, где пристал дубовый листок! Один злой барон, рыцарь Гаген, завидуя Зигфриду, решил его убить. Дочь короля выдала ему тайну — местечко, куда пристал дубовый листок. и рыцарь Гаген, заманив Зигфрида на охоту, подкрался к нему сзади и всадил копьe под самую лопатку...

Ягайло. Матерь божья, какой гнусный изменник! Ну, как верить людям? Как верить?

Иванко. Неужто... так витязь и помер?

Большой Карл. Умер Зигфрид! Ры-

царь Гаген тайком взял его меч и с той поры этим клинком не вершилось ни одного доброго дела! Он лишь пролил кровь невинных и сиротские слезы... Говорят, барон Гаген завещал меч Зигфрида немецким рыцарям...

Юрий Лугвен. И всю эту сагу шпильман пел Магистру в глаза?

Большой Карл. Да! И за это он умер в колодце башни! Он был справедливый старик.

Князь Витовт. Что ж, кнехт, коль все это не сказка и меч — тот самый, так носи его с честью! Он как будто тебе по руке! Эй, дядя Яухим, что слышно с поварни?

Старый слуга. Все накрыто к обеде, княже!

Князь Витовт. Прошу добрых гостей и бояр на свежую убойнку. Мои спасители сядут рядом со мной (Карлу). Ты вспомнишь другую сагу! (к Иванко) А ты расскажешь про немецкий полон. (к Ягайло) Прошу тебя, благородный брат!

Ягайло. Сегодня, пятница, братец... Пост. Я не вкушаю ничего мясного, и меда не пью... И шум застольный мне нынче, слушать грешно... Позволь уж я в часовню пройду, посижу там один. в тишине...

Князь Витовт. Пожалуй, брат... (Все уходит, кроме Ягайло, Фабриаса и Олесницкого; Ягайло их также отпускает движением руки.)

Ягайло (один). О, господи, окропишь мя иссопом и паче снега убелюся... Скажут эти мужики, что видели меня в Мариенбурге? Не посмеют! Беда, беда, все кости могут быть спутаны! Так иногда великую гору точит ничтожный ручеек! А ведь, пожалуй, и лучше, если они скажут. Братец и сам готовится выступить против меня, а, если узнает все, он устратится и тогда мы откроем друг другу ладони, и встанем против Магистра. Меня считают двойственным и коварным, может, еще... за спиной моей смеются? Дескать, слаб... и мал... Глупцы! Я велик! Истинно — велик в слабой малости моей! (Ягайло, улыбаясь, качая головой, тихо идет по тропе). Уж верно немцы подослали своих согладатаев к братцу, посулили ему корону мою, не меньше! (Уходит. Появляется Фабриас)

Фабриас (оглядывается вокруг). Змея уползла в часовню... Придет ли князь? Придет ли? (Входит князь Витовт)

Князь Витовт (с удивлением). Ты — монах? От Магистра?

Фабриас. Я. Перстень я положил.

Князь Витовт. Верегись. Я могу позабыть про условный знак и повесить тебя...

Фабриас. Твоя воля.

Князь Витовт. Что передал Магистр?

Фабриас. Сон,

Князь Витовт. Сон?

Фабриас. Да. Великий Магистр видел тебя во сне.

Князь Витовт. Видел в гробу? Сон не сбудется!

Фабриас. Нет, он видел тебя на белом коне, в золотых доспехах. На твоей голове была не одна корона, а две... Две короны — польская и литовская... (Вытащил свиток пергамента) Здесь вечная клятва Магистра... если ты согласишься, поставь свою подпись... только подпиши... Сон сбудется, князь...

Князь Витовт (вырвал грамоту, взглянул, схватил Фабриаса за горло). Кто я тебе?.. Каин?.. Сон? Брата на брата пришел натравить?

Фабриас. А... королю Ягайло тоже снится литовский венец... Снится...

Князь Витовт. Ажешь! Передай Магистру — горе ему, если встретит меня на яву!.. (Уходит)

Фабриас (один). Бежать... Он взял грамоту... Он покажет ее королю... (Входит Ягайло, Фабриас преобразился. Смиранный поклон.) Я искал вас, ваше величество... Вы хотели, чтобы я рассказал вам историю жизни и чудес святого Антония.

Ягайло. Нет, ученый муж, нет... Расскажи мне лучше старую повесть из Библии — о брате, убившем брата. Расскажи мне о Каине...

(В этот момент раздался конский топот, крик за сценой: «Где князь?» Вбежал запыленный гонец — литовский ратник, голова обвязана кровавой тряпкой.)

Гонец. Где князь Литвы Витовт? Скорее!.. (Упал.) Я умираю!..

Ягайло. Братец! Братец!..

(Вошел Витовт и Юрий Лугвениевич с кубками в руках.)

Князь Витовт. Мы принесли тебе... постного меду, брат! Ха-ха-ха! Пей! (Увидел гонца) Что с тобой! Кто ты! Эй! Говори! Говори!

Гонец. Господине княже... немцы ворвались на Жмудь... жгут... убивают... Из Мальборга идет главное войско Ордена... Полки со всех немецких земель. Вошли в Польшу... Взяли Добрыжники... Липно... осадили Бобровники... Прости, княже, еще... не все сказал... умираю... (Упал.)

Князь Витовт. А-а-а!.. Литву и Русь на коней! На коней!.. (Уходит.)

Ягайло. Збигнев! (Вошел Олесницкий.)

Поди сюда, мой Збигнев. Ближе. (Оглядываясь вокруг.) Слушай. Я всегда держал тебя возле, как молодую совесть. Теперь настало твое время. Сейчас мы вернемся в замок. Как только я удалюсь в свои комнаты, ты, Збигнев, пойдешь к князю Витовту и расскажешь ему, как я с Магистром подписал договор.

Олесницкий. Как?.. Все рассказать?..

Ягайло. Да. Всю правду, кроме одного, что я тебе это повелел. Скажи князю, что, ради любви к отчизне, ты решил выдать меня.

Олесницкий. Нет... Это бред... Я бреду.

Ягайло (обнял Олесницкого). Не бойся. Иди и, когда сделаешь это, возвращайся ко мне и — забудь, все забудь, пока я не спрошу. Но помни, чем точнее ты выполнишь мою волю, тем лучше будет (с глубоким чувством) для родины нашей.

Занавес

*

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина пятая

Комната в Трокском замке.

На стенах восточные ковры. Висит большой старинный портрет князя Кейстута, отца Витовта и дяди Ягайло. Слева — высокое распятие со скамеечкой для коленопреклонения, справа — камин. Зябко кутаясь в отороченную мехом черную спанчу, сидит король Ягайло, смотрит в огонь. Перед королем склонился в поклоне доктор богословия Фабриас.

Ягайло. Итак, добрый учитель, вы едете доктором богословия в мою Краковскую Академию? Весьма похвально, что за отсутствием явились к нам.

Фабриас. Я хотел, ваше величество, выехать в Краков позже...

Ягайло. О, нет, добрый учитель, я не хочу вас задерживать. Академия вас ждет. Поезжайте немедленно.

Фабриас. Я...

Ягайло. Нет, нет — немедленно. А напутствие? Я дам.

Фабриас. Горю нетерпением, чтоб хотя капля из океана вашей мудрости освежила сухой камень моей посредственности...

Ягайло. Увы, я не мудр и сам слаб духом... Что посоветовать вам? Пылкую

молодость студентов полезно учить одному — послушанию! Человек создан подчиняться.

Фабриас. Божественные слова!

Ягайло. Человек мнит: я свободен! А он — игрушка в ручке пресвятой де-вы... Человек, согласно Платону, есть двуногое неоперенное существо... Вы помните, как это доказал Диоген?.. Он ошпиал петуха и пустил его в народ!

Фабриас (угрюмо). Вы поразительно начитаны, ваше величество...

Ягайло. Я невежда и неуч, друг мой! И я не боюсь признать, что человек — червяк! Да, да!.. Бедная жизнь наша хрупкая, как стекло вот этого бокальчика с лекарством! Снаружи — привлекательная краска, а внутри горечь несносная... По неизвестности, что будет с нами, жизнь нашу на земле можно сравнить с воробьиным полетом. Вот сидишь у камина в зимнее время...

Фабриас. Теперь — весна...

Ягайло. А я говорю о зиме! Вот сидишь, пылает огнище, тепло, светло, а за окнами бушует вьюга, да случится влетит в дом озябший воробей... В одно оконце влетит, а в другое — вылетит. Минуту спасется от вьюги и... обратно во вьюгу! Точно так, я думаю, и жизнь человека! Что за ней следует, что предшествует — никто, никто не знает! Из тьмы в тьму, а жизнь — один теплый миг...

Фабриас. Всю мудрость сию благоговейно впитаю в себя!

Ягайло. Доброго пути, ученый муж. Доброго пути. Да, будьте дорогой осторожны. Говорят, нынче вновь на путников с малой охраной нападать стали разбойники...

Фабриас. О, ваше величество, что могут разбойники взять у бедного монаха?

Ягайло. Пергаменты, пергаменты могут взять, кои вы носите за пазухой...

Фабриас (с дрожью). О какие пергаменты? Всю мудрость творений святых отцов я на память ношу в голове.

Ягайло. И голову, голову могут взять. Будьте осторожны. (Отпустил Фабриаса движением руки. Фабриас вышел. Ягайло — один.) Как пес поноску, он понесет в зубах Магистру еще одну черную измену! Если братец мой согласился... Если... Что ж, пусть он донесет ее благополучно (Вошел Олесницкий, стал у порога.) Подойди ближе, Збигнев. Ты был?

Олесницкий (хрипло). Был.

Ягайло. Он поверил?

Олесницкий. Он в ярости.

Ягайло. Это хорошо. А теперь — забудь. Забудь обо всем.

Олесницкий. Я разум теряю, ваше величество...

Ягайло. Подкинь-ка еще поленце, Зби-

гнев. Я что-то опять забну. Верне простыл на охоте...

Олесницкий. Гнев князя был страшен...

Ягайло. Я приказал забыть. Семя брошено. Подождем всходов.

Олесницкий. Я понимаю... вы, как двуликий Янус...

Ягайло. Нет, Збигнев, ты ничего не понимаешь.

Олесницкий. Ясная мосць! Не считайте тевтонского магистра глупцом! Там, где вы обманете его однажды, он трижды, он трижды обманет вас!

Ягайло. А нас господа умудрит и — четырежды... Что за шум? Взгляни! Голос (за сценой) Пустите!.. Пустите двести дьяволов вам в зубы!..

Ягайло. Ого!.. Судя по проклятьям — это доблестный Зындрам из Машковид. Он, вероятно, прискакал из Мазовии! Впустить. (Олесницкий не успел сделать и шага, как дверь распахнулась и ворвался длинноусый гигант в боевых доспехах — знаменитый польский рыцарь Зындрам из Машковиц.)

Олесницкий. Зындрам! Ты ворвался к нам, словно в пролом крепостной стены!

Зындрам. Это нечаянно и стгоряча! Какой лысый чорт так завинтил мой шлем? Тьфу!.. Гнусь, мразь, бес, вурдалачье семей!.. Тьфу! (Наконец освободился от шлема и поклонился Ягайло, расправляя свои усы.) Мой скромный привет пану-королю!

Ягайло. Откуда ты? Весь взлохмаченный, грязный и... словно пьяный!

Зындрам. Откуда я, да еще пьяный? Со свадьбы брухатой ведьмы и зачумленного козла, где пил настой из прошлогодних мертвенных и ел мыльные пузыри, поджаренные на собачьем сае!.. Откуда я?.. Вот вопрос неглупый, лишь потому, что его задал умный человек! Из пекла из пекла, пан король! Я отсюда, где поляков запекают в их домах, как дроздов в святочном тесте!.. Немцы взяли Бобровники и выжгли весь город! Немцы идут на Варшаву!.. Вот, пан-король, каким веселым хмелем я пьян!..

Ягайло. А как велика армия Ордена?

Зындрам. Огромная невиданная сила! Вблизи городка Золотырни я спрятал своих людей в овраге, а сам с вершины дуба наблюдал, как немцы проходили мимо! Я насчитал пятьдесят полных рыцарских полков. На знаменах я видел гербы итальянцев, венгерцев, шведов, датчан, а знаки баронов со всей Германии так и рябили в глазах! Затем провозели не менее ста пушек и множество тяжелых осалных машин... Все это движется, как страшная туча железной саранчи, оставляя позади себя лишь одну обугленную, опозоренную землю! Я мчался сюда, три дня, не

покидая седла, шесть коней подо мною пали, а седьмой сдох у ваших ворот! Олесницкий. А что наш народ? Что говорят повсюду?

Зындрам. Народ? Да от первого рыцаря королевства... (Ударил себя в грудь) и до последнего шляхтича с продранными штанами, до последнего нищего холопа — все требуют мечей! На дорогах я встречал толпы мужиков с дубьем, с рогатинами, в дедовских ржавых шлемах, они ловили меня за стремена и орали: «Возьми в свое войско пан!» Лапотная шляхта садится на коней, все магнаты созывают свои хоругви!

Ягайло. Магнаты! Без моего университета?.. Ведь война еще мной не объявлена.

Зындрам. Разве это не радость для вас, пан-король? Когда отчина в опасности народ не ждет ни подписей, ни печатей.

Ягайло. Ты сказал, мой Зындрам, что уже многие рыцари Польши собирают свои отряды?

Зындрам. Многие, ваше величество.

Ягайло. Наклонись ко мне. (Тихо) Не ждите подписи моей и печати. Понял? Зындрам. Понял.

Ягайло. Печать в сердце твоём.

(Вошел старый слуга.)

Старый слуга. Великий князь Витовт Кейстутыч жалуется сюда.

Ягайло. Уходите. Мы с князем будем говорить по-братски. (Олесницкий и Зындрам из Машковиц вышли. Вошел князь Витовт, за ним — Иванко и Большой Карл, которые встали у дверей.)

Князь Витовт. Добрый вечер, мой брат.

Ягайло. Добрый, добрый... Садись вот поближе к огоньку. Что это за люди с тобой, братец? Я не вижу от света... Твои телохранители?

Князь Витовт. Спасители!

Ягайло. Ах, да, это ведь они спасли тебя от рогов тура!

Князь Витовт. Что тур! Неразумный зверь. Куда страшной похвастать в когти черной птицы...

Ягайло. Какой птицы?

Князь Витовт. Имя ее — измена!

Ягайло. Да, да, братец, в наше время стало трудно, очень трудно верить людям!

Князь Витовт. Король Владислав Ягайло, ты обязался мне, в случае нападения Ордена, с войском прийти на помощь. Год назад ты подписал договор и клялся мне в этом!

Ягайло. Да, да, я подписал, я клялся, и клятва моя нерушима!

Князь Витовт. Так ты согласен?

Ягайло. На что?

Князь Витовт. Вместе!.. Навстречу крестоносцам!.. Утром на коней и начи-

нать войну, немедленно, войну последнюю, отчаянную!.. Или мы все погибнем, или навек защитим себя от позора немецкого ярма!

Ягайло. Постой, постой... Я не мальчик и не дам себя увлечь.

Князь Витовт. Ты ищешь лазейку для измены? Ты сам был в Мариенбурге и там сговорился с Магистром? Ты предатель!

Ягайло. Я... Предатель? Я христианский король и рыцарь!

Князь Витовт. Ты не был у немцев? Ты не ездил туда тайком, как Иуда и фарисеям?.. Твой наперстник Олесницкий сознался мне в этом! Но этого мало! Есть еще доказательство, брат, еще! Гей, Иванко! Карл! Бросьте ему в лицо, что видели его на пиру у Магистра! Говорите ему в самые глаза!.. Ну!..

Иванко. Видели... Был!

Ягайло. Нет, нет, пскович, ты же сам говорил, что встречались с тобой в Плоцке... в монастыре! Вспомни!

Иванко. Я при всех боярах твой срам не хотел рассказывать, а уж тут... вот князь велел... и говорю на чистоту!

Ягайло. Молодец, молодец! Всегда говори правду! Я ведь только хотел тебя испытать! (К Витовту). Ну, каюсь, скажу тебе по секрету, братец, был!.. Был, был! Трудно было сразу решиться. Теперь все взвешено. Я не мог тебе сразу говорить. Да! Ты вот все считаешь меня простаком а я начал великое дело! (Иванко и Карл тихо вышли).

Князь Витовт. Обманешь, обманешь, брат! Кто в подвалах этого замка задушил отца нашего Кейстута? Вот его портрет! Не ты ли это сделал, брат? Отцеубийца!..

Ягайло. Страшно вспомнить, но... грешен.

Князь Витовт. А кто некогда и меня заточил в темницу и готовил мне ту же участь? Помнишь, служанка жены переделалась в мое платье, а я бежал в юбке и платке. И ты не постеснялся казнить эту бедную девушку! Помнишь ли ты все это, мой брат?

Ягайло. Помню... помню... (бросился на колени к распятию, приник к нему лбом.) Ты прав! Я — дурной человек. В младости многие сбуревали мя страсти, но теперь... оба мы седы... оба ведь скоро предстанем перед высшим судом. Проклятие!.. Проклятие проклятие!.. Зачем же ты напомнил мне про то, что всю жизнь давит мою душу и сушит мозг... что бледными призраками встает передо мной в бою... на охоте... всегда стоит за спиной и на горло садится во сне! Зачем ты только напомнил!.. О-о-о... (рыдает, обнял Витовта). Милый, ненаглядный, бесценный мой братец...

Князь Витовт. Ложь!.. Не вери!.. Ты

словно помесь лисицы и совы! Нет ничего гнилее твоего мозга, ничего столь лживого, как вся твоя жизнь, и, более грязного, чем твое сердце!

Ягайло. Да, да, да! Но как я люблю тебя, как уважаю глубоко и... жалею! Как рвалось мое сердце к тебе, в нашу милую дорогую Литву! Как я счастлив, обнимая тебя, моего дорогого братца! Ты видишь, я плачу вместе с тобой... Это слезы раскаянья, поверь же мне, поверь! Давай отныне будем вместе, и во всем верны друг другу! Я сдержу свою клятву, подпишу новый договор, какой хочешь, подпиши! Только не презирай меня и скажи, что прощаешь меня, братец...

Князь Витовт. Так ты молишь о прощении, брат? Как же я могу простить тебя или поверить? Нет! (Обнажая меч.) Я казнить тебя должен, брат мой бывший — Ягайло!

Ягайло (встал с колен). Полно, братец. Не пришлось бы тогда тебе казнить и себя, братец.

Князь Витовт. Ты предал!

Ягайло. А ты скрыл, что тебе предлагали немцы.

Князь Витовт. Молчи! (Поднял меч.)

Ягайло. Князь, сознайся! (Грудью пошел прямо на острие меча.) Я готов на суд божий! (Рука Витовта медленно опустилась.) Я угадал. Тебя тоже хотели купить? Польской короной, да? (Витовт молчал.) А мне Магистр обещал твои земли... (Ягайло лбом прижался к его плечу.) Вся Белую Русь...

Князь Витовт. Боже!.. (Меч выпал из его руки.) Что делают с нами немцы?..

Ягайло. Пергаментом и чернилами они воюют еще страшней, чем железом. Так побьем же их, брат, и пергаментом и оружием! (Хлопнул в ладони.) Збигнев!.. Князь Юрий! (Слева вошел Олесницкий, одновременно — Юрий Лугвениевич.) Мы призвали вас в свидетели величайшей государственной тайны.

Князь Витовт. Мы объявляем братский поход против Тевтонского Ордена.

Ягайло. Амины!

Олесницкий. Я счастлив слышать. Юрий Лугвене. Великая радость для всех!

Ягайло. В случае, если господь дарует нам победу, мы обязуемся по-братски разделить ее плоды: князь Литовский получит обратно Жмудские земли и Пруссию, а я присоединю к своей коро-

не все древние польские земли, всю Силезию, города Кульм и Торн, Поморю с городом Данцигом. Какую силу ты думаешь собрать?

Князь Витовт. Я обязуюсь выставить в поле пятьдесят полных знамен и привлечь к общему делу зятя моего Великого князя Московского Василия Дмитриевича, а также Новгород и Псков. Нужно поднять всю великую русскую силу!

Ягайло. Я, братец, по крови такой же литвин, как и ты. Колеблусь я, братец, нужно ли нам Москву звать... Силен стал нынче Московский князь...

Князь Витовт. Как ты думаешь, Юрий Лугвениевич?

Юрий Лугвене. Княже, там, где становится рыцарский конь, — трава перестает расти и земля превращается в пепел, смешанный с кровью. Княже, да разве не ведомо тебе, как немцы у Гродно сгоняли в реку тысячи мирных литвинов, мечами рассекали утробы матерей, и, чтобы запугать народ, нерожденных младенцев несли на копытах! Княже, не только земля, реки от гнева загораются, и встает народ в Полоцке, Витебске, Киеве, Пинске, вся Белая и Червоная Русь идет под твои знамена! Зови же Москву, русский княже! Проси о помощи! Москва придет! Москва знает — кто наш общий злодей! Москва — наша единая кость и единая кровь!

Князь Витовт. Спасибо, Юрий. Я знаю — это голос моего народа. Брат, я решил. Я снаряжаю посольство в Москву.

Ягайло. Ужели должны мы будем с Москвою делить победу!

Олесницкий. Пан-король Владислав Ягайло. Польша без славянства — мертва! Я поляк чистой крови, но помню, что Львов, Галич, Подола, Волинь — земли вашей короны — это русские древние земли, и когда поляк говорит «айчызна», — русский скажет — «отчызна», жмудин скажет — «отчына», белоусс — «айчына» — и все четверо хорошо понимают друг друга, ибо все мы единой крови!

Ягайло. Умница Збигнев. Умница! Он говорит как ученый епископ! Ведь он — моя добрая тень. (Грозит пальцем.) Но тень не отходит от тела. Снаряжай посольство в Москву, братец. Я согласен.

Занавес

Картина шестая

Москва.

Большая палата великокняжеского терема в Московском Кремле. На возвышении в две ступени, под балдахином из золотой парчи, устроенном наподобие верхушки шагра, в креслах из слоновой кости, инкрустированных перламутром и серебром, сидят Великий князь и княгиня Московские.

Василий Дмитриевич — высокий сухощавый мужчина с умным и мужественным лицом. Он одет в красный кафтан с золотыми клетками, в узкие зеленые порты и в высокие сапоги из красного сафьяна, перехваченные в трех местах жемчужными застешками. Сверху накинута короткая плащ или «приволака» зеленого цвета с золотыми разводами, на синей подкладке. На голове Великого князя сквозной золотой венец, в правой руке князь держит скипетр, унизанный жемчугом, а левой опирается на короткий и широкий меч.

Жена князя Софья Витовтовна — молодая женщина истинно северной красоты — высокая и величавая, одета в сарафан из серебряной парчи с красными клетками в золотых рамах, на шее — тройное золотое ожерелье. Сверху накинута плащ, подбитый голубыми белками. На голове княгини — малый золотой венец. Справа и слева от великокняжеских мест, на низких скамьях, покрытых восточными коврами, сидят московские бояре, одетые в темных кафтанах и темных портах, с посошками в руках и непокрытыми головами. Общий вид их скромно и строг, как крепкая дубовая рама вокруг золотого великоколения княжеской четы. Лишь один, самый ближний боярин Иван Родионович Квашня, одет сверх черного кафтана в зеркальную броню с золотой насечкой, и на коленях держит высокий русский шолом.

В момент поднятия занавеса Великому князю кланяются в пояс псковские послы. Двое из них — посадники, третий одет попроще — это знакомый нам Михалко, отец Ольги и Избраны. Поклонившись, псковичи молчат, мнут в руках шапки, глядят в пол. Молчит и князь. Бояре улыбаются, псковичи покашливают.

Василий Дмитриевич. Ну, долго еще будете мяться, господа псковичи?.. Ишь, бедные, не поняли меня? Мол, мудренб говорит московский князь, мол, мы сами с усами, помолчим, да отъедем?

Михалко. Я-то понял тебя, государь...
Василий Дмитриевич. Так-молви.

Михалко. Я б молвил, да не гоже мне, мужику, раньше... посадников.

Вас. Дмитр. Умное слово всегда гожее!.. Слышал я, что сто деревень, разоренных от немца, тебя на Москву послали. Стало быть, ты не простой мужик, а народный ходок и печальник. А господа именитые посадники видно воды в рот набрали или, может, вчера, за ночь, как услышали мою волю, так и онемели?

Софья Витовтовна. А ты их отпусти. Вася, обратно на Псков. Пускай еще дома посидят, подумают. (Псковичи испугались.)

1-й посадник. Нет, уж ты нас не бездоль, государь!

2-й посадник. Мы без дела с Москвы не отъедем!

1-й посадник. Коль вернемся ни с чем, нас на вече в клочки разорвут!

2-й посадник. Смута на Пскове грянет, проведает о том псы-немцы, ну опять и вломятся к нам!

1-й посадник. Ты, уж ради Христа, не губи нас, еще разок поясни свою волю...

Вас. Дмитр. Вижу, хотите вы, псковичи, ныне на елку высоко влезть и порты не ободрать? Говорить с вами, что воду толочь. Ну, ин... добро! Волю свою повторять вам не стану, а покажу примером по древней сказке. Иван Родионович, вели-ка подать мне веник. (Боярин Квашня дал знак, и слуга поднес князю простой березовый веник.)

Софья Витовтовна. Неужто ты их, Вася, в баньке парить задумал?

Вас. Дмитр. Хуже, Софьюшка, хуже. Дурь упрямую буду из них выметать! (Пальцем подманил 1-го посадника.) Подь-ка сюда! (Посадник опасливо приблизился, князь вырвал пруттик из веника, подал ему.) Бери!

1-й посадник. Чего?

Вас. Дмитр. Сломай, коли силы хватит! (Посадник изумился, взял пруттик.)

1-й посадник. А что ж тут ломать? (И в пальцах сломал пруттик.)

Вас. Дмитр. Здоров же ты! (Притвор-

но поразился князь.) А вот это сла-
май! (Сунул в руки посадника весь
веник.)

Посадники (загалдели). Знаем! Знаем!
Вас. Дмитр. Что знаете?

Посадники. А то: веник-то не сло-
маты! Знаем! У тебя уж и Владимир-
ские, и Смоленские, и Тверские — все
ломали, никто не сломал!

Вас. Дмитр. Ну, тверские! Мало ли
что? Вы-то ведь — псковские! (Вдруг
встал с кресла, поднял руку, в паль-
цах мял и ломал один прутик.) Вот
Псков ваш, вот!.. А вот вся наша
Русь!.. (Он протянул псковичам ве-
ник.) Тут и Москва, и Владимир, и
Новгород, и Тверь, и Псков!.. Кто сло-
мает, коли связаны крепко? Может,
немцы ваши, али шведы, али Польша
соплей перешибет? Ну?! (Псковичи за-
стыли, растерянно переглядываясь, а
князь опять уселся в кресло.) Сказ-
ка стара, да забывчива... Батя мой,
Дмитрий Иваныч Донской, вот таким
веничком Русь на татар водил. А кто
был бит на Куликовом поле? Чай,
слыхали?

Посадники (закланялись в полс). Слы-
хали! Как не слышать?

Вас. Дмитр. Посему, я от вас, пско-
вичи, требую покорности Москве!
Здесь (топнул ногой) собирается
русская земля по святым заветам де-
дов и прадедов наших! Так вот: обе-
щаю ныне послать к вам полки в обо-
рону рубежей русских. А чтоб были у
вас на Пскове порядок и чин, даю
вам князем брата своего Константина,
что ныне в Ярославле сидит! Любо?

Посадники. Любо!..

Вас. Дмитр. Только берегитесь, по-
садники, коли умыслите криво! Моск-
ва измен не прощает!

Михалко. И-и-и... что ты? Все живота-
ми ляжем, никому не дадим слуша-
вить!..

Вас. Дмитр. А дочек твоих из поло-
на вызволить надо.

Михалко (бухнулся в ноги). Спасибо
за пожелание... Да забудешь ты, госу-
дарь, про мужицкую мою нужду...

Вас. Дмитр. Я слово свое не привык
забывать, ибо прадед мой Александр
Ярославович Невский... ну-ка, как он,
Иван Родионыч, говорил?

Иван Квашня. «Бдителен ум у того,
что хочет заботливо править!»

Вас. Дмитр. Заботливо править! Гос-
пода псковичи, садитесь, думайте с на-
ми вместе. (Псковичи отходят и по
указу Квашни садятся на скамьи,
ниже московских бояр.)

Иван Квашня. Так что ж, господи-
не, звать литовских послов?

Вас. Дмитр. Обожди. Ждет там не-
мецкий гость?

Иван Квашня. Да, господине. Три
недели уже мается немец, ждет.

Вас. Дмитр. Зови его тотчас. (Кваш-
ня вышел.) Слушайте чутко, бояре
(Вернулся Квашня. Вошел Марквард
Зальцбах, за ним кнехт Генрих в не-
тюк с товарами.)

Марквард Зальцбах. Великий ко-
роль Московский и Русский, от име-
нитых купцов Ганзейского Союза, от
градов Любека, Данцига и Ревеля тебе
низкий поклон и привет.

Вас. Дмитр. Здравствуй, немецкий
гость Шорн. Рад снова видеть тебя на
Москве. Как ныне доехал?

Марквард Зальцбах. Трудно, ва-
ше величество. Если б древний тво-
й город Смоленск был и ныне твоим, а
литовским, куда короче и легче стал
бы мой путь, а то пробирался я по
Литве, как между осиних гнезд, всю-
ду задаривал, всюду молил, чтоб даль-
ше пустили к тебе.

Вас. Дмитр. Неспроста ты свернул с
Смоленске. Да ведь знаешь: Смоленск
от Москвы не уйдет, хотя ссорится
из-за него с Литвой я не буду. Ну, ну
не отнекивайся! Ведь ведомо мне, что
ты не только торговый гость.

Марквард Зальцбах. Вы мудры
и проникательны, ваше величество
Торговля — сестра политики...

Вас. Дмитр. Так покажи сначала
свои товары.

Марквард Зальцбах. Здесь луч-
шее из привезенного мною. Вот уборка
для королевы — золотые запястья
пояс работы итальянских мастеров.

Софья Витовтовна. А поест мал-
затейлив... У нас на Москве чеканят
узор наряднее... И лалы цветом нечи-
сты...

Марквард Зальцбах. Здесь не-
панский бархат и венецийская парча

Софья Витовтовна. Бархат не
добрый, порвется скоро. А парча, ви-
дишь, Вася, узор-то латинский. Рус-
скому человеку не гоже носить.

Марквард Зальцбах. А вам, ва-
ше величество, бранный доспех из
Нюрнберга. Искуснейшие оружейники
целый год трудились над ним. Насе-
ченныя фигуры изображают любовь
рыцаря Тристана и девы Изольды.

Вас. Дмитр. Х-м... Для потехи славно
блестит, а для боя ковали бы крепче..
Ну, товары мы поглядели. Не сморкай-
тесь, бояре. Слушайте.

Марквард Зальцбах. Король Мо-
сковский и Русский — Великий Магистр
Тевтонского Ордена готов с тобою

Новгороде и Пскове записать вечный мир. (Вручает грамоту.)

Вас. Дмитр. Иван Родионович, возьми бумагу. Так стало быть мир? Это в который же раз?

Марквард Зальцбах. На вечное время, пока будет стоять земля и вода. Вас. Дмитр. Земля и вода? Что ж, весной вода схлынет, а на зиму землю покроет снежок... Не надолго мириться хотите. Так. Садись, немецкий гость. Садись.

Марквард Зальцбах. Увольте меня, ваше величество, от встречи с литовскими послами.

Вас. Дмитр. Сказано, воля моя — садись. Грамотку мы прочтем, поразмыслим, да к зиме-то, к снежку, дай господь, и будет тебе ответ.

Марквард Зальцбах. Ваше величество, сие дело требует скорости!..

Иван Квашня. Скоро только блох ловят, милый. Ничего. Поторгуй на Москве. Посиди.

Вас. Дмитр. Зови послов, Иван Родионович.

(Квашня дал знак, вошли Юрий Лугвениевич Милославский и воевода Вингалла.)

Юрий Лугвен. Великий князь Московский, Владимирский и Тверской, господин всея Руси, и госпожа великая княгиня. Вам от высокородного гостя и от любящего батюшки вашего князя Литвы Витовта низко бьем челом и дарами! (Слуги подносят дары.)

Вас. Дмитр. За память о нас передайте Витовту Кейстутовичу братское спасибо. Иван Родионович, прими. Чтите грамоту вашу.

Вингалла (развернул свиток, читает). От Жмудских князей и бояр всем князьям Литвы и Руси. Мы вольный народ, а немцы хотят обратить нас в невольников. Слушайте нас и спасите! Немецкий Орден разорвал с нами мир и лицемерно объявил всему свету, что несет нам христианскую любовь, а сам прислал палачей с крестами. У нас отбирают стада и улья, земли и реки. Умоля-

ем, послушайте нас! Наши дома сожжены и дети загнаны в леса. Нам больше пристало стонать, а не говорить. Внемлите нам, помогите нам (И Вингалла, свернув свиток, заплакал.) Друзья сынов моих немцы распяли на крестах.

Софья Витовтовна (вскочила с трона, подбежала к нему). Вингалла! Ольгерда. Ясько—распяли?! Звери! Звери! Я росла вместе с ними... Бедный Вингалла! Василий!

Вас. Дмитр. Встань, немецкий гость Шорн. Ты слышал?

Марквард Зальцбах Это — ложь. Вас. Дмитр. Говорил ты о мире, а одежда твоя пахнет кровью невинных жертв. Али вы уж решили, что мы на Москве умом оскудели? За вторжение в Псковские земли и в пределы Белой Руси вы заплатите жизнью.

Марквард Зальцбах. Горе начинающим! Горе начинающим!

Вас. Дмитр. Горе начинающим? Да горе вам!..

Марквард Зальцбах. Король Москвы, именем капитула Тевтонского Ордена вызываем тебя на суд божий.

Вас. Дмитр. Поди и скажи посланному тебя, что, говоря по-русски, будет и ныне тошно! Иван Родионович, велю проводить гостя.

(Маркварда Зальцбаха уводят.)

Софья Витовтовна. Мы живем, как на горе стоим! Нас далеко видать. И наша слава для всей Руси. Добрая слава прогремит навеки, а худая для поздних внуков добежит срамом и стыдом.

Вас. Дмитр. Не будет худой славы Софьюшка. Вовеки не будет. Что ж бояре, часто бывает, стоит в лесу дерево—мощное, словно башня! Ты думаешь, что оно целый век так простою, а коли стукнуть по нему хорошенько, то окажется, что в середине пусто, и оттуда сыплется гниль. Такова и сила немецкого ордена. ПридетсЯ, бояре нам всем быть искусными дровосеками.

Занавес

★

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Прощениум перед опущенным чёрным занавесом. Раскаты грома. Свист ветра. Выходят Великий Магистр Тевтонского Ордена Ульрих фон-Юнгинген, Куно фон-Лихтенштейн и Марквард Зальцбах — все трое в боевых доспехах и шлемах, закутанные в темные плащи.

Магистр. Вот ночь, когда и волков попросишь о приюте! Дикий ветер! Святая кровь, как бешено мчатся облака... Луна катится в них, словно отрубленная голова в круглом шлеме!

Зальцбах. И смотрите, какое облачко

сейчас застилает ее! Как похоже она на меч с рукояткой! Он повернут острым концом к нам.

Лихтенштейн. Это — дурной знак. Магистр. Благородные крейцхеры, мы сильны, а победа — дается только с

че! Марквард, ты говорил, что литовцы и поляки стали за тем лесом?

Зальцбах. Да, лазутчики там видали их лагерь. Литва стоит слева, возле деревушки Грюнвальд, польское войско правее, ближе к Танненбергу. Вчера вечером к ним подошли пехотные смоленские полки и чешская дружина под водительством Яна Жишки.

Магистр. Ничего! Они все лягут перед нами, как нива под ветром! Презренные чехи! Они снова подняли головы? Мы отрубим их! Бр-р!.. Какой дьявольский ветер! Мы начнем атаку вон с тех холмов. Первые двадцать полков поведают рубака Валленрод. Тридцать тысяч конных рыцарей опрокинут Литву! Что еще говорят лазутчики?

Аихтенштейн. Они уверяют, будто король Ягайло задержит выступление своих полков, пока мы не покончим с Литвой и Русью.

Магистр. Если это случится, — а я не сомневаюсь, что старый плут не посмеет нас обмануть, пока меч приставлен к его горлу, — то мы тогда проведем и его! Как только литовское войско будет

смято Валленродом, ты, Марквард, и ты мой Куно, с двадцатью знаменами наших лучших рыцарей и итальянских наемников ударите на поляков. Солнце не успеет зайти, как на этом поле литовский князь и польский король-мошенник, и чешские рабы, и русские воеводы — все на четвереньках, с веревками на шеях, будут молить у меня пощады!

Зальцбах. Дай бог, чтоб случилось так, но, великий Ульрих, мы все же не так сильны, чтобы одной рогатиной сразу брать двух медведей. В бою с Литвой устанут кони, люди, а русские полки могут взять своей свежей силой.

Магистр. Ты видел, как молния опять разрезала небо от края до края? Острожный и холодный Марквард, завтра блеск моего меча покажется врагам еще ярче! И до полной гибели русских, поляков, литовцев и чехов я не вложу его в ножны!..

Зальцбах (угрюмо). Но... это не меч Зигфрида...

Магистр. Это — добрый немецкий меч (Уходит.)

Темнота. Музыка. Вой боевых рогов.

★

Занавес поднимается

Картина седьмая

Поле между Грюнвальдом и Танненбергом. 15 июля 1410 года.

Сцена первая

Зан польского войска вблизи Грюнвальда. У входа в королевский шатер толпятся польские рыцари в полном боевом вооружении, среди них — Збигнев Олесницкий и Зындрам из Машковиц. Все с тревогой смотрят вдаль, откуда глухо доносятся пение рогов и треск барабанов орденской армии.

Хор (в шатре): Богородице, дева Мария, внемли гласу бедных людей, благоволи исполнить прошения наши, а по смерти удостой нас райского жития...

(Из шатра доносится музыка органа и звон колокольчиков.)

Зындрам. Сорок тысяч окаянных чертей!.. Прости меня, боже... Скоро ли король перестанет молиться?

Олесницкий. Он слушает подряд шестую обедню. Ксендзы давно охрипли, а органист набил себе мозоли на пальцах...

1-й рыцарь. Немцы уже построили все свои знамена. Чего мы ждем?

2-й рыцарь. Мы застряли тут в котловине, а они заняли все холмы!

Зындрам. Они раздавят нас, если мы будем еще медлить!

Олесницкий. Прошу помнить, господа рыцари, что король призывал вас к терпению.

3-й рыцарь. Мы терпели, но до каких же пор?!

1-й рыцарь. Доблестный Зындрам, пора выводить в поле полки, иначе мы не успеем развернуть свою конницу!

Зындрам. Правда, больше немислимо ждать!..

1-й рыцарь. Магистр опрокинет литовцев, и мы будем зажаты, как в тиски, между лесом и орденской силой!

3-й рыцарь. Ступайте, пане Зындрам, зовите короля!

2-й рыцарь. Зовите или мы погибнем!

Зындрам. Что я могу сделать, панове? Я трижды подходил к нему, он не поднимает глаз от молитвенника! Дьявол и смерть! Я больше не пойду!

3-й рыцарь. Взгляните, немецкие полки на левом крыле начинают спускаться с холмов!

1-й рыцарь. Видите знамя с черным своей? Это герб Валленрода!

2-й рыцарь. Несчастная Литва!.. Разве

она устоит перед этой железной лавиной?

Зындрам. Пошли!.. Пошли!.. (Вой рогов все громче.) Проклятый сатана и все его косматые дети! Нет, я больше не жду! Я рискну своей головой, но подниму королевское знамя! Кто со мной?

Рыцари. Мы все с тобой, пане маршал!.. Все с тобой!..

Олесьницкий. Тише! Остановитесь! Сюда скачет князь Витовт. (Входит Витовт, с ним Юрий Лугвениевич, оба в боевых доспехах.)

Витовт. Где король? (Бросился к шатру, навстречу ему тихо вышел король Ягайло с молитвенником в руках)

Витовт. Король и брат! Орден правым крылом пошел в атаку.

Ягайло (рыцарям). Оставьте нас наедине. (Рыцари с ропотом уходят. Ягайло смотрит вдаль.) Так битва уже началась... А я, братец, заказал седьмую обедню...

Витовт. Полки твои рвутся в бой. Удержишь ли ты их до нужного времени?

Ягайло. Дольше томится вино — потом крепче ударит в ноги. Сколько знамен двинул Магистр на твою Литву?

Витовт. Не менее двадцати, брат. Полки Валленрода.

Ягайло. Двадцать? Стало быть, тридцать полков еще стоят у Магистра в запасе... Тридцать...

Витовт. Конница моя отступила. Весь

удар немцев приняли на себя смоленские полки князя Юрия.

Ягайло. Так и было решено. Так и было. (К Юрию Лугвен.) Но устоят ли твои смоленцы? (Смотрит вдаль.) Устоят ли? Немцы бросят еще полки, и еще полки, и еще, и еще, пока не лопнет их спесь.

Витовт. Смоленцы устоят, брат.

Юрий Лугвен. Не сомневайся, король. Я погибну вместе со своими полками, но поля мы не уступим.

Ягайло. Благослови тебя бог, князь. (Обнялись.) Да хранят тебя ангелы, брат. Я буду ждать гонца от тебя. Твой знак — источается сила Магистра и я поднимаю знамя! (Витовт и князь Юрий уходят.) Збигнев! (Вошел Олесьницкий.) Пошли гонца к предводителю чехов — рыцарю Яну Жишке, пусть немедля ведет свой полк на подмогу смоленцам.

Олесьницкий. Слушаю, государь. (Уходит. Возвращаются польские рыцари)

Зындрам. Ваше величество! Смотрите! Немцы теснят и давят! Наше знамя пора поднимать!

Рыцари. Пора! Пора!

Ягайло. Тише! Здесь вам не сейм! Нет, не пора. Еще дух мой не укрепился к битве... Еще две обедни я должен прослушать...

Зындрам. Мы сами поднимем знамя!

Ягайло. Сами? Кто из вас сделает это, тот пожалеет, что родился на свет! (Уходит в шатер.)

Занавес

☆

Сцена вторая

Ставка Магистра вблизи Грюнвальда. На вершине холма развевается большое знамя Ордена — на белом полотнище чёрный крест. Мимо проходят войска. Мы не видим рыцарской конницы, но за холмом проплывают штандарты, щетина копий с развевающимися пестрыми значками, звон оружия, грохот и лязг... На холме стоит Великий Магистр в роскошных золоченых доспехах, сверкающих на солнце, опираясь на меч в ножнах. Рядом с ним Куно фон-Лихтенштейн и Марквард Зальцбах. Иностранцы гости — крестоносцы — стоят группой ниже Магистра. Здесь — Паоло Сальвари, Машмура, Ланнуа, Фабриас и Готфрид. Возле штандарта на барабане сидит Кунигунда фон-Альфлебен, рядом с ней — хнехт Генрих с огромным боевым рогом. Магистр (к проходящим войскам). Доблестные крестоносцы, бросайтесь вперед!.. Вперед острые копья, на крыльях немецкой славы, вперед!.. Пусть будет много разрубленных го-

лов, много коней без всадников, много жратвы для жадного воронья, много отрезанных рук, отрубленных ног, выколотых глаз; пусть кровь и мозг испитают землю, не опускайте своих мечей ни на миг; трудитесь на божьем поле без усталости, пока не сметете с лица земли всех неверных врагов!.. Знамя Ордена выше, выше! Вперед, рыцари!.. Хильф гот!.. (Гром восторженных кликов звучит в ответ Магистру, завывают рога и, сплетаясь с их трубным воем, в проходящих войсках возникает рыцарская песнь.)

Рыцари. Воскрес Христос!

Христос воскрес!

Он сломил рога дивола,
Архангел огненным мечом —
Нам путь укажет в рай!

Христос воскрес, воскрес Христос!

(Входит Валленрод — весь закованный в сталь, в шлеме с опущенным забралом подобном птичьему клюву.)

Валленрод (поднимает забрало). Великий Ульрих! Я выслал вперед четы-

ре тысячи арбалетчиков и под их
стрелами литовские полки уже начали
пятиться назад!.. Сейчас я ударю на
них и на чехов со всей своей конни-
цей, и, язы христовы, устрою на
этом поле жирную пахоту! Хильф гот!..
Зальцбах. Помни: за Литвой стоят
Смоленские полки. Там ты встретишь
особенное упорство.

Валленрод. Упорство? От пеших му-
жиков в веревочных латах! Да они
верно дерутся деревянными ложками,
а не мечами! Мне некогда слушать
твои шутки!.. До встречи за обедом!..

(Уходит.)

Магистр. Неистовый рубака! Он оп-
рокинет легион чертей, не только Смо-
ленские полки! Святая кровь! Как пе-
ресохла глотка... Дайте мне кубок
мальвазии. (Генрих поднес кубок. Ма-
гистр пьет.)

Кунигунда. Какое дивное зрелище!
Как будто река вышла из берегов!

Ланнуа. Словно расплавленное сере-
бро заливает все поле!

Магистр (Фабриасу). Польша стоит?
Фабриас. Стоит на месте, Великий
Магистр!

Магистр. Король ждет! Хорошо!

Кунигунда. Врезались! О, Валлен-
род!

Лихтенштейн. Клином рассекает
литовские полки!

Магистр. Вон знамя Совы уже как
далеко!.. Наш рубака ловко шинкует
капусту! Боюсь, благородные крейцхе-
ры, что он ничего не оставит нам!

Кунигунда. Какая густая пыль! Все
закрыло! Досада! Ничего не видать!

Магистр. Не огорчайся. Ты увидишь,
как я сам поведу полки на русских.
Там будет жатва еще жарче! Господа
гости, хорошо ли вы наточили свои
мечи? Скоро настанет черед и для ва-
шей доблести!

Сальвари. Мой остер, как бритва!
Раны от него не принесут дохода ле-
карям!

Машмура. А я всегда иду в бой с тупым
и забуренным мечом и натачи-
ваю его о панцыри врагов!..

Кунигунда. Пыль опускается! Вон,
вон знамя Совы!

Лихтенштейн. Господь дает нам
победу! Смотри, смотри, магистр! Ли-
товцы уже бегут! Наше правое крыло
гонит их перед собой! Виват! Слава
Господу сил!

Магистр. Да, да, верно! Литва бе-
жит!.. И сова Валленрода крепко дол-
бит их спины железным клювом! Что ж,
Марквард, пора! (Фабриасу). Польша
не движется?

Фабриас. Нет, не движется, Великий
Магистр!

Магистр (Лихтенштейну). Мой стар-
ый верный волк, мой Куно, начинай
атаку левым крылом!

Зальцбах. Подождем немного...

Магистр. Нет, нет, пора!

Зальцбах. Взгляни, черная сова боль-
ше не летит вперед! Валленрод столк-
нулся со смоленскими полками!

Кунигунда. Пыль опять поднялась!
Ланнуа. Словно гигантский костер!
Кунигунда. И мечи сверкают, как
тысячи искр!

Зальцбах. Там идет страшная сеча.
Подождем атаковать поляков!

Магистр. Ты боишься, что придется
помочь Валленроду?

Зальцбах. Да!

Магистр. Нет! Смоленские мужи-
сейчас побегут. Иди же, Куно, я два-
жды приказывать не привык!

Фабриас. Великий Магистр! Все поль-
ское войско вышло из лагеря и, спеш-
но строя полки, движется на нас!

Магистр. Святая кровь! Да, да! Они
выходят из-за леса! И впереди корс-
левское знамя! Подлая польская лиси-
ца! Спешите же, Куно! Ударь на них
как гром, пока они еще не успели раз-
вернуться!

Лихтенштейн (иностранным рыца-
рям). На коней, крейцхеры!.. На коней
(Уходит, за ним — Машмура и Ланнуа.
Кунигунда. Да хранит вас дева Ма-
рия!)

Сальвари. Чорт побери, у меня лоп-
нула пряжка на бригантине! Я вас до-
гоню! Где мой портной? (Уходит в
другую сторону.)

Магистр. Проклятье!.. Поляки, даже
не развертывая строя, идут в атаку
Мы опоздали. Марквард!.. Что же мед-
лит Валленрод? Неужели он не может
сломить этих смоленских дровосеков?
Ведь поляки ударят ему в тыл!

Зальцбах. Надо двинуть венгерских
наемников в заслон.

Магистр. Верно! Ступай! Духи ада!
Кажется, крыло Валленрода начинает
отступать?

Кунигунда. Знамя Совы упало!
(Вбежал окровавленный, измученный
голец.)

Гонец. Великий Магистр! Маршал Вал-
ленрод просит подкрепления!

Магистр. Что? Ни война... Ни одного
копья!.. Что там творится, говори!

Гонец. Русские, что стояли позади Лит-
вы, остановили нас. Они вкопали в зем-
лю сотни острых кольев, и кони наших
первых рядов повисли на них распоро-
тыми брюхами... Они подрезают косами
ноги лошадей и крюками стаскивают
рыцарей с седла и стоят так крепко
что храбрейшие наши паладины поло-
мали свои копья и иступили мечи, ко-
ни на шаг не могут продвинуться
вперед...

Магистр. Почему упало ваше знамя?
Гонец. Маршал Валленрод ранен в че-

вертый раз, а знаменосец пал. Великий Магистр, там суший ад и все истомлены! Помоги!

Магистр. Хорошо! Я сам поведу центральные полки! Эй, дайте щит! Трубы, трубы! (Генрих завыл в огромный рог.)
Кунигунда. Ульрих! Надень на шею мой шарф! Клинки врагов застучатся в нем! (Магистр и оруженосцы уходят.)

Фабриас. Взгляните, знамена Лихтенштейна теснят поляков!

Кунигунда. И знамя Совы снова помялось! Мой Ульрих повел полки!.. Как золотой бог, он мчится вперед! Нет его никто не остановит!.. Генрих, на моем коне скачи в Мариенбург, по всем дорогам Германии труби: войско Магистра сокрушило неверных! Победа!..

Занавес

★

Картина восьмая
ИНТЕРМЕДИЯ

Перед опущенным занавесом пробегает Генрих, останавливается посередине, трубит на три стороны.

Генрих. Объявляется всему христианскому миру, что крестonosное войско Великого Тевтонского Магистра в ужасном и кровавом сражении под Грюнвальдом разбило, рассеяло и уничтожило армии неверных литовцев, русских, чехов и поляков и их татарских союзников, положило на месте триста тысяч сарацин и взяло в плен миллион рабов!.. Слава павшим крестonosным рыцарям!.. Слава живым!.. Слава!.. (Убегает. За сценой снова трижды звучит его рог и раздается голос: «Объявляется всему христианскому миру...», но вой труб заглушает дальнейшие слова.)

Занавес поднимается

Сцена третья

Поле Грюнвальда. У кольев, торчащих из земли, груды человеческих тел и оружия. В сумерках затихает битва, уже дерутся поодиночке, усталыми онемевшими руками едва наносят друг другу удары.

Рыцарь Машмура бьется со смоленским ратником Порфишкой. Сальвари, ускользая от топора Вячки, пытается убежать, но безуспешно.

Вячка. Стой, стой, рыцарь, не беги!..

Сальвари. Пощади!.. Ты получишь за мою жизнь богатый выкуп!.. Пять тысяч червонцев, ты слышишь, мужик?.. Пять тысяч!..

Вячка. Ну, ну, ништо, не дрожи; коли драться не хочешь, так вот, одевай лычко на шею!..

Сальвари. Веревку?.. Никогда!.. Позор!.. Я — знаменитый рыцарь!..

Вячка. Пойдем к боярину, он тебя разберет, пойдем!.. Порфишка, да стукни ты своего чучела с плеча!..

Порфишка (все время бьет обухом Машмура по шлему и по щиту, тот уже не отвечает на удары, стоит, как листулка, лишь слегка покачиваясь). Кой час молочу, молочу, а зерна не видать! Ну, и крепкий же лыцарь!.. Уф-ф!..

Вячка. Эва!.. Дай-кось я садану!..

Порфишка. Не замай!.. Сам управлюсь!.. (Еще раз звонко ударил Машмура обухом по шлему, но тот покачнулся и опять устоял.) Э-э! (Вздыхнул Порфишка.) Ведь поди он внутрях весь разбит, а не валится!.. Хоть бы что!..

Вячка. А ты под микитки его!.. Там потоньше!..

Порфишка. Разве так!.. (Легонько ткнул топориком Машмура в живот, и рыцарь, влезавно, со звоном грохнулся наземь.)

Вячка. Царство ему небесное!.. Глянька, там еще наши дерутся!.. Пошли! (Уходят!.. На поле появляется Великий Магистр без шлема, в иссеченных доспехах, в ободранном плаще.)

Магистр. Святая кровь! Большой рог уже замолчал! Все, все погибло! Победа была в руках, но проклятые мужики-кнехты бросились бежать!.. Чехи ударили в тыл!.. Кульмские пруссы показали хребты врагу!.. Измена! Измена кругом!.. Га! Кто тут? (Вошел Зальцбах) Ты еще жив. Марквард?

Зальцбах. Великий Ульрих, бежим. Вот черный плащ, закрой им свои золотые латы! Скорей! (Входят Иванко и Юрий Лугвениевич.)

Иванко. Магистр! Вот мы и встретились с тобой!

Магистр. Ты кто? Я не знаю тебя, раб! (Меч Магистра — топор Иванко звонко ударили по щитам.)

Юрий Лугвениеч. Долой оружие, немцы! Кончилась ваша сила! На колени!

Зальцбах. Я сдаюсь! Вот мой меч.

Магистр. А вот мой! (Наносит страшный удар Иванко, тот падает. Магистр вторично поднимает над ним меч, но маленький отрок в кольчужке и закрытом шлеме появился сзади, бросился, повис на руке.)

Отрок. Вставай, Иванко! Вставай!
 Магистр. Щенок! (Отшвырнул отрока, вбежал Большой Карл.)
 Большой Карл. Наконец-то я нашел тебя, Великий Магистр!
 Магистр. Большой Карл? Ты украд меч Зигфрида, раб, и теперь поднимаешь его на меня?..
 Большой Карл. Бери свой меч! Бери! Я голыми руками справлюсь с тобой, Магистр! (Он бросил Магистру меч Зигфрида и, едва тот поднял его, Большой Карл, пригнувшись, пошел на Магистра)
 Магистр. Умри! (Меч Зигфрида сверкнул над головой Карла, но снова маленький отрок сбоку вцепился в руку Магистра. Карл схватил Магистра, поднял, сжал и сужасной силой швырнул на землю.) Святая кровь... (Умирая, простонал Магистр)
 Юрий Лугвен. Что ты сделал? Ты убил знаменитого пленника!
 Большой Карл. Я исполнил обет. Я сломал в его теле все кости. Наконец-то в эту ночь от Вислы до Рейна все люди заснут спокойно! (К отроку). А кто ты такой, птенчик? Ты спас мне жизнь! Кто ты? Подними-ка свой шлем!
 Отрок. Не все ли тебе равно? (Склонившись над Иванко.) Ты видишь, он ранен! Помоги поднять!
 Большой Карл. Иванко! У него разрублено плечо... (Карл начал перевязывать рану Иванко. Входят князь Витовт, король Ягайло, Олесницкий, Вингалла, чешский рыцарь Ян Жишка и Зиндрам из Машковиц)
 Олесницкий (Юрию Лугвен). Князь Юрий! Виват! Битву выиграли твои Смоленские полки! Слава смоленцам!
 Юрий Лугвен. Всем — слава в этот великий день! Тевтонский Орден низвержен! Вот конец немецкого самозванства!..
 Ян Жишка. Им — конец, нам — начало.
 Ягайло. Рыцарь Ян Жишка из Трочнова — предводитель табора чехов. (Жишка кланяется)
 Витовт. Я много слышал о вас. Ваше имя — Жишка — немцы произносят с дрожью.
 Жишка. Я тоже дрожу, когда вижу немецкого рыцаря. дрожу от желания его убить, ибо нет на земле народа, который больше страдал бы от них (указал на пленного Лихтештейна), чем мой чешский народ!
 Юрий Лугвен. Так это ваша дружина

пришла мне на помощь? Ну, ваши льды — настоящие львы!
 Жишка. Много их пало... много...
 Юрий Лугвен. Как и моих смоленцев...
 Ягайло. Много пало сегодня мужей достойных:
 (Ягайло. Витовт, Юрий Лугвениевич и остальные медленно уходят в даль туманного поля битвы. Очнулся раненый Иванко.)
 Иванко. Карл? Я думал, что ты убит.
 Большой Карл. Как бы не так! Кровь дракона покрыла мое тело, и сегодня все копья и мечи ломались с моей грудью, как тонкие хворостинки! (Смеется)
 Иванко. Ты все шутишь, прусс... Ну, вот, я опять на ногах! Дай обопрусь с твоей меч! (Отрок подставил плечо.) А ты кто? Я помню, ты в бою все время закрывал меня маленьким щитом от стрел! Подними-ка налобник! Ну, что ты упрямишься?
 Большой Карл. Он и сейчас поможет мне сразить Магистра! Ах выюн!
 Отрок (Карлу). Хорошо. Я покажусь тебе. Пусти. (Поднял налобник шлема.)
 Иванко. Ну, что за парень? С носом? С глазами? Может, у него рожки на лбу?
 Большой Карл. Избрана!
 Избрана. Я!
 Иванко. Ты... Ах же чортова девка! На войну прибежала? Ну, уж за косу я тебя?
 Избрана. Купцы приезжали, баяли, батька наш жив, у князя в чести, и мать твоя тетка Марфа жива!
 Иванко. Да, ну? Михалко... Матушка... живы... Так мы не сироты, Избранушка... (входит Ольга).
 Ольга. Иванко! (бросилась к нему). Сердце мое истомилось... Искала тебя, боялась — не убили бы... ты ранен?
 Иванко. Да, нет... Уже заживает. Олюшка... (оглядываясь вокруг). Ох, и широко же поле...
 Избрана. Широко...
 Иванко. Было, где развернуться. Немец — он тесноту любит, а мы, тевтонские, все норовим пошире...
 Избрана. Деревенька горит...
 Большой Карл. Грюнвальд...
 Иванко. Грюнвальд? Запомним. Коли спросят внуки, что такое Грюнвальд — скажу: было такое поле, где никто не успел хоронить злодеев, а похоронили их псы.

Занавес

КОНЕЦ

РАССКАЗЫ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

ДЖО

Я знал Джо до войны. Это был молодой пес, который, высунув язык, носился по заснеженным переулкам Замоскворечья. Видимо, его предки не отличались родовой спесью: у Джо были кривые короткие лапы и косматая непомерно большая голова. Мальцева дразнили: «Где вы такого красавца достали?..» Даже Тамара говорила: «Я понимаю — завести хорошую овчарку»... Она любила театр и красивую жизнь. А Мальцев был сутулым неразговорчивым филологом. Его увлекали толстые и скучные книги.

Джо знал, что нельзя тревожить Мальцева, когда он сидит у стола. Порой это было очень трудно: звонили, и хотелось с бодрым лаем кинуться в переднюю, или с кухни доносились дивные звуки — Лена скребла сковородку. Но Джо не решался приоткрыть дверь; он только подсапывал от душевного напряжения. Зато, когда Мальцев вставал, Джо начинал в восторге описывать по комнате круги. Этот пес был большим фантазером, и жизнь пополам вымыслом. Он закапывал камень в снег, потом разрывал воображаемую нору и, упоенный, мчался с добычей к хозяину. Мальцев научил его относить газету старику Гнедину, который жил в соседнем переулке; и Гнедин смеялся: «В Америке — пневматическая почта, а у вас, так сказать, собачья»... Мальцев молчал: он знал, что никто не поймет его привязанности к этой криволапой кудластой дворняжке.

Пришла война, и Джо очутился вместе со своим хозяином в лесу Смоленщины. Майор Соколовский острел: «Вы, может быть, из циркачей? Или немцев думаете испугать?..» Мальцев кротко отвечал: «Джо не дурак»... Рассказывая об этом, Соколовский хохотал: «Лейтенант Мальцев рассчитывает на стратегические способности своего молса, честное

слово!» А Джо тем временем бегал между деревьев и разрывал прелые листья — он еще не понимал, что такое война.

Потом все затряслось, Земля полетела к небу. Мальцев лежал в грязи, и это особенно испугало Джо — он почувствовал, что происходит нечто ужасное. Люди глядели на небо. Джо тоже поднял голову и, не выдержав, завыл. Мальцев рассмеялся: «Что, брат, струсил?» Увидев веселое лицо хозяина, Джо успокоился; он даже стал бить хвостом о землю, обрадованный и пристыженный. Не тогда снова раздался грохот. Джо увидел, что один из товарищей Мальцева схватился за голову. И Джо овладел страхом. Ему хотелось убежать. Но он тихо лежал, прижав голову к земле и не сводя глаз с хозяина. Ведь Мальцев здесь, он разговаривает с товарищами, помог перевязать раненого. Убежать? Нет, Джо не подлец! Он и не будет выть — Мальцев сказал ему: «Тише!». Джо еще слышно повизгивал. Он понял, что жизнь изменилась, что больше никогда не будет ни коврика, на котором он спал, ни Лены, ни часов блаженства, когда Мальцев шуршал страницами книги, а Джо снились чудные сны — то сосиски, выпавшие из кошелки старухи, то погоня за кошкой.

Так Джо победил страх. Налетели бомбардировщики. Рвались снаряды. Противно, будто кто-то стучит в дверь, трещал пулемет. На миге взорвался грузовик. Джо знал, что смерть повсюду — в небе и в земле. Но Мальцев не боится, значит, не нужно бояться. Хозяину тоже нелегко; наверно, ему приятней читать книги или гулять по набережной с Тамарой... В Москве Джо порой забывал про хозяина, — когда гонял гаек или когда дрался с нахальным бульдогом, проживавшим в том же переулке. Здесь Джо не отставал ни на шаг от Мальце-

за. Он любил его той простой всепоглощающей любовью, которую люди снисходительно называют «собачьей» и по которой они тоскуют всю свою жизнь.

Мальцев не сразу привык к фронтовой обстановке. Смерть его не пугала; он не боялся, что не сможет, как следует, воевать, не найдет слов, способных поднять бойцов: был он человеком книжным и малообщительным. Тамара писала редко, и письма были холодными. Мальцев знал, что пройдет месяц-другой, и она перестанет писать — ведь некогда она его не любила, только позволяла любить себя. Время было тяжелое; приходилось отступать; люди спрашивали друг друга: «Когда же их остановят?..» Мальцев воевал, сжав зубы. Джо напоминал ему о прежней счастливой жизни, о книгах, мечтах, о молодости.

А Джо переменялся; он теперь казался неизменно озабоченным. Давно привык он к артиллерийскому огню, научился поэти по открытой местности, прятаться в воронках. Как-то в деревне дыжкая собачонка кинулась к нему с вызывающим лаем. В былые времена Джо не уклонился бы от драки — был он еспыльчив. Но теперь он прошел мимо, даже не отругнувшись — он чувствовал, что занят чем-то очень важным.

Он спал в палатке и проснулся оттого, что Мальцев его погладил. В ту ночь Мальцеву было особенно горько. Накануне один из бойцов сказал: «Да разве их остановишь?..» Мальцев знал, что немцев можно остановить, но слова малодушья остались в голове, как привкус во рту, они не давали уснуть. Джо понял, что значит эта неуклюжая скупая ласка, и он прижал свой сонный шершавый нос к ладони Мальцева.

Зима в тот год была ранней и суровой. Когда Мальцев ходил на КП в деревню Журавлевку, Джо поджимал озябшие лапы. Больше недели они стояли на холме у замерзшей речонки. Джо перебежал от одного пулемета к другому. Бойцы с ним свыкались; он придавал видимость уюта и спокойствия: собачонка напоминала про мирную жизнь.

Джо в тот день было холодно и грустно. Он не понимал, почему они не идут в деревню. Там — толстый майор, он каждый день играл с Джо... А сегодня что-то случилось. Джо не знал, что немцы прорвались к дороге на Круглово. Он не знал, что есть приказ — стоять насмерть. Джо только видел, что Мальцеву не до него, и, прижав виновато уши, Джо старался стать незаметным.

Мальцев был внешне спокоен, но все в нем кипело. Боеприпасы на исходе. Нужно открыть артогонь по дороге на Круглово... А рация не работает. Проводочная связь оборвалась. Мальцев потребовал послать двух бойцов в Журав-

левку; одного убили, другой приполз назад раненый. Если не доставят боеприпасов, немцы вечером возьмут их голыми руками... Мальцев не думал ни о себе, ни о товарищах. Он был одержим одним: остановить немцев! Открытый огонь по дороге на Круглово в этом был весь смысл той жизни, которая прежде ему казалась сложной и непонятной.

И вдруг Мальцев понял: послать Джо Он смастерил из рубашки маскхалат для собаки. К ошейнику привязал записку: «Боеприпасы кончатся. Продержимся до 16 00. Огонь по дороге на Круглово, левее роши». Он показал Джо: «Беги! К майору беги!» Но Джо не понимал. Он видел, что хозяину нужна его помощь, но не знал, что он должен сделать. Не отрываясь, он глядел на Мальцева, и в его собачьих глазах была тоска. Тогда Мальцев дал ему старую газету, оставленную на раскурку. Джо схватил в зубы газету и поглядел — куда? — Он догадывался, что нужно пойти в деревню, куда ходил каждый день с хозяином. Мальцев показал: беги! И Джо пополз.

До Журавлевки было три километра. Джо полз, останабливаясь, нырнул в снег и снова выплывал. Он боялся потерять газету, и ему трудно было дышать. Вначале он полз ложбинкой; потом начался подъем. Джо хорошо помнил дорогу. Было тихо. Джо дополз до высоты, когда начался обстрел. Он свернул направо и стал ползти зигзагами — так он ходил с Мальцевым. Вдруг он почувствовал сильную боль. Он замер. Осколок мины раздробил его задние лапы. Он лежал недвижимый. Потом сознание вернулось к нему. Он взвизгнул и сразу вспомнил: нужно отнести газету. Он напрягся и пополз, вернее поплыл, загребая снег передними лапами.

Он поспел во-время: КП перебирался на новое место. Майор, прочитав записку, крикнул: «От Мальцева!..» Происходило это в крайней избе, где жил майор. «Свяжись с Редько... Пирогову скажи: левее роши...» Майор был взволнован и торопил адъютанта. Возле избы стояла «эмка». Никто не обращал внимания на Джо. А он видел, что газета, ради которой он приполз сюда, валяется на полу. Он тьякал, хотел сказать: подымите газету!.. Но людям было не до него. Майор и трое других вышли из избы. Джо остался один. Он с трудом пополз — хотел вернуться к хозяину, но не смог открыть дверь. Он пролежал в этой избе вечер, ночь и день. Его мучала жажда; сухим языком он лизал разбитые лапы. Шумели тараканы. Джо с тоской думал: где Мальцев? Снова стемнело, и пес почувствовал всю тяжесть одиночества. Он хотел завывать, но не смог. Он забылся; ему показались,

что он — щенок, а мать ушла. Он искал ее и не мог найти; и в бреду он плакал — где Мальцев?..

А Мальцев был счастлив. Когда начался обстрел дороги на Круглово, он понял, что Джо добрался. В 16.00 было уже темно, и рота Редько пришла вовремя. Мальцев спросил, где собака? Никто не знал. Редько пришел из Некрасовки. На рассвете немцы пробовали атаковать, их отбили. Потом пошли в атаку две роты — Мальцева и Редько. Им удалось отбросить немцев от дороги на Круглово.

Когда стемнело, Мальцев отправился в Журавлевку: связи не было, и он думал, что КП на старом месте. В пустой избе, где прежде жил майор, он увидел Джо. Пес очнулся и хотел вскочить, но не мог приподнять головы. Только хвост его чуть вздрогнул, и все, что было в его собачьей душе, выразилось в глазах — он взглянул на Мальцева. Мальцев отвернулся. Потом он наклонился, погладил Джо, помолчал, еще раз погладил,

и, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил. Он вышел из избы, не оглядываясь. Нужно было розыскать КП.

Теперь Мальцев подполковник. На его груди ленточки орденов и ранений. Кто узнает в этом уверенном опытным командире застенчивого филолога? Он нашел путь к сердцам людей, узнал крепкую дружбу, полк для него стал домом. Он многое видел. Он видел кровавый дым над Сталинградом и колодец с детскими трупами. Его глаза приобрели тот тяжелый тусклый блеск, который выдает людей, видевших больше, чем положено человеку. Недавно я с ним встретился. Мы весь вечер проговорили в темной сырой землянке о верности и ветренности, о том, как трудно распутать клубок себялюбия и благородства. Мы вспомнили довоенную Москву, тихий переулок Замоскворечья. Тогда Мальцев сказал мне: «Вас это удивит, но я не могу забыть глаза Джо, когда он увидел в моей руке револьвер»...

МАРГО

Звали ее все Марго. Она, кажется, сама не помнила, что в ее бумагах значилось: «Маргарита-Луиза Монробер». Хозяйка шляпной мастерской говорила: «Марго, сделайте модель позабавней — это для той сумасшедшей американки». Старик-почтальон улыбался: «Вам письмо еще не написали, мадемуазель Марго». И бедняга Жан, сжимая теплую, доверчивую руку девушки, вздыхал: «Марго!.. А, Марго!..»

Вздернутый носик, маленький круглый рот, вишневый от помады, смешливый взгляд, на лбу чолка. Мало ли таких мастериц в Париже? Но Марго всем нравилась. Когда она шла по улице, прохожие оглядывались, а угольщик Жюль щелкал языком: «Ну, и шельма!» Консьержка, сварливое существо с рыбьими глазами и с пальцами, похожими на вязальные спицы, попрекала своего мужа: «Перестань пялить на нее глаза...»

Все это было давно: до войны. Иногда Марго снится веселая толпа, визг, карусели, хризантемы, голубые сифоны и певич, который на площади Итали поет: «Париж, моя деревня»... Просыпаясь, Марго долго трет кулачком глаза, а потом плачет. По улицам ходят солдаты в серо-зеленых шинелях, злые и чужие, нет сил сказать — до чего чужие. Зачем они пришли? У немцев тяжелые башмаки, и они ступают, как будто хотят вытоптать синий асфальт. А Жан — в плену. Старик-почтальон, виновато

улыбаясь, говорит: «Мадемуазель Марго, письмо немцы съели». Жюль стал скучным и чистым. Вывеска «Уголь» осталась, но угля нет. Консьержка даже перестала пилить мужа. Только хозяйка мастерской не унывает: «Марго, нацепите что-нибудь такое на зеленую шляпу. Это для жены немецкого полковника».

Марго думает: где же Париж? Все на месте: и улицы, и каштаны, и церковь Мадлен, и кафе «Рояль». На террасе немецкие офицеры пьют коньяк, хохочут, пишут открытки. А Парижа нет. И Марго нацепляет оранжевый бант на шляпу: это для жены немецкого полковника.

Люси спрашивает:

— Что грустная? Думаешь о Жане?

— Нет, Я ни о чем не думаю.

Хозяйка жалуетса:

— Ходят без шляп, как в Испании...

Не знаю, что с нами будет?

Марго отвечает:

— Выживем. Или умрем.

Ей двадцать лет, но она рассуждает, как бабушка.

Вечером она подымается к себе. У нее комната под самой крышей: душная, раскаленная клетка. На столе золотая корона из бумаги: подарок Жана. Это было на масленой перед войной. Они танцевали до утра.. А на стене яркие открытки, виды Парижа: несутся красные машины, бьют фонтаны и треплется трехцветный флажок.

В горячий вечер августа Жюль зазвал ее к себе. Она не хотела итти. Жюль подмигнул:

— Ты такое услышишь...

Жюль угостил ее шоколадом и ликером. Откуда только раздобыл? Она выпила рюмку, и вдруг ей стало смешно: ведь был Париж, она танцевала с Жаном, пила ликер. Ничего больше нет. Она выпила еще рюмку. Жюль поспешно ее обнял. Она покачала головой:

— Не нужно.

Он смутился:

— Ждешь Жана?

— Нет. Я больше ничего не жду. Знаешь, Жюль, я любила целоваться. А теперь нельзя. Теперь у меня нет сердца... — Она вдруг вспомнила: — Ты звал меня что-то послушать?

Он посмотрел на часы:

— Через пять минут... Садись сюда, а то не услышишь: они заглушают. Я тихо пускаю. Соседей нет, но все-таки страшно — вдруг пронюхают!..

Раздался смутный вой, как будто где-то очень далеко кричала сирена. Потом поступили слова: «Армия Свободной Франции...» Марго удивленно наморщила лоб:

— Какая армия? Ведь армии давно нет...

— Слушай...

Марго припала к деревянной коробке: «Боритесь с немцами... вредите... уничтожайте...»

— Жюль, зачем это говорят?

— Чтобы боролись.

— А ты?..

Он рассердился:

— Я слушаю радио, это уже кое-что. Только смотри — никому ни слова.

Два дня спустя, увидев Марго, Жюль обомлел. Глаза ее лучились, вишневый рот выделялся, как свежая рана. Жюль в злобе спросил:

— Значит, сердце нашлось?

— Нашлось.

Перемену заметили и в мастерской, дразнили, допытывались: кто? Марго отпучивалась. Так продолжалось несколько дней: Марго цела, а Жюль, мастерицы, кумушки ломали себе голову: с кем она спуталась?

Тайну раскрыла консьержка. Рано утром, потрясая шваброй, она в десятый раз рассказывала:

— Нет, вы никогда не догадаетесь... Это такая дрянь! Я что-то почувствовала, встала... И можете себе представить — это был немец, настоящий немец..

Соседки негодовали:

— Подумай только!..

— Он в плену, а она не скучает..

— Таких скоро высекут, разденут и высекут, как в восемнадцатом.

Жюль, увидав Марго, сказал:

— Вот для кого твое сердце?

Она спокойно ответила:

— Да. Для него.

Консьержка караулила всю ночь, подымалась по лестнице, прислушивалась. В комнате Марго было тихо. Утром девушка, как всегда, пошла в мастерскую. Хозяйка уже знала о ночном происшествии. Поджав лиловые губы, она сказала:

— Говорят, что Марго нашла себе кровителя.

Все мастерицы смотрели на Марго. Она ничего не ответила. Из мастерской она пошла в кафе «Рояль». Там ее и схватили. Она пила коньяк с немецким офицером и задорно улыбалась. Полицейские сжали Марго руки.

Напрасно офицер запротестовал: «Это очень хорошая девушка», полицейские поспешно втолкнули Марго в машину.

Они долго подымались по узкой винтовой лестнице. Полицейский спросил:

— Где выключатель?

— Лампочка разбита.

В комнате было нестерпимо душно. Полицейский судорожно зевнул. В окно была видна желтая ушербная луна. Полицейский осветил карманным фонариком. Стол, на нем лоскутки, крошки хлеба и большая золотая корона. На стене цветные открытки. На кровати спит немецкий офицер. Полицейский поднес фонарик к лицу и сразу отдернул руку: тонкая полоска засохшей крови шла от рта до пола.

— Ножом?

Марго покачала головой:

— Нет. Я взяла у консьержки молоток, я сказала, что нужно прибить штору — пропускает свет. Ножом это после.. Мне показалось, что он дышит, тогда я перерезала шею. Молоток я отдала, а нож не тот, что вы взяли. Этот — чтобы резать хлеб — он в шкафу...

Долгашивал ее полковник, седой и голубоглазый. Он все время глядел на свои длинные отполированные ногти. Чорт знает что, эта девчонка ему нравится! Настоящая парижанка.. Он отогнал от себя эти мысли. Он спрашивал с подчеркнутым равнодушием:

— Женщина Монробрер Маргарита-Луиза, расскажите, как вы совершили преступление?

— Я уже говорила.. Сначала он не хотел итти, говорил, что лучше в гостинице. Но я ему сказала, что я не такая, что я не за деньги, а от чувства. Он пошел за мной. В комнате он хотел меня обнять. Я вырвалась. Он нечаянно разбил лампу. Видно было елва-елва — луна, но окошко маленькое. Я сказала: «Лежи тихо, я сейчас разденусь».. Я взяла молоток и очень сильно ударила — по голове. Потом я испугалась, что он очнется. Я его резала, долго резала, пока не рассвело.

— Вы знали прежде лейтенанта Эрнста Шульце?

— Нет, я познакомилась с ним в тот вечер. Я увидела, что стоит офицер, и улыбнулась ему. Он предложил пойти с ним в кафе. Я пошла.

— Зачем вы на следующий день после совершенного преступления заговорили с капитаном Рудольфом Зейером?

— Я не знаю, как его зовут. Он сидел в кафе. Я хотела увести его.

— К себе?

— Нет. В гостиницу,

— Зачем?

— У меня был складной нож. Его отобрали полицейские...

Поковник не выдержал и посмотрел на Марго. Она улыбнулась. Он сказал:

— Вы производите впечатление душевнобольной.

— Я здорова.

— Тогда зачем вы это сделали?..

— Вы сами сказали... Я — Маргарита-Луиза Монробрер. А тот был немец. В кафе сидел немец. И вы — немец. Я знаю, что где-то есть армия. Но я не

умею воевать. Я обыкновенная мастерица. Я сделала, что смогла.

Поковник больше ее не слушал. Он крикнул: «Увести!» и подошел к окну. Он долго глядел на желтый обломок луны и повторял: «Сумасшедшая». Ему было не по себе.

Марго повели на казнь ранним утром, когда в серо-розовом тумане едва обозначились далекие дома с прикрытыми ставнями и несколько чахлых, как бы обглоданных деревьев. Ей хотелось еще раз взглянуть на Париж, но она вздохнула: Парижа нет. Может быть, сы в плену, как Жан? Или за морем, где армия? Она вспомнила школьную книгу: сейчас нужно петь «Марсельезу», но она не знает слов, а нужно петь — исто они подумают, что она боится. И Марго запела: «Париж, моя деревня»... Фельдфебель крикнул: «Петь запрещается!»

Кругом серо-зеленые. Ни одного француза... Испуганный топотом солдат, с дерева поднялся воробей. И Марго, шевеля губами, распрощалась с ним: «До свидания, милый».

*

АКТЕРКА

Когда молодой актрисе Лизе Белогорской сказали: «Вы поедете на фронт», она готова была разрыдаться от счастья. Ее извели сомнения. Кому нужны монологи выдуманной героини, когда каждый вечер хриплый голос репродуктора твердит о взорванных городах, об убитых детях? Лиза писала в своем дневнике: «Я вышла в жизнь, когда жизнь затемнили».

Она играла в небольшом, прежде тихом городе, переполненном беженцами; они жили, как на полустанке, боясь продать чемоданы и забыть прошлое. У всех были близкие на фронте. Шаги письмоношцев, усталых и замерзших, звучали, как шаги судьбы. Армия отступала. Возле здания горкома люди слушали сводку, не смея заглянуть друг другу в глаза. Домашние хозяйки, жены майоров, консерваторки ожесточенно взрывали землю и готовили снаряды.

В театре ставили старые трагедии, всенние мелодрамы. «Зачем это?» — спрашивала себя Лиза. Все казалось ей ненужным и стыдным: яркий свет ramпы, румяна, реплика героини: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет...» Когда Лиза бывала свободной, она прислушивалась к разговорам в фойе; говорили о хлебе, о раненом муже или брате, о том, что немцы в Краснодаре. Лиза шла к себе: Она жила в темном углу, среди старух и детей; там она писала: «Я не могу больше кривляться».

Что приковывало ее к сцене? Она допрашивала себя с той взъерошенностью, которая присуща очень молодым и честным натурам. Не честолюбие, а слепое и, как ей порой казалось, глупое преклонение перед искусством. «Ломачка», говорила ей когда-то мать. А Лиза не ломалась: она чувствовала себя то Анной Карениной, то тургеневской Асей, то слепой цветочницей с экрана. Ее считали холодной, а она терзалась, не спала по ночам. Эта смуглая синеглазая дикарка была одинока; мать давно умерла; товарищи ее чуждались: чем-то она их тяготила. Перед войной инженер Пронин сказал ей: «Давайте жить вместе». Это было вечером в городском саду. Инженер ей нравился; а, может быть, и не он — май, жасмин, молодость. Он обнял ее, она вырвалась и стала говорить о том, как трудно друг друга понять. Он усмехнулся: «Актерка»... Больше они не встречались.

Она часто ругала себя актеркой. Она проклинала сцену и все же, входя утром в театр, вдыхая холодный пыльный воздух, запах клея и сырости, глядя на черные густые кресла, в которых сидели призраки музыки, Лиза понимала, что ей от этого не уйти.

Говорили, что есть у нее талант, что она сможет стать настоящей актрисой; но она чувствовала — чего-то ей не хватает. Чем больше она думала над своей ролью, тем дальше уходила от пьесы,

от партнеров, от зрителей. Иногда она обвиняла репертуар: она играла то девушку, в давние времена сгоревшую от любви, то партизанку, которая между боями произносила длинные речи. Лизе казалось, что любви больше нет и что нельзя так красиво говорить, когда рядом умирают. Мир заполнился другими героями. Разве не переживает Лиза подвига Гастелло? Разве не идет с Зоей на виселицу? Разве не повторяет клятвы двадцати восьми? И Лиза писала: «Жизнь стала такой большой, что в ней теперь нет места для искусства».

И вот ей сказали, что она поедет на фронт. Она шла и улыбалась: «Неужели это правда? Неужели я смогу хотя бы на минуту порадовать тех, чистых и больших?»

Актеры ехали радостные и взволнованные; потом все притихли — они увидели то, о чем прежде только читали: грубы сожженных сел, обломанные деревья, черные пятна на снегу, женщин с детьми, которые копошились в пепле.

Заночевали в уцелевшей избе. Хозяйка, молодая, изможденная, с чересчур большими глазами на узком увядшем лице, рассказывала: «Я моего в снегу скоронила. Потом думаю — замерзнет мальчик. Взяла его в дом обогреться. Пришел паразит, кричит — приказ — угонять. Я держу, не пускаю. Здесь он стоял у печи... Он как ударит мальчика... Бросилась я к нему, а он меня не признает. До ночи промучалась...». Женщина вздохнула и стала мешать угли в печи. Лиза забыла о том, для чего она приехала. Рядом с таким горем исчезали все слова, все жесты. «Не улыбаться, не говорить, а если что делать, то только стрелять», думала Лиза, ворочаясь ночью в жарко натопленной избе. Утром она увидела трупы, развороченные машины, обрубки лошадей. Везли раненых; они молча глядели на пустое зимнее небо; ездовой бил в ладоши, и рукавицы были, как деревянные. Лиза сказала певцу Бельскому: «Зачем мы приехали? Нас прогонят»...

Концерт устроили в здании школы; при немцах здесь помещалась комендатура. В комнате, куда провели актеров, валялись автоматы, жестянки от консервов, немецкие бумаги. Лиза сняла ватник, валенки. Ее рука дрожала, когда она клала краску на сухие, растрескавшиеся губы. Она надела длинное шелковое платье. Ее испуг показался искусной игрой, и зрители насторожились. Это были саперы; еще вчера они ползали по снегу, выискивая мины. Волнуясь, как никогда дотоле, Лиза читала стихи о любви, которая убивает, о дереве, о верности. Она вдруг почувствовала, что каждое ее слово доходит до этих хмурых небритых людей. Ей долго аплодировали; она в ответ улыбалась, слабо и

беспомощно — ведь она отдала свое сердце, как донор дает кровь. Вернувшись в комнату, где сидели актеры, она ответила Бельскому: «Не знаю... кажется, хорошо» — и схватилась за косяк двери, чтобы не упасть.

Они выступали на аэродромах, в госпиталях, в лесу. Иногда концерт обрывался на крике: «Боздух!» Лиза узнала, как рвутся фугаски. Ей пришлось лежать на вязкой рыжей глине. Она ночевала в блиндажах, и канонада стала для нее привычным, почти домашним шумом. Толстый генерал поил Лизу мадерой, приговаривая: «Я ведь старый театрал, в Свердловске я не пропустил ни одной премьеры»... Летчик, подросток с золотой звездой на груди, самоуверенный и застенчивый, говорил ей: «Вы мне напомнили мою первую любовь»... Пришел май, с его внезапными громкими ливнями, с кукованием в лесу, когда хочется что-то загадать, с глупыми шутками и с головкружением.

В один из последних вечеров Лизу провожал майор Доронин. До войны он был студентом-химиком. Они говорили о весне, о Толстом, о том, что у всех когда-то было детство; говорили, потому что боялись молчать. И все-таки наступила минута, когда они замолкли.

Они встретились четыре дня тому назад. Доронин тогда помогал актерам разместиться в деревне. Лиза сразу им залюбовалась, хотя он и не был красив. Проверяя себя, она спрашивала: «Почему? Ведь я видела многих, как он»... И тотчас возражала себе: «Неправда! Впервые я встретила такого человека. Конечно, на вид он обыкновенный, он не актер. Но все в нем необычно. И строгие глаза, и слова о Лермонтове, и то, как он сказал: «Вы не рассердитесь, если я буду вас звать Лизой?»

«Значит завтра уезжаете?» — Доронин остановился. Тогда Лиза положила руки на его плечи, и первая его поцеловала. По черному небу шла зеленая ракета, как одинокая и заблудившаяся звезда.

Когда Лиза вернулась в свой город, все ей было чужим и непонятным. Она не могла слушать разговоры о распределителе или о том, что Валя сошла с директором. Один из актеров сказал: «Сегодня пустая сводка — ничего не взяли». Лиза вспыхнула: «Не смейте так говорить! Ведь это — бой, кровь...» Театр показался ей будничным: скучают, по привычке хлопают и спешат к вешалке... Как она тосковала по тем зрителям!.. Она носила на груди талисман: номер полевой почты. Не хотела писать, ждала, что напишет он; потом смирилась: «Ему некогда, они наступают...» Она написала короткое письмо, стараясь скрыть свою страсть, ревность, тревогу. Ответ пришел ласковый, но горький. Лиза в гневе скомкала листок. Доронин

писал, что в жизни много детского, что он показался ей интересным на фронте, но когда кончится война, она найдет его скучным и заурядным, она ведь актриса, ее ждет бурная жизнь («сто жизней», писал он), а Доронин, если не вмешается в дело мина или пуля, станет обыкновенным химиком.

Она оскорбилась, хотела вырвать из сердца чувство, уговаривала себя: «Он прав. Я играла и заигралась, я не умею отличить правду от вымысла»... Минуту спустя она сдавалась: «Он говорит так, потому что не любит. А я теперь знаю, что одно дело играть умирающую, другое умирать»... Так металась она неделю, а потом написала Доронину страстное, бестолковое, как она сама говорила, «бабское» письмо; она клялась в любви, писала: «Если ты захочешь, я брошу сцену. Я могу жить без искусства, но не без тебя»... Когда она опустила письмо в ящик, ей стало страшно: «Вот и конец актерки!»

Она долго ждала ответа. И вот пришел письмоносец, привыкший к вскрикам радости и страха, равнодушно он протянул ей то письмо, которое она с трепетом опустила в ящик. На конверте было написано: «Выбыл из части». Она пролежала весь день. Вечером она играла, лурно играла, машинально повторяя за-

тверженные фразы. Она знала, что Доронин убит. Началась поддельная жизнь; вставала, одевалась, репетировала, обедала, чувствуя, что все это — вымысел.

Потом снова пришел письмоносец и она прочитала: «Дорогой товарищ! Я должна сообщить вам печальное известие. Ваш жених, майор Доронин скончался в нашем эвакогоспитале. Мы делали все, чтобы его спасти, но ранение было очень тяжелое. Он был мужественным до конца, просил меня написать вам и переслать его ручные часики. Я старая женщина и я, как мать, прижимаю вас к своему сердцу»...

Лиза сказалась больной. Ее не видели два дня. Потом она пришла в театр. Она играла нелюбимую роль; но было в Лизе что-то новое. Когда она сказала: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет», зал замер. Ей устроили овации. Режиссер, лысый и грустный, говорил: «Лизанька, вы очень выросли, вы стали большой актрисой»... Она беззвучно отвечала: «Не нужно...» Она пришла домой и в сотый раз перечитала письмо незнакомой женщины. «Он сказал ей, что он — мой жених»... Она глядела на часы Доронина. Стрелка медленно спускала вниз. И вдруг Лиза подумала: «А все-таки я актерка»...

КОНЕЦ ГЕТТО

Командант гетто Иост страдал жаждой. Денщик не успевал наполнять водой графин. Когда Иост пил, на его длинной шее блился большой кадык. Иост был худ; от лиловатых пятен сосудов лицо его казалось неопрятным. До войны в трибунале Касселя он вел гражданские дела и томился. Вечером, когда засыпала жена, он писал новеллы из жизни Ассирии. От напряжения у него делалась мигрень. Он пил воду стакан за стаканом. Жена храпела, и он брезгливо морщился. Его новеллы, рассылаемые заказными пакетами в редакции различных журналов, неизменно возвращались назад с лаконичными ссылками на отсутствие места. Квартира пахла лекарствами и капустой. Коммерсанты Касселя твердили о справедливости, и уныло Иост цитировал параграфы кодекса. Потом он писал о завоевателях, о прекрасных рабынях и о кровавом закате над песками смерти.

Ему поручили ликвидировать гетто небольшого польского города; Иост должен был убить шестнадцать тысяч евреев. Он понимал; для того, чтобы убить всех сразу, не нужно ни знаний, ни воображения. Он убивал медленно и сладко. Он убивал тех, кто жаждал

жить, и заставлял жить тех, кто мечтал о смерти. Людей выстраивали у могилы. Солдаты щелкали затворами. Иост долго вглядывался в лица, искаженные страхом, а потом командовал: «На работу!» Он сказал садовнику: «Разведи цветник», и садовник расцвел; он думал, что его пощадят. Тогда Иост его повесил. Он придумывал затейливые казни: он подвешивал за подбородок и закапывал живых — последнее он называл «клумбами»: из-под земли высывались головы погребенных. Он убил всех годовалых младенцев. Потом он убил старейшего жителя гетто, которому исполнилось девяносто четыре года; старика привязали к хвосту лошади. Однажды Иост получил телеграмму из Касселя: жена поздравляла его с днем рождения. Иост огорчился и приказал убить всех своих однолеток. Он убивал под церковную музыку и под звуки джаза. Он заставлял обреченных танцевать. Он угощал детей конфетами, украшал девушек бумажными лентами и говорил старикам: «Расчешите борды — через пять минут вы увидите бога, а бог любит приличие». Он разделял дни: четные числа он посвящал пыткам страхом, нечетные — пыткам надеждой. Он

клялся, что казни прекратятся, устраивал санитарные комиссии для улучшения жизни гетто, строил новые бараки, подкидывал якобы оброненные им письма, из которых явствовало, что ни один еврей отныне не будет умерщвлен. Его кадык судорожно бился, и он облизывал сухие горькие губы. Он жил в страхе, что кончится война, и он снова вернется к злополучным новеллам под храп жены и под равнодушное молчание мира.

Студента Радомского ранили при попытке к бегству. Иост приказал запекать беглеца в пустом сарае. Радомский гнил: в его ране копошились черви. Там умирало все гетто. Женщины рожали, зная, что их детей убьют. Напрасно старики молились у свитка торы, выпрашивая смерть. Появились пророки, которые говорили о возмездье за прошлые грехи и о спасении избранных. Один вопил: «Скоро остынет солнце, и придет Мессия». Верующие постились, не спали. Люди, потерявшие рассудок, прыгали и квакали. Биолог Левит спешил окончить книгу, начатую им до войны. Каждую ночь он закапывал листы, написанные за день. «Я тебя люблю, Лия», сказал дочери Левита семнадцатилетний Герш, и вдруг засмеялся: «Завтра нас закопают»... Солнце всходило и заходило, четные дни сменялись нечетными. Иост пил воду и в длинном регистре зачеркивал имена казненных. Из шестнадцати тысяч в гетто оставалось менее пяти.

Человеку свойственно надеяться даже на краю могилы. Верующие уповали на бога. Ослабшие духом хватались за обещания Иоста, которые он расточал в нечетные дни. «Он сказал, что никого больше не убьют» — в гетто Иоста не называли по имени, говорили: «он». Были сильные и гордые; эти не надеялись ни на Мессию, ни на милосердие Иоста, ни на чудо. Во главе непримиримых стоял механик Коган.

Иост убил жену Когана и двух его детей, и у Когана ничего не оставалось, кроме ненависти. Глядя на весеннее небо, на березу, случайно попавшую в гетто, на хрупкую красоту Лии Левит, он чувствовал, что ненависть ширит его сердце. До войны он был обыкновенным человеком, вместе с товарищами бастовал, любил кино и водку. Его мягкие серые глаза теперь потемнели: в них было ожесточение. Когда он говорил, пророки замолкали, а матери прижимали к себе детей: это говорила совесть гетто. Коган организовал «Группу восстания». Он сказал: «Мы попытаемся вырваться из гетто и пройти к партизанам. Я не говорю, что мы пробьемся, но, если мы доставим оружие, мы убьем сотни палачей. Мы погибнем не как овцы, но

как солдаты». Заговорщиков было сто семьдесят; среди них профессор Левит с дочкой, знаменитый скрипач Айзен, семь братьев Шнеур — их шути звали Маккавеями, силач Лазарь, бывший унтер польской армии и старый резник Рутман. Они вырыли под гетто подземный город. Они покупали у мадьяр винтовки. Они достали пулемет и гранаты. Восстание было назначено на 1 мая.

17 апреля роттенфюрер Гайзе сказал Иосту: «Меховщик назвал одного, а потом умер»... Иост вспыхнул: «Вас надо отдать под суд! Восемь месяцев вы работаете и не научились допрашивать»...

Меховщик Зейлик состоял в организации повстанцев. Его пытали всю ночь и полуживого положили на раскаленную плиту. Роттенфюрер Гайзе зажал платком нос: смердило. Меховщик назвал Когана и впал в беспамятство. Он умер, не приходя в себя.

Иост опорожнил графин, его преследовал металлический привкус. Он отправился в гетто и собрал всех евреев. Он сказал: «Коган должен выйти к воротам до девяти часов вечера. Если Коган попытается скрыться, или если он покончит жизнь самоубийством, или если он будет убит, я прикажу в девять часов вечера умертвить всех жителей гетто». Иост посматривал на часы и добавил: «В вашем распоряжении четыре часа. Вы можете найти Когана или помолиться перед смертью». Сказав это, Иост ушел к себе. У него болела голова, и он злился: все приключилось в день, предназначенный для пытки надеждой, а Иост любил порядок.

Плакали женщины, обнимали детей, и кричали: «Коган должен выйти». Старики молились, чтобы бог вывел к воротам Когана. Наивные говорили: «Он только пугает, он не может убить всех». Скептики возражали: «Все равно выйдет Коган или не выйдет, он нас убьет». Портной, обросший библейской бородой и потерявший рассудок, вопил: «Уйдем из Египта!» Айзен играл на скрипке. Левит, задыхаясь, дописывал главу. В подземелье Герш целовал руки своей невесты и повторял: «Лия! Лия!»

Коган находился в засекреченном укрытии, о котором знали только руководители «Группы повстанцев». Когда немцы увели меховщика Зейлика, Коган понял, что близка развязка. Он обсуждал с унтером Лазарем план предстоящей операции. Вошел Шнеур-старший и рассказал об ультиматуме. Коган распорядился: «Соберем шестерку».

Полчаса спустя все были в сборе: Коган, Шнеур-старший, Левит, Лазарь, Айзен, старик Рутман. Коган сказал: «Обсудим положение». Шнеур-старший взял слово: «Ты не должен выходить. Мы можем начать восстание». Потом вы-

ступил Айзен: «Зачем ты нас спрашиваешь? Разве мы для того дали клятву, чтобы выдать тебя? У меня нет оружия, но я буду бросать камни»... Старик Рутман поддержал его: «Ты говоришь, что мы получим послезавтра два пулемета. Я тебе отвечу: все равно у него пулеметов больше. Но он — свинья, а мы честные люди, и я хочу умереть, как честный человек. Я не хочу, чтобы мне сказали перед смертью: ты купил отсрочку, предав Когана».

Тогда встал Коган, и все замолкли. Он сказал: «Я понимаю ваши чувства, но я все-таки выйду к воротам. Он убил мою жену и двух крошек. Я его так ненавижу, что я с легким сердцем отдамся в его руки. У меня найдется для него молчание. Вы говорите красиво, но неразумно. Послезавтра вы получите два пулемета. Лазарь — опытный солдат, он меня заменит. Вы сможете вырыть ход до стекольного завода, работы сталося на пять ночей, не больше. Тогда вы окажетесь возле склада. Если вам удастся перебить немцев, вы уйдете в лес. Если немцы возьмут всех, вы все-таки взорвете склад. А сегодня мы ничего не можем сделать. В лучшем случае мы застрелим десять немцев, а этого мало. Жизнь Когана никого не должна интересовать. Нужно убить как можно больше немцев и взорвать склад. Я назначаю командиром Лазаря, это мой последний приказ».

Напрасно пытались с ним спорить, он стоял на своем. И старик Рутман сказал: «Коган прав. Мы должны думать не о себе, но о мертвых. Я всю жизнь верил в бога, о нем говорили: «Это бог мести». Теперь я ни во что не верю. Я не бог, я старый еврей. Но я видел, как они убили моего внука, и я хочу быть богом мести».

Коган попросил Шнеура-старшего: «У тебя есть полбутылки. Мы выпьем на прощанье». Налили всем поровну; Коган поднял стопку: «За вашу месть, друзья! За 1 мая». Рука скрипача Айзена дрожала, и Коган, задумавшись, сказал: «Ты замечательно играешь на скрипке. До войны я видел твое имя на афише, а здесь я услышал, как ты играешь. Я видел тогда покойную жену и крошек. Я

видел весну, не эту, в гетто, да и не те весны, которые я пережил, я видел весну жизни. Ты знаешь, Айзен, людям будет хорошо. Не теперь — когда-нибудь. Они перестанут стрелять, они будут слушать музыку»... Он поглядел на часы: «Мне пора».

Его провожало все гетто. Женщины, недавно говорившие, что он должен выйти к воротам, рыдали и рвали на себе волосы. Старики молились, чтобы бог укрыл Когана от Иоста. Коган обнял Лию Левит и сказал: «Ты, может быть, увидишь другую весну». Потом он вышел за ворота, и солдаты отвели его к Иосту.

«Вы самый умный еврей из всех, каких я встречал», сказал Иост, «и, если вы будете говорить, я дам вам удостоверение. Я напишу, что вы швейцарец. Вы уедете за границу». Коган ответил: «Вы напрасно тратите время, я все равно не стану разговаривать. Можете меня жечь, как меховщика Зейлика. Я умру, но не крикну — я из другого теста. Поймите я вас ненавижу»... Он глядел на Иоста темными чернильными глазами; Иост отвернулся. Он приказал выколоть Когану глаза. Коган не вскрикнул. Он молчал, когда сдирали ногти с его пальцев и когда пилили его ноги. Он умер молча; и на утро немцы приволокли в гетто его изуродованное тело.

1 мая немцы облили дома керосином и, подожгли гетто. Скрипач Айзен погиб в огне: его видели на крыше дома — он кидал камни. Никто не знает, как умер Левит. Около сорока повстанцев дошли до стекольного завода. Они взорвали склад. Братья Шнеур сражались до вечера; они перебили полсотни немцев. Лазарь прорвался к партизанам. Он рассказывает, что Лия стреляла из винтовки в немцев. Ее окружили солдаты. Тогда подбежал Герш и кинул в Лию гранату. Старика Рутмана привели к Иосту. Это было вечером, когда немцы уже расправились со всеми. Иост был весел и, увидев старика, рассмеялся: «Ага, последний Агасфер!» Тогда резник бросился к Иосту и заколол его припрятанным ножом. Рассказывая об этом, Лазарь говорит: «Он был действительно богом мести».

★

УДЕЛ КАПИТАНА ВОЛКОВА

— Откуда такие берется? — воскликнул капитан Волков. Тот, к кому относились эти слова, невзрачный человек с жирным, угреватым носом подтянул штаны и удивленно посмотрел на капитана.

— Это вы про меня? Я — ближний,

из Бурьнского района, отсюда будет срок километров.

Казалось, он не понимает, почему женщины хотели его расперзгать, почему офицеры смотрят на него с любопытством и отвращением. Это был полицейский Геннадий Калюта. Бойцы отбили

его у разъяренных крестьян и привели к командиру.

— Вы говорите, что бросали детей в могилу? — переспросил Волков.

— Не бросал, а клал... Немец — фамилия Бекер, он здесь распорядился, а я человек маленький. Мне они за август не уплатили...

Лейтенант Горбенко выругался. В сенах возмущенно шумели женщины. А Волков глядел на предателя, как будто хотел найти в его мутных глазах разгадку.

Это был прекрасный осенний день, когда небо кажется особенно высоким, когда с шумом падают зрелые яблоки, когда листья пурпуровые, оранжевые, бледно-лимонные, напоминают о неиссякаемых богатствах земли, и когда повзрослевшие телята, будто предчувствуя тяготы зимы, напоследок носятся по жнивью. Ни сожженные хаты, ни остовы грузовиков, ни та грусть, которую война подмешивает в любой пейзаж, не могли омрачить красоты мира.

Для Волкова это был долгожданный день победы: на рассвете его батальон выбил из села немецких автоматчиков. Еще толпились восхищенные дети вокруг усталых бойцов; еще валялись у дороги немцы, естественно маленькие, как бы спрессованные смертью; один из них в дымчатых очках лежал навзничь под ярким солнцем, и Волков подумал: чудно, что не разбились очки...

«Теперь они покатытся», говорил себе Волков, «а там и Конотоп»... Смутно он подумал: «Неужели Киев?» И сразу увидел зеленые глаза Ольги, родинку на шее, марево летнего дня. Когда они растались, Ольга подымалась по крутой улице. Она оглянулась и что-то сказала; он не расслышал. Сколько раз он упрекал себя: «Почему не переспросил?» И вот — путь на Киев...

Да, час тому назад он был счастлив. Потом привели этого человека, и сразу стало темно в хате, померкли цветы на ручниках, почернели лица товарищей.

Только на войне Волков понял, как был прежде счастлив. Он помнил все: сверкало солнце на крашенных половицах; в палисаднике цвела персидская сирень; смеялись девушки. Старый профессор говорил о радио-бурях. В театре от любви умирала Травиата. А когда шел на Днепре лед, хотелось кричать от молодости и весны. Он знал, что встретит Ольгу задолго до того, как они встретились: все в нем было готово для нежности, для ревности, для страсти. На даче было жарко, пахло смолой. Раскрасневшись, Ольга просила: «Не смотри»... Потом родился сын. У Пети были такие ясные глаза, что Волков, глядя в них, думал: «Вот он, человек!»... Они мечтали в то лето поехать на Кавказ. Началась война.

Он потерял Ольгу, как мир потерял счастье. Может быть, она успела выбраться из Киева, ищет его, пишет письма без адреса? Может быть, томится на крутой улице, прислушивается к каждому шороху, дышит слухами, ждет? А может, ее убили?

Волков пережил два черных лета. Он шли на восток и в тоске отворачивались от подымавшегося солнца. Он свыкся с горем. Но никогда он не заглядывал в те закоулки, где живет низость. Он видел виселицы, трупы детей, слышал рассказы о зверствах. Это делали немцы, и он не спрашивал себя, откуда они взялись, не пытался заговорить с пленными. Но вот этот с жирным носом رسیدся в такой же хате, мать звала его Геней, он играл в снежки, пел «Любимый город»...

— Как они вас купили?

— Если точно сказать, давали триста шестьдесят в месяц и буханку на два дня, а за август и вовсе не уплатили.

— Зачем вы убивали своих?

— Я вам говорю, товарищ начальник, я никого не убивал. Бекер убивал, это точно, еще приезжал сюда переводчик-фамилия Краус. А я что приказывал, то и делал.

— Что же вы делали?

— Я характеристики давал.

Лейтенант Горбенко снова не вытерпел: «Сволочь! Что с ним разговаривать!» Но Волков продолжал:

— Какие характеристики?

— Это значит на кого. Вот я дал характеристику на Климову Анастасью Филипповну, что состояла бухгалтером колхоза «Заветы Ильича». Бекер ее расстрелял. Это на пасху было. А мне он сказал, чтобы я еще выявил. Я дал характеристику на старика Фомиченко. Он говорил против немцев, и сын у него коммунист, в армии. Они его тоже прикончили. Потом я болел два месяца, а только встал, они мне сказали, что снова нуждаются. Я дал характеристику на одну женщину. Эвакуированная, фамилия — Швеиц, проживала в районе с ребеночком. А на ребеночка я характеристики не давал. Краус убил ее и ребеночка.

Волков резко поднялся и вышел из хаты. Женщины кричали: «Зачем гад спрятали?» Он не слышал. Он не замечал детишек, которые шли за ним и восторженно верещали: «Звездочек-то сколько!.. Генерал...»

Он опомнился только, когда Горбенко спросил: «Двигаемся?» Волков развернул карту и стал объяснять: «Твои должны выйти на большак вот здесь — у роши»... Горбенко спросил: «Что с тобой? Болен?» Волков махнул рукой и не ответил.

Вскоре после этого был тяжелый бой за станцию. Полковник нервничал, каж-

дый час звонил: «Чорт знает что! Там их одна рота, а вы топчетесь!» Волков оставил Горбенко в роще: «Сильный огонь и все»... Другие роты он перекинул на левый фланг. Чуть рассвело, пошли. Разведчики подвели: немцев было не менее шестистот. Осколком мины убило лейтенанта Резника, и третья рота залегла. Немцы уже думали, что отбили атаку, когда бойцы снова ринулись вперед. С ними бежал Волков. Возле водокачки немцы его окружили. С капитаном было не больше двадцати автоматчиков. Волков ругался темной и горячей руганью; он бил из автомата, и такая была в нем ярость, что уж полегали все немцы, а он еще строчил и ругался. Потом он вытер рукавом лицо, оглядел насыпь. Убитые валялись, как лоскуты. Из рощи выбежала вторая рота. Горбенко ликовал: «Ты только посмотри, сколько nabили! Сейчас надо трофеи подсчитать. Всех представят, увидишь»... Волков ответил: «Nabili. Но живых еще много»...

Когда хоронили лейтенанта Резника, Волков должен был произнести речь. Прежде он умел хорошо говорить; его всегда выпускали на собраниях. Теперь он мучительно оглядывался по сторонам, как будто искал слова. Наконец он сказал: «Всех перебьем!» И залп автоматчиков прозвучал, как «аминь».

Его батальон дрался под Киевом. Сквозь дым и пыль Волков видел родной город. Он узнавал песок, сосны, дачи. Он ничего больше не ожидал: он знал судьбу Ольги. Ненависть росла в нем, как ребенок в животе женщины; она ворочалась и стучалась в сердце; от нее он задыхался. Лейтенант Серошевский говорил: «Я к нему подойти боюсь. Молчит. Что-то с ним случилось. Пом-

нишь, у станции? Он ведь на рожок лез. Пули от него отскакивали, честное слово! Будь я газетчиком, я написал бы, что и смерть его испугалась. Ему полж собираются дать, а он и не улыбнется. Вот и скажи после этого, что такое жизнь?..» Горбенко просыпал табак и заворчал: «Безобразе!» — нельзя было понять, на кого он рассердился: на свои окоченевшие пальцы, на Волкова или на жизнь.

В Москве праздновали освобождение Киева. Розовые и зеленые ракеты освещали на углах улиц радостно возбужденных людей. В хате офицера отогревались чаем: водки, как на грех, не было.

— Теперь и жена моя познакомилась с богом войны — каждый день у них салюты, — усмехнулся Серошевский.

Волков молчал. Он глядел в одну точку. Можно было им залюбоваться — столько было на его сухом лице новой холодной страсти.

— Вот и Киев позади, — сказал Горбенко Он подумал: «Хоть бы Волков что-нибудь сказал — ведь мучается человек... Что с ним случилось?»...

А Волков пытался вспомнить лицо Ольги, тепло ее сонной руки, тихий смех; но перед ним стояли мутные глаза Калюты. Он жадно глотнул чая и обжегся. Он чувствовал, что его молчание тяготит всех. Ему хотелось сказать друзьям что-нибудь очень ласковое. Но он еле выговорил:

— Это точно, что Киев позади. Скорее мы их добьем...

Он чокнулся чаем и вышел. Небо было все в звездах. Лаяла где-то собака. Он стоял и ни о чем не думал: дышал. А ночь была морозной.

★

СЛАВА

На поле боя, рядом с трупами, с погаченным оружием, с обрывками газет и ключьями белья, валяются письма — в розовых и голубых конвертах или сложенные треугольником, на линованных листочках, вырванных из тетради, или на обороте наклеенной. Они похожи на лепестки. Человеку, занятому нечеловеческим делом, они напоминают о жизни.

Люди на войне говорят о разном: о дожде, о каше, о верных и неверных женах, о пройдошливом бухгалтере колхоза; они не говорят о войне.

Как умел рассказывать Лукашов о своем доме! Даже недоверчивые умилялись: Ново-Ильинское казалось раем.

Там обрыв над речкой; ребятки ползают в воде и кричат; а над обрывом дом Лукашова. Полногрудая сероглазая Маша, раскрасневшись, стоит у печи. Ходики стучат, будто сердце бьется... А мед, душистый гречишный мед! Под ледяным ветром калмыцкой степи рассказывал Лукашов про пасеку, и людям мерещилась гречиха в цвету. Среди метели жужжали пчелы или «пчелки», как говорил Лукашов.

Много верст прошел Лукашов. Был яркий осенний день, и песок сверкал, как снег. Река показала Лукашову такую широкую, что он вздохнул. А товарищи весело кричали: шутка ли дойти до Днепра! Лукашов нашел среди лозы скверную лодчку. Его мучало нетерпе-

эва. Капитан сказал: «Украинцы просят... Лукашов рассердился: «Я вот там-беский!» Он торопился, как будто на берегу — его дом.

Были они долго: течение относило лодку. У Лукашова руки были в крови. Немцы стреляли, и река фыркала. Потом осколок пробил корму; вода засвистела. Лукашов пустился вплавь; на лбу его вздулись жилы.

«Доплыл», восхищенно говорили товарищи. Имя Лукашова повторяла телефонистка; оно вошло в хату, где четыре генерала сидели над картой; долетело до Москвы, проникло в накуренные комнаты редакций, спустилось в наборные, а на утро пошло колесить по необъятной стране.

Прочитав газету, Маша заплакала. «Глупая», сказал отец, «чего плачешь? Видишь, чин у него какой?» Она ответила: «Это я сдуру» и улыбнулась, а слезы текли и текли. Она вспомнила мужа — как он читал газету: «Война в Испании»... Образ Лукашова расплывался, и от этого хотелось еще сильнее плакать.

Вечером на сыром песке сидели люди. Небо было в огнях, зеленых и оранжевых.

— Переправу долбит, — сказал Лукашов и, закурив, снова начал рассказывать: — Приехал пионерлагерь. Вожатая с ними, киевская. Разве я тогда думал, что судьба сюда приведет?.. Вечером ребята разожгут костер и поют. И она пела. Бывает ведь у человека такой голос — дрожь берет. А Маша смеялась. У нее всегда так — схватит за сердце и смеется. Я спрашиваю: «Откуда песни такие?» А она...

Загрехотал мотор. Все подтянулись, думали — генерал. Но из машины вышел незнакомый офицер, спросил, где Лукашов. Это был Дадаев, военный корреспондент и писатель. Лукашов подошел к нему:

— Здесь, товарищ майор.

Дадаев улыбнулся:

— Замечательно! Я от газеты. Да и сам хочу поговорить по-душам...

Лукашову стало неуютно: слава его томила; он рвался в безвестность, как птица в зеленую темь леса.

Дадаев приехал, потому что редактор ему сказал: «Нужно показать героев переправы». Он стал расспрашивать Лукашова; тот отвечал коротко и сухо: доплыл, потом подоспели другие. Обычно словоохотливый, он притих. Он знал, что товарищи теперь говорят: «Повезло — о нем Дадаев напишет», и от этого было скучно. Хотелось поскорее вернуться к друзьям и досказать про вожатую. А Дадаев не унимался; чем-то привлекал его этот скромный спокойный человек.

Писателям нравятся люди, которых

они никогда не смогут описать; а жизнь в книгах Дадаева была громкой и бурной. Он не умел говорить шопотом, не разбирался в оттенках; войну он видел жестокой и прекрасной. Он был смел и, выбирая самое опасное место, дразнил смерть.

Многие считали Дадаева злым, но он мог, оттолкнув друга, обласкать первого встречного: люди для него были только частью пейзажа. Он был одарен, писал занимательно и то, что требовалось — не от уголивости, а от глубокого равнодушия, которое скрывалось за горячими речами и безрассудными поступками. Он не любил ни той женщины, из-за которой пытался кончить жизнь самоубийством, ни старика-отца. Любил ли он искусство? Он думал только о нем. Испытывая творческую неудачу, он терзался, как злополучный игрок: ставкой была слава. Когда приятель его убрекнул в тщеславье, он серьезно и печально ответил: «Может быть, и слава — тщега»...

Он гордился умением раскрывать сердца: прославленный «асс» признался ему, что он суевверен, как бабка; седой полковник посвятил его в свои сердечные неурядицы. Почему же не мог он разгадать этого несложного человека с голубыми доверчивыми глазами?

— Вы с Голубенко поговорите, он в ту ночь три раза переправлялся.

Дадаев улыбнулся:

— Я про вас хочу написать. Жена ваша прочитает...

Лукашов вздрогнул; он забыл, что перед ним писатель:

— Засмеется. А стосковалась — ведь третий год...

Наконец-то Дадаев узнал его тайну, услышал и про Машу, и про пчел, которые жужжат.

Стало светло от ракет; близко разорвалась бомба. Дадаев курил и рассеянно улыбался. А Лукашов прижался к песку. Он думал: почему Дадаева не пугает смерть?

— Вы, товарищ майор, семейный?

— И да, и нет. — Дадаев встал. — Ладно, поговорили. Мне еще нужно на КП.

— Лучше переждите до утра — дорога-то лесом... Еще не прочистили. Вчера грузовую обстреляли...

Дадаев пожал плечами:

— Доеду.

Он пошел к капитану; тот попросил: — Если есть местечко, подкиньте Лукашова — его полковник требует.

Темно было и в поле; но, добравшись до леса, они почувствовали, что въехали в ночь. Фары вырывали из темноты то глетчеры песка, то деревья, похожие на исполинов. Мир казался невиданным.

Лукашов сидел рядом с Дадаевым.

Ему хотелось поговорить, но он боялся, что наскучил писателю. Зачем его вызывает полковник? Снова будут спрашивать... Сжимая автомат, Лукашов вглядывался в ночь: лес жил.

Вдруг убьют Дадаева!.. За два года Лукашов присмотрелся к смерти, но от мысли, что могут убить знаменитого писателя, он взволновался. Вспомнил, как весной убили подполковника Анохина, и все говорили, что погиб замечательный инженер. Лукашов тогда отнес в штаб его документы, а среди них фотографию — маленькая девочка с косичкой... Лукашов ежился: ночь была сырой и холодной.

— Товарищ майор, отдыхаете?

Дадаев не ответил. Он чувствовал себя разбитым, как будто услышал потрясающую исповедь. А что рассказал ему Лукашов?.. Дадаев усмехнулся: придется писать о пчелах... Потом он задремал.

Очнулся от выстрелов.

Лукашов заслонил Дадаева. Машина не остановилась. Схватив автомат, Дадаев почувствовал кровь. Дадаев дал очередь. Из темноты еще стреляли. Потом наступила тишина. Дадаев стал ощущать Лукашова. Он крикнул: «Стой!» Но шофер попрежнему гнал машину. Дадаев растегнул гимнастерку Лукашова; сердце не билось. Дорога была в ухабах. Лукашов подпрыгивал и падал на соседа. И впервые за войну Дадаев испытал тот ужас, от которого воят собаки и несут лошади.

Когда пришло извещение о смерти мужа, Маша не вскрикнула, не заплакала. Она пошла к обрыву, постояла и вернулась. Долго она не могла осознать происшедшего: прибирала, шила, съездила в город, чтобы оформить документы. Ей казалось, что муж жив. Прежде он представлялся ей далеким, а теперь

она с ним разговаривала, прижималась к нему. И вдруг — не было для того повода — она закрыла лицо руками и беззвучно заплакала: поняла, что Лукашов никогда не вернется. Она, как будто взойшла на гору — увидела свою прошлую и настоящую жизнь; знала, что придется работать, разговаривать; может, и выйдет за другого; но будет это не прежняя Маша; а счастье, настоящее счастье позади.

О смерти Лукашова мне рассказал Дадаев. Он был в тот вечер непривычно печален; говорил:

— Я пробовал это описать, не вышло. Насчет пчел получилось нарочито, как в басне. Очевидно, это не моя тема... А странно — Лукашов первый человек, который умер у меня на руках. Кстати о пчелах. Почему поэты любили сравнивать себя с пчелами? Непохоже. Люди не цветы и книги не мед. Вообще наше дело — лотерея: иногда соврешь, и читатели плачут, а с Лукашовым я действительно все пережил и получился рассказ о пользе пчеловодства.

Он пил; это было густое вино юга, от которого люди с легким сердцем веселеют; а Дадаев от него еще больше помрачнел. Он мне признался:

— Вам это покажется смешным, но я часто думаю о смерти. Должно быть, я слишком рано узнал славу. Это женщины из мрамора. Вместо глаз у нее ямы... Мне холодно, как тогда Лукашову...

Сейчас горячий летний полдень. От зноя воздух дрожит. Я думаю о Лукашове. Он мне кажется живым, и я хотел бы сказать об этом Маше. Я не знаю, в чем он продолжает жить, — в ее сердце или в громе наступления, или, может быть, в жужжании пчел, которые тяжелеют над цветущими полями; но я знаю, что он не умер, не мог умереть.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ

Черноморская легенда

ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ

★

Старый боцман Прохор Матвеевич Васюков считает себя коренным природным севастопольцем и говорит об этом с гордостью. «Мой домишко на Корабельной стороне еще моего прадеда помнит! — говорит он. — Платан у меня растет во дворе — дедовской рукой посажен.. В Севастополе с нашей Васюковской фамилией трудно кому тягаться. Разве только вот Бирюковы да Варнашевы, а больше, пожалуй, таких фамилий и нет...»

Не один раз Прохору Матвеевичу приходилось покидать любимый свой город — уходил он из Севастополя на год, уходил и на два, ушел однажды на десять лет с лишним, но всегда и неизменно он возвращался, открывал знакомую калитку — и дедовский платан с приветственным ласковым шумом стелил ему под ноги зыбкий, живой коврик тени...

В двадцатом году, закончив с Михаилом Васильевичем Фрунзе славный крымский поход, опять вернулся старый боцман в свой дом и поселился прочно, с твердым намерением никогда уж больше не покидать Севастополя... Судьба рассудила иначе: Севастополь заняли немцы, и Прохор Матвеевич живет сейчас на кавказском берегу. Живет он здесь по временной прописке, хотя начальник милиции, уважая старика и желая избавить его от лишнего хлопот и хождений, каждый раз при встрече предлагает ему прописаться «на постоянно».

— Нет, — отвечает Прохор Матвеевич. — Спасибо на добром слове, но только здесь у вас я в гостях, а настоящий мой дом — в Севастополе.

Упрямый старик! Он до сих пор не все свои чемоданы и узлы разобрал — так и сидит на них, готовый в любой день двинуться в обратный путь, домой.

Однажды он сказал мне:

— Я — как тот севастопольский камень, я на своем месте должен находиться... Ты об этом камне слышал?

— Нет, не слышал никогда, — честно признался я.

Старик помолчал, засопел, раздувая усы, потом с насмешливым и снисходительным пренебрежением заметил:

— Какой же ты есть черноморец? Об этом камне должен знать каждый. Может быть, он в руки тебе угодит — что ты с ним тогда будешь делать?

Так впервые узнал я от старого боцмана легенду о севастопольском камне — высокую и благородную легенду Черного моря. А потом я много раз слышал эту легенду от других моряков — и на кораблях, и на подводных лодках, и в блиндажах, и на батареях... Но самого камня, сколько я ни старался, мне увидеть не удалось.

Рассказывают так.

Когда, год назад, мы по приказу Верховного Командования уходили из Севастополя, эвакуацию наших войск прикрывали части морской пехоты. Это были настоящие воины, самые лучшие, самые мужественные — это были герои. Они знали заранее, что им — последним — уже не уйти: сдерживая бешеный фашистский натиск, они дрались один против десяти, один против ста. Мы знаем, как выполнили они свой долг, — вечная слава героям!

Мы знаем и помним, как выполнили они свой долг!

Не следует, конечно, думать, что все эти герои погибли. Часть прорвалась в горы, к партизанам, а некоторым даже удалось на плотах, на шлюпках и рыбацких яликах добраться до кавказского берега.

Уже пятый день плыла одна такая шлюпка по Черному морю, держа курс в далекому Туапсе. В шлюпке было четверо — все моряки. Один из них умирал, трое угрюмо молчали. Верные закону морской дружбы и чести, они не бросили товарища, сраженного на севастопольской улице разрывом снаряда, — они подняли раз-

ного и увезли с собой в море: пусть не хвастаются немцы, что хоть один моряк-севастополец попал к ним в плен! Трое моряков сделали для спасения товарища все, что могли, но у них не было ни хирургических ножей, ни медикаментов. У них даже простой пресной воды не было и ни одного сухаря—они питались медузами... Раненому с каждым днем, с каждым часом становилось все хуже, — теперь вот умирает...

Когда его подняли,—там, в Севастополе (это было близ памятника Погибшим Кораблям), — то не заметили сначала, что в его руке был зажат серый небольшой камень, отбитый снарядом от гранитного парапета набережной. Потом, уже в шлюпке, перевязывая товарища, моряки увидели камень и хотели бросить в море. Раненый крикнул сказал:

— Не трогайте... севастопольский... В карман положите, во внутренний, чтобы на груди у меня он был...

Так, до последнего часа, он и не расставался со своим камнем. Он умирая грудно, мучительно—бредил, стонал и беспрерывно просил в забытьи воды. Самый молодой перегнулся через борт и поймал большую, прозрачно-бледную с оранжевым пояском медузу. Он оторвал кусок скользкой плазмы—больше ничего не мог он предложить своему умирающему другу. А солнце палило, жгло, кругом на сотни миль был синий знойный простор, и слепящая блестящая-спокойная гладь морской соленой воды.

И умер моряк... Перед смертью сознание на несколько минут прояснилось,—он отдал друзьям севастопольский камень и сказал так:

— У меня думка была — приду в Севастополь обратно, своей рукой положу этот камень на место, крепко впаю на цемент — и тогда отдохнет мое сердце. А до тех пор буду носить его на груди—пусть бы жгет меня и тревожит и не даст мне покоя ни днем, ни ночью, покада опять не увижу над родной севастопольской бухтой наши советские вымпелы!.. Да, нет, не судьба — смерть меня раньше постигла. Возьмите вы, друзья мои, черноморские товарищи, этот камень, и храните свято. Мое вам последнее слово, мое завещание такое — он должен быть положен на свое место, впаю на крепкий цемент и обязательно — рукой моряка. А теперь — прощайте.

К вечеру друзья предали его тело морским волнам. На шлюпке чугунных колосников нет, к ногам привязывать нечего, и он погрузился не сразу: долго еще он чернел и покачивался на воде, словно напоминая о своем завещании.

Камень перешел к одному из оставшихся в шлюпке — к самому старшему по годам и заслугам.

Только на пятнадцатые сутки моряки

услышали над собой гул мотора и увидели наш МБР. Вскоре подошел вызванный летчиком катер, моряков доставили на берег в госпиталь.

Когда их переодевали, сестра, принимая одежду, спросила: нет ли у кого особо ценных вещей—часов или денег, чтобы передать на хранение под квитанцию. Самый старший протянул осколок гранита.

— Вот... передайте... Это — севастопольский.

Сестра удивилась, но спорить не стала, и моряк получил квитанцию, в которой было написано: «Камень, серый, вес 270 гр.»

Через три недели моряк вышел из госпиталя. Ему предложили поехать в отпуск, домой. Он ответил просьбой немедленно послать его на фронт, в морскую пехоту, на самый горячий и боевой участок. Он просил настойчиво и неотступно, — и скоро уехал на фронт.

Он был снайпер. Счет его ежедневно пополнялся тремя, пятью, а иногда и семью убитыми немцами. Севастопольский камень был всегда с ним; говорят, что когда моряк, увидев немца, наводил свою снайперскую винтовку, — камень начинал разогреваться и жечь его сердце; говорят, что тельняшка моряка даже подкалилась, пожелтела в том месте, где лежал на его груди камень. Моряк не знал страха, не знал усталости, не знал промахов — каждое утро, еще затемно, уходил он в засаду и возвращался ночью. Он был молчалив, когда показывал товарищам пустые гильзы. И они понимали: четыре гильзы — значит, четыре немца, шесть гильз — значит, шесть немцев. Гильзы эти он складывал в сундучок и по ним вел свой снайперский счет.

Мне известно точно, что он еще два месяца служил в той же части и приполз однажды из своей засады с немецкой пулей в груди. Когда он умер, друзья посчитали гильзы в его сундучке — их было триста одиннадцать. Эти гильзы особой посылкой были отправлены матери погибшего снайпера вместе со скорбным письмом.

А севастопольский камень перешел в моряку-разведчику, лихому, веселому паренку, который ходил к немцам в тыл за «языками» так же легко и просто, как в собственный свой огород. Паренек этот даже ухитрился ознакомиться в немецком тылу с одной нашей девушкой и, выполняя свои боевые задания, не упускал случая повидаться с нею. Командир части был немало смущен и растерян, когда однажды лучший его разведчик вернулся из немецкого тыла... с женой! Жену отравили куда-то в тыл, к родителям разведчика, ему дали, понятное дело, хороший нагоняй, но вскоре он искупил свою вину, притащив из разведки немецкого штабного майора.

А когда отправился разведчик, получив ранение, в госпиталь, камень перешел от него к одному связисту-моряку. Форменка связиста украсилась вскоре боевым орденом за то, что сумел он под страшным артиллерийским огнем на глазах у немцев найти обрыв провода и восстановить связь с нашими батареями.

Рассказывают, что потом был севастопольский камень у артиллериста, был у пулеметчиков, причем считался принадлежащим всему расчету, попал, наконец, к летчику черноморцу. В воздушном бою летчик огнем сбил три «Юнкерса», а четвертый «Юнкерс», из-за отсутствия патронов, таранил и, сажая потом свою изуродованную машину, малость побился. Кому передал он камень перед отъездом в госпиталь — неизвестно; одни говорят, что камень опять попал к снайперу, другие уверяют, что камень нынче на подводной лодке, третьи клянутся, что видели ка-

мень у морских летчиков — они будто бы решили не выпускать его из своих рук и доставить в Севастополь по воздуху, первым же самолетом. У кого бы он ни был, этот камень, — у подводников, у артиллеристов или у летчиков, — мы можем не беспокоиться за него: он в крепких, надежных дужках!

А если вы захотите посмотреть этот камень — поезжайте после войны в Севастополь. На Корабельной стороне вы легко разыщете боцмана Прохора Матвеевича Васюкова, — его все знают. Старик проводит вас на набережную и там, неподалеку от памятника Погибшим Кораблям, вы увидите камень: он будет лежать на своем месте, крепко вляпанный на цемент. И старый боцман не забудет напомнить вам, что камень положен на свое место рукой моряков.

Прикоснитесь к нему щекой, попробуйте, — может быть, он все еще горячий!

ПИСЬМО

СЕМЕН ГУДЗЕНКО

★

Я бы мог
от правила отступить
и тебе написать обо всем:
о солдате,
засыпанном солью в степи,
О подвале,
где мы живем,
Мне хочется
письма отсюда строчить,
(лишь бы знал я,
что ты жива).
Здесь нужны,
как гвозди и кирпичи,
все известные мне слова.
За два года
столько ран запеклось,
(маме этого не пиши).
Я теперь,
как бинты,
отдираю злость
от своей беззаботной души.

Здесь родился закон,
в орудийной пальбе:
можешь
мертвым в сражении лечь,
но не смеешь
ни строчки оставить себе,
ни удара сердца
сберечь.
Потому что здесь песни
нужны, как жилье
и стихи,
как колодцы с водой.
Ты простишь мне,
конечно,
молчанье мое,
как прощала —
с передовой.

г. Сталинград
лето 1943 г.

ДНЕВНОЙ СВЕТ В СУББОТУ

Роман об авиазаводе*

ДЖОН Б. ПРИСТАИ

Перевод с англ. М. Е. Абкиной



Ладно, дело ваше, — бросил он сухо. Она была удивлена, даже поражена открытием, что он способен говорить так сухо и неприязненно, изменив своему обычному благодушию.

— Я отлично мог бы и сам подыскать двух девушек, но это входит в ваши обязанности, и я полагаю...

— Ну, конечно, я их выберу. — Она держалась храбро, но чувствовала, что дрожит. — Вам даны какие-нибудь специальные указания?

— Это должны быть, разумеется, хорошие работницы. И желательно, чтобы популярны среди остальных. Потом нужно, чтобы у них голоса были подходящие для трансляции — достаточно звучные и все прочее. Я сегодня объявляю об этом сам в столовой во время обеда и, пожалуй, скажу, что окончательный выбор мы сделаем только в конце недели — это будет их держать в напряжении. Но от вас я хотел бы уже сегодня к вечеру узнать, кого вы наметили. Можете заняться этим в первую очередь, мисс Шилтон.

И он ушел — без улыбки или хотя бы дружеского кивка: твердокаменный человек сухой чиновник.

Мисс Шилтон даже всплакнула. Так ужасно целый день иметь дело с людьми, когда в тебе все спуталось и душа болит. Ей хотелось уйти, спрятаться от всех на неделю-другую, пока она не придет в равновесие, пока не нарастит новую кожу. До тех пор, пока она не напишет Герберту и не покончит с этим раз навсегда, она не сможет работать как следует и, наверное, перессорится со всеми.

Она принялась сочинять короткую и резкую прощальную записку, но, к несчастью, уже одно то, что она пишет ему, меняло ее настроение, возвращало к тому, чем она жила последние годы. «Короткая и резкая записка» превратилась в письмо, письмо жалобное и полное нежности, как будто та Эдит Шилтон, что писала ему, еще не встретила с той

Эдит Шилтон, что разговаривала с Болтоном. И вдруг эта вторая Эдит, нетерпеливая и раздраженная, схватила письмо и разорвала его на мелкие кусочки.

Томимая беспокойством, она решила пройти по цехам и подыскать подходящих женщин для выступления по радио. Она подумала, что лучше всего было бы послать одну из опытных работниц и одну новую, еще необученную. Из старых работниц, пожалуй, подойдет установщица, миссис Оклей. Надо будет поговорить с ней и проверить, какой у нее голос. С рядом с миссис Оклей работает Артур Болтон, а меньше всего ей хотелось бы видеть его в ближайшие дни. Однако, обманывая себя надеждой, что сумеет избежать этой опасности, она пошла прямо ей навстречу.

Подойдя к миссис Оклей, она не сказала ей сразу о предстоящем выступлении, потому что мистер Проскот, любивший вызывать сенсацию, был бы недоволен, если бы она его опередила и испортила эффект его сообщения.

— Доброе утро, миссис Оклей, — сказала она с искусственным оживлением. — Ну, каковы у вас дела сегодня?

У миссис Оклей в зубах торчала папироса, а халат и заборная рожца были испачканы смазкой. Мисс Шилтон вдруг почувствовала к ней антипатию, а между тем до этого дня Гвен ей нравилась.

— Все в порядке, — ответила миссис Оклей равнодушно. — Не скажу, чтобы мы гнали во весь опор. Но кто теперь работает так, как раньше?... Эй, вы, — крикнула она вдруг, кидаясь к одной из женщин, работавших в ее бригаде, — вы не так это делаете. Я ведь вам показывала вчера!

Мисс Шилтон стояла неподвижно, дожидаясь возвращения Гвен. Где-то здесь, неподалеку, работал тот страшный человек, мистер Болтон. Мисс Шилтон чувствовала, что ей легче умереть, чем опять увидеть его и прочесть в его глазах осуждение. Она не понимала, почему это так, — ведь мистер Болтон ей глубоко безразличен. Но факт остается фактом.

Она старалась не смотреть по сторонам и не отводила глаз от миссис Оклей, которая уже вернулась на место и, видимо, была неприятно удивлена тем, что мисс Шиптон все еще здесь.

— Вы интересуетесь радиопередачами, миссис Оклей?

— Нет. А что?

— Да так... Я слышала, что вы здесь давно работаете, и мне захотелось узнать, приходилось ли вам когда-нибудь выступать в радиопередаче с завода.

— От нас как-то раз была передача, — сказала миссис Оклей. — Но я не выступала. Неособенно интересно получилось. Я это не потому говорю, что я в ней не участвовала. Меня приглашали, да я не захотела. — спасибо! Не передача была, а чепуха какая-то. Надеюсь, они не вздумают устраивать вторую?

— Нет. — Мисс Шиптон была рада, что не пришлось солгать: ведь передачи с завода на этот раз не будет. — Я просто так спросила...

Миссис Оклей бросила на нее беглый и слегка иронический взгляд, как бы говоривший: «Очень жаль, что тебе больше делать нечего, как только стоять тут да задавать пустые вопросы».

— А что, в вашей новой бригаде есть какие-нибудь выдающиеся девушки? — спрашивала дальше мисс Шиптон, чувствуя себя лишней и назойливой.

— Нет, сейчас таких нет. Раньше были. Ну, а эта новая партия — просто пачкуны. Если вы вздумаете ставить пантомиму, я могу вам рекомендовать славную парочку — вон тех двух веселых пташек из Бирмингема. О, господи, что это они делают там!

И она опять убежала.

На этот раз мисс Шиптон почувствовала, что стоять тут дольше значило бы просто не иметь никакого уважения к самой себе. И, отметив мысленно, что миссис Оклей относится к своим подчиненным несочувственно и что об этом следовало бы доложить, она пошла дальше.

Не прошло и минуты, как она неожиданно для себя очутилась перед мистером Болтоном. Она сказала себе, что это для нее решающий момент, хотя не могла бы объяснить, что собственно должно решиться. Если бы он, увидев ее, проявил хоть малейшее неудовольствие, это бы ее добило. Так иногда в странном, навязчивом сне снится, что, если не поспеть на поезд, который должен везти тебя неизвестно куда, то все погубло.

И мисс Шиптон, затаив дыхание, уставилась на Болтона, как всегда, серьезного и занятого.

Наконец, он поднял глаза и увидел ее. Вот она, решительная минута. Он узнал ее. Кивнул головой. И вдруг случилось чудо: он улыбнулся ей. Видно, там, над звездами, еще есть неведомый источник благости и всепрощения. Она помилована.

— Добрый день, мистер Болтон, — услышала она собственный голос и подошла ближе. — Надеюсь, мы на-днях сможем встретиться и поговорить по-настоящему

Возвращаясь после обеда из столовой в цех, Нелли Диттон говорила себе, что сегодня был один из лучших обеденных перерывов за много недель. Во-первых, самый обед был замечательный: жареная свинина с картофелем, шведская брюквенка и хлебный пудинг с маслом. И затем заводской оркестр, Элмдаунская Шестерка, не только играл великолепно, но двое из них, Джек Браймбер, — тот, что играет на саксофоне, — и длинноносый брюнет с барабаном, оба ей улыбались. Сомнений быть не могло, потому что она сидела совсем близко, и даже Мона Фокс, ее подруга, сидевшая рядом, должна была признать, что улыбки эти относились к ней, Нелли. Конечно, это ничего не значит: оба они постоянно улыбаются. Но все-таки... не всем же они улыбаются нарочно, как ей.

И в заключение — возвещенная мистером Проскотом сенсационная новость о том, что будут выбраны две работницы их завода для участия в радиопрограмме в Лондоне. Да, эти две счастливицы будут отправлены в Лондон за счет завода и, может быть, даже их портреты появятся в газетах!..

Многие девушки, в том числе и Мона, немедленно объявили, что им не особенно улыбается быть выбранными, даже совсем не хочется. Но этими шутками, ее, Нелли, не проведешь. Стоило только взглянуть им в глаза, особенно Моне, чтобы увидеть, что каждая уже втихомолку обдумывает, как бы ей подольститься к кому-нибудь из начальства и заручиться его под держкой.

Нелли этот вопрос ничуть не волновал, ибо она отлично понимала, что ей никого из начальства не прельстить. Правда, мистер Огмор, вероятно, охотно бы ее выдвинул, но ведь мистер Огмор только помощник мастера. А, кроме того, совсем недавно она подавала заявление насчет автобуса, так что мистеру Проскоту пришлось направить к ней мисс Шиптон. Теперь, если кто из начальства и вспомнит о ней, так вспомнит, как об одной из недовольных. Значит, у нее нет никаких шансов быть избранной.

Она твердила это себе раз десять, но все-таки в каком-то уголке души теплилась надежда, что в последнюю минуту случится чудо. Мало ли что, а вдруг Радио-Корпорация потребует девушку, у которой лицо немного перекошено на сторону и которая хочет учиться играть на пианино — и она, Нелли, окажется одной из двух счастливиц. Мистер Проскот ска-

зал в столовой, что подойдут только те, кто говорит внятно. А она говорит внятно? Наверное, нет. И, возвратясь к станку, Нелли добрый час проверяла внятность своей речи, беседуя главным образом сама с собой. Губы ее все время быстро шевелились, точь-в-точь, как у бедняги Стоньера!

В цеху все шло обычным порядком. Певуны не умолакали ни на минуту. Мисс Дэфф выдвинула новое обвинение против своей невестки, в котором мыльные хлопья играли видную и зловещую роль. Мистер Тэйлор, тот жалкий старик, что был раньше хозяином кондитерской, шопотом рассказывал всем, что хочет подать управляющему жалобу на мистера Огмора, который, пользуясь своим положением, ведет коммунистическую пропаганду. Нелли не знала толком, что такое коммунистическая пропаганда, но у нее создалось впечатление, что это имеет какую-то связь с Россией. «Во всяком случае», — говорила на себе, — «если мистер Тэйлор так решительно против коммунистической пропаганды, значит в ней ничего худого нет». Эльси, девушка из бара, о которой было известно, что она «гуляет» с одним из инструментальщиков, женатым к тому же, в последние дни что-то загрустила, ходила заплаканная и не далее, как сегодня утром, сказала Нелли, что та правильно делает, сторонясь мужчин. А Нелли не стала распространяться на эту тему, не желая сознаться в том, что не она избегает мужчин, а они ее. Все в цеху теперь больше разговаривали между собой, потому что работы было меньше. Но не так плохо обстояло дело, как, кажется, думал мистер Огмор.

Похожая на сердитую цыганку маленькая брюнетка, миссис Флинн, сегодня удивила Нелли. Нелли недолюбливала миссис Флинн, и до сих пор у них не находилось общих тем для разговора.

А сегодня миссис Флинн подошла к Нелли и сказала, как всегда, резко:

— Вы слышали, что он говорил насчет двух женщин, которых пошлют в Лондон на радио?

— Слышала, миссис Флинн. Какая радость — правда?— для тех, кого пошлют!

Миссис Флинн кивнула головой и так и впилась своими колючими черными глазами в лицо Нелли.

— Там около меня сидело несколько девчонок, которые много о себе воображают. Им здорово хочется, чтобы их выбрали, хотя они в этом и не признаются. И знаете, что я им сказала?

Нелли этого не знала и не могла понять, зачем, собственно, миссис Флинн говорит ей все это. Но, наверное, через секунду миссис Флинн сведет разговор на своего мужа, который так мучает ее.

— Я им говорю.. «Со мною рядом, — говорю, — работает одна девушка, у ко-

торой больше шансов, чем у всех вас». Честное слово, это заткнуло им рты!

— А какую же девушку вы имели в виду? — спросила заинтересованная Нелли. — Эльси?

— Эльси! — Миссис Флинн вложила в эти два слога почти устрашающее презрение. Она точно выплюнула их. — Эльси! Они еще с ума не спятили, чтобы выбрать такую вульгарную особу для выступления от имени завода. Радио — это не ловля чужих мужей! А волосы! Видано ли что-нибудь подобное! У корней они черные, как у меня, а дальше — зеленые! Нет, только не Эльси! Я вас имела в виду, милочка. Да, вас. Почему бы и нет?

Услышав собственные тайные мысли, так смело высказанные другой, Нелли взволновалась. А миссис Флинн стояла перед нею и смотрела на нее в упор, как неожиданно-добрая колдунья.

— Ох, миссис Флинн, что вы!.. — ахнула Нелли. — Никогда меня не выберут!

— Но почему же? Почему? Объясните, почему! — рассердилась миссис Флинн.

— Да как же... С какой стати? Я делаю самую обыкновенную работу, а множество девушек работают здесь дольше меня... и... и...

— Будет вам! — воскликнула миссис Флинн. — Вы ничуть не хуже любой из них! И даже лучше. Работаете хорошо. Говорите чисто. Ведете себя прилично. Никому никаких неприятностей не делаете.

— Да, ведь, таких есть сотни...

— Господи, умеете же вы хоть постоять за себя, милочка! В том-то мое горе, что я этого не умела и позволяла мучить себя, и обманывать, и затирать. Следовало бы послать меня на радио, — у меня нашлось бы что сказать! Но на это надеяться нечего, а потому я считаю, что следует выбрать вас, как одну из нашей бригады.

Миссис Флинн обжегла глазами цех и, обнаружив неподалеку мистера Огмора, тотчас его окликнула.

— Ну, что у вас опять? — спросил он.

— Как это — опять? — свирепо огрызнулась миссис Флинн. — Что за манера разговаривать! С машинами, по-вашему, надо нежничать, а человека ни во что не ставить! Слушайте, мистер Огмор: пошлют меня от завода говорить по радио?

— Надеюсь, что нет.

— Значит, вы меня бракуете?

— Вы можете там вогнать людей в чашотку...

— Ладно, не буду сейчас обращать внимания на ваши оскорбления. Слушайте, мистер Огмор. Я вам до сих пор немного досаждала, но прямо скажу — это пустяки в сравнении с тем, что будет, если вот эта девушка, Нелли Диттон, не поедет в Лондон. Раз она не умеет за себя постоять, так я за нее постою!

— А знаете, ведь это не плохая идея, —

сказал м-р Огмор, явно заинтересованный. Он посмотрел на Нелли так заботливо, как будто это была новая машина. Нелли почувствовала, что краснеет. — Но, разумеется, не я буду выбирать.

— А кто же? — спросила миссис Флинн, кажется, воображавшая, что м-р Огмор — первое лицо на заводе.

— Мистер Проскот, вероятно, или мисс Шиптон.

— Так вы им скажите.

— Что ж, можно. А вы бы согласились ехать, Нелли? Если нет, так не стоит и говорить с ними об этом. Что вы скажете?

Оба посмотрели на девушку, а она чувствовала, что у нее горит не только лицо, но и все тело, и разбегаются мысли. В одну секунду она представила себе, как все будет, что скажет мать, не верившая всему тому, что сообщалось по радио о войне; как мать будет уговаривать ее не гулять; как тетка будет ее поддерживать.. Подумала об ожидавших ее колкостях, «шпильках», завистливых насмешках, начала уже собирать букеты..

— Я, право, не знаю, мистер Огмор, — сказала она, запинаясь. И вдруг быстро закончила: — Да, я согласна. Я бы хотела, чтобы вы поговорили обо мне, если найдете, что я гожусь!

— Конечно, годится, Нелли, — сказал Огмор, дружески кивнув ей. — И я сделаю, что могу, хотя я человек маленький. Пожалуй, поговорю о вас с некоторыми старостами. В конце-концов, представителей от рабочих должны выбирать сами рабочие. Ну-с, а теперь, — добавил он, сурово глядя на торжествующую миссис Флинн, — не мешало бы немного и поработать, как вы думаете?

Несколько позже, как аккомпанемент к смутным, но радостным мыслям Нелли, грянул Шотландский оркестр Радио-Корпорации. То была очередная трансляция «Музыка во время работы». Один из репродукторов был неподалеку от Нелли, и привычный шум завода для нее словно растаял в этой новой, красочной и сверкающей панораме звуков. Нелли слушала, зачарованная, и под влиянием музыки в ее воображении проносились, как обрывки ярких снов, отдельные картины прошлого. Военный марш с его торжествующей медью звуков вызывал в памяти солдат на параде, — не мрачных фронтовиков военного времени в их железных касках, а почему-то более четких в памяти солдат мирного времени, таких, какими их рисовали в книжках с картинками, — безобидных и веселых, похожих на живые игрушки. Мотив веселой песенки, слышанный много лет назад, будил воспоминание о поездке на морское побережье, — и вдруг ее словно обдувало соленым ветром и перед нею вставали ветхие доски пристани, белые пласты, мороженое и мятные леденцы, безбрежная мерцающая голубизна моря. Вальс, быть может, из какого-

нибудь виденного ею фильма, зажигал в зелено-белом тумане ангара, освещенного ртутными лампами, теплые золотые огни больших люстр, под которыми кружились блестящие гусары и белокурые красавицы в сверкающих нарядах. А там снова звенели неизбежные шпоры «динь-дон-дон», и Нелли ехала рысью в незнакомой пустыне, среди кактусов, рядом с красивым статным всадником на черном коне, всадником с Дальнего Запада, готовым целовать землю, по которой ступала одна девушка, несколько похожая на нее, Нелли. У него были черные усики и сильные руки..

И вдруг подле нее очутился живой, всамделишный герой, который смотрел на нее с улыбкой. Это был командир звена Ривс, откомандированный из корпуса истребительной авиации в распоряжение министерства. Нелли видела его уже несколько раз, так как он регулярно посещал завод и раз даже устроил в столовой беседу, а в другой раз привел с собой еще двух летчиков и представил их всем. Мистер Чевитот рассказал однажды рабочим о том, как командир Ривс участвовал в Битве за Англию и был награжден орденом, как был побит и загорелся его «Спитфайр». Теперь у командира звена Ривса было два разных лица. Одно, если смотреть справа, — гладкое, загорелое, приятное, всегда улыбающееся лицо красивого молодого человека, голубоглазого, с кудрявыми светлыми волосами и белокурыми усиками. Другое лицо — слева — вряд ли можно было назвать лицом, ибо оно было багровое, неподвижное, ни старое, ни новое, очень странное, как будто лицо человека с другой или с другой чуждой планеты. Нелли слышала, что Ривс провел много месяцев в госпитале, пока ему кое-как составили из кусочков эту сомнительную половину лица. Но, с какой бы стороны на него ни смотрели, командир Ривс, так сказать, завоевывал сердца, ибо его правый профиль сразу привлекал людей, такой он был мужественный, веселый и красивый, а левый вызывал такую жалость к его обладателю, что вы готовы были сделать для него все, о чем бы он ни попросил. Но Ривс просил лишь одного: чтобы вы работали, не жалея сил, и готовили нашим ребятам на фронте побольше самолетов.

И вот он стоял подле нее, улыбаясь, и кажется, впервые собирался поговорить с нею отдельно.

— Хелло!

— Добрый день, — ответила Нелли застенчиво.

— Я вас, кажется, уже видел где-то? — спросил Ривс.

— Да, видела, — сказала она, краснея.

— Определенно видел, — продолжал Ривс, поблескивая правым глазом. — Чем вы сейчас заняты? — И, слушая ее объяснения, он рассматривал работу. Потом в не-

скольких словах рассказал Нелли, что делают с деталью, которую она готовила, как ее вставляют в самолет и каково ее назначение. И благодаря его объяснениям вся работа сразу приобрела в ее глазах новый смысл и значительность. Наверное, для того его и послали на завод.

— А кстати, — сказал он в заключение, переходя на более конфиденциальный тон, — кто этот человек, в том углу?

Нелли посмотрела туда, куда указывал Ривс.

— Это мистер Стоньер.

— Странный малый, неправда ли?

— Да. Иногда он бормочет что-то про себя, да и глаза у него такие странные. Знаете, — призналась она, — я его немного боюсь.

— Это понятно, — сказал командир звена. — Я бы на вашем месте то же самое чувствовал. По-моему, он ненормальный. Да, определенно ненормальный.

С минуту оба смотрели на м-ра Стоньера, а затем многозначительно переглянулись — дружески, «нормально» и радостно, совсем забыв о миссере Стоньере, который хмурился и бормотал что-то, одинокий среди множества людей...

24.

Гордон Стоньер казался гораздо старше своих лет, и объяснялось это тем, что он пережил много горя. Была у него когда-то маленькая, процветающая импортная контора, но он допустил, чтобы какие-то мошенники обманным образом отняли ее у него. Была жена, но после смерти их ребенка ушла от него. Ему не везло в жизни. Даже мать, не перестававшая тревожиться за него до той минуты, пока смерть не захрипела у нее в горле, иногда признавала, что он неудачник. Он и сам ясно видел, что его преследует несчастье, и порою это сознание вызывало в нем приступы ярости, порою же — какую-то угрюмую гордость. Он не хотел, чтобы люди знали, как его бесят постоянные неудачи. Как когда-то его мать, он считал, что самое лучшее — сторониться людей, избегать всех, кроме очень немногих, тщательно выбранных близких друзей. А теперь, когда он работал на заводе и жил в меблированных комнатах в соседнем промжициальном городке, он, к своему несчастью, лишился и этих немногих близких людей. Гордон Стоньер был теперь в буквальном смысле слова один на свете.

Это его не удручало. Если он испытывал настоятельную потребность сказать что-нибудь, как бывало по временам, — он обращался к любому человеку, оказавшемуся вблизи. Обычно ему было все равно, понимают его или нет. С некоторых пор он жил весьма напряженной и целиком поглощавшей его внутренней жизнью. Он много размышлял о религии, и мысли его казались ему новыми и оригинальными.

Вначале его мучили головные боли, особенно по ночам, когда он тщетно пытался уснуть, но в последнее время головные боли стали реже, и он все чаще слышал голоса. Эти голоса, очень внятные, задавали ему вопросы, на которые он не мог не отвечать, — поэтому он посвящал большую часть времени придумыванию надлежащих ответов. Он догадался почти сразу, что то были голоса каких-то неземных существ — архангелов и демонов, таинственных полубогов, имена которых ему пока не надо было знать. Ему было ясно, что он избран для того, чтобы найти ответ на их трудные вопросы, не только ради себя самого, но и ради спасения всего страждущего человечества.

На этой неделе возникло новое осложнение. Ему начали слышаться голоса (иногда те же, прежние) уже здесь, на заводе, внутри машин. Машина, у которой он работал, все чаще и чаще говорила с ним и постепенно как бы превращалась в живое существо. Другие машины также, но он, естественно, видел и слышал их не так хорошо, как свою. Разумеется, он прекрасно знал, что машина не может заговорить по собственному почину. Но из этого вовсе не следовало, что голоса из машин просто чудятся ему. Они исходили из машин потому, что обладатели голосов пожелали говорить с ним, Стоньером, именно таким, а не другим образом, напоминать ему и в рабочие часы о некоторых важных вещах. В этом нет ничего удивительного и необыкновенного. В библии чуть не на каждой странице читаешь о гораздо больших чудесах. Но, конечно, слышать эти голоса из машин, мог лишь человек, избранный для того, чтобы давать ответы, а если понадобится, то и действовать во имя измученного человечества. Голоса звучали внятно, повелительно, но смысл слов часто бывал загадочен, и вопросы ставили его втупик.

Вот, например, сегодня его машина все снова и снова твердила ему: «Под водою ты найдешь их». И больше ничего. «Под водою ты найдешь их». Время от времени ему удавалось услышать, что говорили другие машины. Одна все время бормотала: «Спасение не есть проклятие». Другая говорила что-то о сыновьях, бегущих к матерям. И, наконец, покрывая все голоса, какая-то большая машина сегодня три раза прокричала: «Где же жертва?» И всякий раз Стоньеру становилось ясно, что голос, звучащий из этой машины, говорит о самом важном, что вопросу о жертве надо вникать, что нужно поскорее заметить, какая именно машина задает этот вопрос, и внимательно прислушиваться к ней. Ведь она кричала так громко для того, чтобы привлечь его внимание.

Он раза два прерывал работу и пытался найти ту кричавшую машину, вслушиваясь то там, то здесь в их говор. Рабочие глазели на него, конечно, как всегда, и

Сидя из них сказал что-то, но Стоньер не обратил на него внимания. Нельзя сказать, чтобы эти люди ему не нравились. Нет, они просто казались ему все более и более нереальными, как призраки. По сравнению с таинственными голосами, давно уже заполнявшими его тесную комнату, а теперь начинавшими звучать и на заводе, замечания, с которыми к нему обращались, были попросту чириканьем, имевшим для него так же мало значения, как скрип и кряхтенье машин, нуждающихся в смазке. Из всех окружающих он замечал только одну молоденькую девушку, Нелли, с круглым, живым, глуповатым лицом. Он мало знал ее, — да и не имел желания узнать поближе, — но он почему-то был уверен что она девственница. А девственница в самом ближайшем времени будет очень нужна, — ему это было более, чем ясно, хотя он не мог бы еще объяснить, для чего. Возможно, что голоса прикажут ему найти девственницу.

Итак, ему теперь предстояло решить два вопроса (и отчасти поэтому окружающие стали казаться ему не людьми, а теньями, — ведь перед ним и не стояли такого рода задачи, они просто жили, ожидая смерти). Первый вопрос: через какую машину голос спрашивал о жертве? Второй — девственница ли Нелли? Стоньер угадывал, что между этими двумя вопросами существует какая-то связь.

В то время как он обдумывал все это, а день незаметно переходил в сумерки, его собственная машина, не повторявшая более фразы «Под водой ты их найдешь», а вместо этого бормотавшая всякую бессмыслицу, вдруг заплакала, закрывала высоким, взволнованным голосом:

«Красное должно залить белое».

Какое красное? Какое белое? И как одно может залить другое? Это нужно было решить как можно скорее. Голос звучал настойчиво.

Но только в тот самый миг, когда раздался гудок, возвещающий конец дневной смены, Стоньеру вдруг открылся смысл этой фразы. Его глаза остановились на густой, похожей на мыло, эмульсии, которая текла струйками по режущим краям и по всем тем частям машины, где происходит трение. Смазка была почти белая... А красная жидкость, которая должна залить эту белую, брызнув густоалой струей, могла быть только одна — кровь...

25.

Возвратясь на завод в четверг утром, мистер Чевииот пришел в свой кабинет ранее обычного. В это утро ожидался приезд Сэдди и Монтегю, представителей министерства.

Чевииоту были не страшны никакие Сэдди и Монтегю, хотя бы их было с полсотни, но предстоящее посещение его не

радовало. С Сэдди, может быть, и удастся поладить, хотя он, Чевииот, редко находит общий язык с чиновниками. Но Монтегю — его бывший служащий, которого он в 1939 году уволил с завода за непригодность к работе, и Монтегю не такой человек, чтобы забыть это.

Впрочем, в это утро была еще и другая причина, заставлявшая Чевииота сурово хмуриться, в то время как он просматривал отчеты, сидя за своим письменным столом.

Вчера вечером он из Лондона звонил по телефону своему сыну Дэвиду, командиру эскадрильи, служившему в береговой авиации. Дэвида на аэродроме не оказалось, и дежурный после некоторого колебания вынужден был ответить, что Дэвид Чевииот еще не вернулся из боевого полета и сведений о нем не поступало. Больше ничего дежурный не мог сказать, а знакомый адъютант, к несчастью, отсутствовал. Может быть, все обстоит благополучно, — ведь Дэвида могли послать в более дальний полет, чем обычно, и наверное, с секретным заданием, чем и объяснялись уклончивые ответы дежурного. Тем не менее Чевииот отошел от телефона сильно встревоженный и сейчас все еще продолжал беспокоиться. Жене он ничего не сказал. Пока нет оснований думать, что мальчик пропал без вести. Но Чевииот решил снова позвонить на аэродром, пока не приехали те двое из министерства.

Сделав над собой громадное усилие, он сосредоточил все внимание на отчетах и, читая, все время двигал мохнатыми бровями. Итоги были еще хуже, чем он ожидал. Даже если принять во внимание задержку материала у Стенбро и Финчема (которую он ездил устранять), выпуск продукции у него на заводе снизился недопустимо и снизится еще больше, если не будут приняты решительные меры. Чевииот записал себе кое-что для памяти и затем дал своим мыслям полную свободу. Это была не лень, а многолетняя привычка после моментов большой сосредоточенности предоставлять мысли их свободному течению. Таким путем он приходил к самым замечательным идеям. При ближайшем знакомстве с психологией, как наукой, Чевииот был тонким психологом-практиком.

Пришла за распоряжениями мисс Бэрроус с обычной для нее по утрам постной миной. Чевииот посмотрел на нее с неожиданным интересом. Мисс Бэрроус — угрюмая девица, так сильно жаждущая принадлежать к почтенному буржуазному кругу, что отторожилась стеной от всего окружающего. Но все же она — член их коллектива, она работает на их заводе. — Мисс Бэрроус, — промолвил он, перехватив ее хмурый и озобоченный взгляд. — Вы верите в чорта?

Всякий вопрос, выходящий за пределы

ежедневной рутины, пугал и ошеломлял мисс Бэрроус.

— В кого? — переспросила она, запинаясь. — Извините, мистер Чевииот, мне кажется, я ослышалась...

— В чорта.

Она слабо усмехнулась.

— Нет, мистер Чевииот, не верю. Кто же в наше время в него верит? Разве только самые невежественные люди.

— А я вот иногда верю, — возразил он. — Было бы очень удобно, если бы можно было вернуть чорта. Тогда я созвал бы собрание и сказал бы им: «Слушайте, кажется, старый Ник в последнее время облюбовал наш завод. Он, или кто-нибудь из его помощников, торчит, может быть, сейчас за вашей спиной, нащепывая вам в ухо то то, то другое. Так что вы не будьте слишком уверены, что теперешие ваши мысли и чувства — это ваши собственные, подлинно ваши мысли и чувства». Что-нибудь в этом роде сказал бы, мисс Бэрроус...

— Мне очень жаль, что вы расстроены, мистер Чевииот, — промолвила вдруг мисс Бэрроус, и в ее тоне и взгляде была неподдельная теплота, потому что она была искренно предана м-ру Чевииоту.

— Я знаю, мисс Бэрроус, спасибо вам. Как вы думаете, что тут у нас неладно?

— Не знаю, право, мистер Чевииот. Приходилось слышать разговоры... Разумеется, я...

— Что же говорят?

— Это бывает всякий раз, как вы уезжаете, — воскликнула мисс Бэрроус, краснея. — Мистер Блэндфорд и мистер Эзрик...

Она загнулась. Он не стал ждать продолжения.

— Мне надо с ними поговорить, но с каждым в отдельности. Позовите кого-нибудь из них, — все равно, кого.

— Слушаю, мистер Чевииот. Не знаю, пришел ли уже мистер Блэндфорд, но мистер Эзрик здесь. Я слышала, как он кричал в коридоре...

— Ладно, зовите Эзрика. А кстати, — он улыбнулся, глядя на нее, — что вы сейчас читаете?

Мисс Бэрроус ответила с довольным видом:

— Читаю «Возвращение» Томаса Харди, мистер Чевииот. Этот роман все очень хвалят.

— Да, и я о нем слышал, но не читал его. Я знаю другой его роман, об одной девушке Тэсс и нахожу, что автор, пожалуй, слишком жестоко обошелся с ней. Но оставим это. Отыщите мне мистера Эзрика.

Когда дверь за нею закрылась, он подумал о том, как хорошо было бы уехать на месяц-другой в какое-нибудь славное, теплое место, солнечный уголок, откуда видна сверкающая даль моря. Взять с собой туда запас хороших книг, открываю-

щих таинственную и пеструю панораму жизни, и проводить все время в обществе жены, которая не будет больше тревожиться за сына и будет сидеть и шить и слушать отрывки, которые он будет читать ей вслух, или его рассказы о прочитанном. Жена, может быть, и не умна, но она уютная женщина, а уютная женщина — великое утешение в нашем столь неуютном мире. В этом «уютном» характере его жены, который он так ценит, может быть, скрывается нечто вроде глубокой, чисто женской мудрости. Вот Бобу Эзрику сейчас была бы очень полезна хорошая доза такого душевного уюта, созданного доброй женой.

Он зорко посмотрел на Эзрика, желая проверить, не пьет ли он опять, и с облегчением убедился, что никаких таких признаков не заметно. У Эзрика был вид человека, доведенного до отчаяния и способного на всякие безрассудства, он напоминал быка, загнанного в угол и каждую минуту готового ринуться вперед, но он был, несомненно, трезв.

— Садитесь, Боб, и курите. Сперва я вам сообщу, что мы решили у Стенбро и Финчема.

И Чевииот с места в карьер начал рассказывать, чтобы скорее покончить с этим вопросом и перейти к более щекотливой теме. Кончив, он сдвинул брови и, постукав пальцем по лежащему перед ним отчету, сказал серьезно:

— Просмотрел я эти сведения, Боб. Хорошего мало, надо прямо сказать. А сегодня приедут из министерства Сэдли и Монтегю...

Эзрик беспокойно дернул плечом.

— Слыхали в Лондоне что-нибудь новенькое о войне, мистер Чевииот?

— Я не хочу сейчас говорить о войне, Боб, — сказал Чевииот резко.

В темных глазах Эзрика мелькнул огонек возмущения.

— Я спросил вовсе не для того, чтобы отвергнуться от неприятного разговора, мистер Чевииот. Но если вам не угодно сказать два слова...

— Мне угодно сказать очень много насчет цифр нашего отчета, а времени у меня мало. Ну, а в городе — если это вас интересует — я слышала только, что на фронте Восьмой Армии усиленные действия патрулей. Теперь объясните, почему вы задали свой вопрос, Боб.

Эзрик шумно втянул в себя воздух.

— Война — ответ на все. Я хочу сказать, что она объясняет вот эти цифры, — указал он на отчет. — Вот отчего я и спросил. Хотите слушать дальше, мистер Чевииот?

— Хочу, конечно. Говорите да поскорее, не будем терять времени.

— Вы хотите знать, почему падает у нас производительность? Причин мелких сколько угодно, — сказал Эзрик серьезно. — Во-первых, мы слишком раз-

Базисом наши старые кадры и у нас очень большой процент опытных новичков. Третьего дня я сцепился с Блэндфордом из-за производства шасси Д-5. Я был против реорганизации этой работы, так что мы оставили вопрос открытым до вашего приезда. Блэндфорд не успокоится, пока не избавится от последнего квалифицированного рабочего. Он их не любит.

— Оставим это, Боб...

— Затем, если говорить о мелких причинах, — задержка у Стенбро и Финчема сыграла более серьезную роль, чем все думали, потому что произошла очень уж не вовремя. Когда начинаешь производство нового предмета, все должно идти гладко, без единой зацепки...

— Вы правы, Боб. И я это учел. Я и сам несколько раз высказывал им такое соображение. Ну, хорошо, а какая же главная причина? Вы, конечно, скажете — война?

— Разумеется. Ею объясняются эти цифры, — сказал он, взяв со стола отчет, — и вот эти. Пусть наши выгонят Роммеля из Египта и Ливии, пусть высадятся во Франции или другом месте — и тогда вы увидите, как эти цифры пойдут скакать вверх. А когда на фронте все ни с места, и людям кажется, что война никогда не кончится, они невольно расхлябываются. Как их обвинять? Мы и сами в таком же состоянии, как они, — или были бы такими, если бы не старались держать себя в руках. Вот чего не желает понять Блэндфорд.

— Ну, ну, вы, как всегда, к нему пристрастны, Боб. У него есть свои достоинства.

— Я это знаю, мистер Чевииот. Он способный инженер и умеет организовать работу. Но он не хочет понять, попросту не хочет, что от настроения рабочих зависит многое. В его глазах они — столько-то единиц рабочей силы, столько-то человеко-часов. Он совершенно забывает, что они такие же люди, как он, — нет, в любом из них в тысячу раз больше человеческого, чем в нем. Он тешит себя мыслью, что они совсем не интересуются войной, вряд ли и вспоминают о ней, так что, когда производительность труда падает, он ищет каких-то иных причин этому, видит их в плохой организации, станках, инструментах и тому подобном.

— А вы, помимо всего прочего, объясняете это настроением людей? — спросил Чевииот медленно. — Действительно, пожалуй, в нынешней войне от него многое зависит. Когда есть подъем духа, даже в тех случаях, когда только этим одним и силен народ, — как, например, югославы, — народ этот держится крепко и борется, а когда он падает духом, его дело кончено. Я не хочу сказать, Боб, что наш дух сломаен. Беда в том, что мы... немного устали. У нас в Англии народ быстро устает, Боб, я это

давно замечал. Говорят, англичане ленивы. Это неправда. Им все быстро приедается, вот и все. А наши политические деятели и правительство не замечают, когда народ падает духом, потому что они не знают народа. Черчилль — единственное исключение, но и он не понимает, как нестерпимо надоела война большинству, не понимает потому, что для него она — постоянный источник волнений. Но оставим это. Слушайте, Боб... — Он сделал паузу и пристально посмотрел на Элрика.

— Да, мистер Чевииот.

— Не знаю, что представляет собой Сэдли, хотя я кое-что о нем уже слышал. Но Монтегю мы с вами хорошо знаем, не так ли?

— Господи, помилуй! Еще бы! — усмехнулся Элрик.

— Так вот. Они, вероятно, проведут тут весь день, будут всюду шнырять и разножывать. И я не хочу, чтобы они учуяли, что вы и Блэндфорд не в ладах. Я не хочу, чтобы они говорили мне, что отсюда все наши неурядицы, потому что я этого не думаю, а, если бы думал, так вас обоих давно бы здесь не было. Так что, Боб, не давайте им повода обвинять вас, вот и все.

— Постараюсь, мистер Чевииот. Но — верьте или нет — не я обычно бываю зачинщиком ссоры. Естественно было бы думать, что я. Меня самого удивляет, что это не так. Но это факт — начинаю всегда не я. Поэтому, если можно, мистер Чевииот, вы и Блэндфорда тоже предупредите.

Чевииот утвердительно кивнул головой и дружеской улыбкой дал понять, что разговор окончен. Когда Элрик ушел, он сделал еще несколько выписок из отчета и стал мысленно готовиться к беседе с Сэдли и Монтегю. Потом попросил мисс Бэрроус телефонировать на аэродром (который находился далеко от завода, на юго-западной части побережья), но сперва вызвать к нему в кабинет Блэндфорда.

Блэндфорд был, как всегда, бледен и невозмутим, и приветствовал своего начальника улыбкой, как будто искренней. Он сказал:

— Я только-что говорил по телефону с Стенбро. Ваше посещение, видимо, принесло пользу.

— Да. И у Финчема тоже я все уладил. Некоторые время они не будут тормозить нам работу. Правда, должен сказать в их оправдание, что и тот и другой завод сейчас переживают трудное время — нехватает площади, возятся с перепланировкой. Особенно плохо обстоит дело у Финчема. Не следовало нам связываться с этой старой скворешницей. Бедного Хенли этот завод состарил на десять лет.

— А вы не согласились бы отпустить меня туда на несколько недель, сэр? — спросил Блэндфорд со всей учтиво-

стью воспитанника закрытой школы. — У меня сложилось впечатление, что Хенли не все средства испробовал. Возможно было бы еще кое-что сделать.

— Я подумаю об этом, — сказал Чевитот ласково. — Спасибо за предложение, Блэндфорд. Завод Финчема всем нам встал поперек горла. Ну-с, значит, сегодня к нам явятся из министерства — и должен сказать, более неподходящий момент трудно было выбрать. Я уже говорил с Эзриком... Вас еще не было, — поспешил он добавить, — а я не хотел терять время.

Блэндфорд опустил глаза на свои элегантные серые носки, потом медленно поднял их и встретился взглядом с Чевитотом.

— И Эзрик, конечно, уверял, что я хочу еще больше понизить производительность труда на нашем заводе, заменяя опытных рабочих новичками? Что я думаю только о том, как бы угодить высшему начальству в Лондоне? Я знаю, это одна из его навязчивых идей, и это неправда.

— Не сомневаюсь. Но Эзрик и не говорил ничего подобного.

— Что ж, может быть, я к нему несправедлив. Но должен сказать, он становится с каждым днем все невыносимее. Позавчера у нас опять вышел шумный и неубедительный спор на производственном совещании. Он был неправ, и я ему это доказал, но в последнюю минуту он, кажется, перетянул на свою сторону большинство остальных, внушив им свой образ мыслей.. Если вообще это можно назвать образом мыслей...

Чевитот не улыбнулся.

— А как же иначе вы назовете это?

— У него не мысли, а эмоции. Между ним и мною та основная разница, мистер Чевитот, что Эзрик смотрит на все с узкой, предвзятой точки зрения, а я стараюсь смотреть на вещи широко и объективно.

— Мы все за вами это признаем, — сказал Чевитот довольно сухо. Ему не нравился оборот, который придал всему делу Блэндфорд. — Точка зрения Эзрика мне хорошо известна. Ведь он работает со мной довольно давно. Изложите теперь свою.

— Моя достаточно проста, — сказал Блэндфорд ровно. — Это точка зрения чисто государственная. У нас война. У нас нехватает людских резервов. Не будем закрывать на это глаза. Я провожу официальную точку зрения не для того, чтобы снискать что-то милости в Уайт-холле, а потому, что нахожу ее правильной. Я не меньше, чем Эзрик, люблю, чтобы у меня работали квалифицированные рабочие, но не считаю себя вправе поступать, как мне удобнее. Если работа завода и страдает от замены рабочих женщинами и подростками, — тут

ничего не поделаешь. Авиационная промышленность в целом не пострадает, а дело обороны несомненно выиграет. Так я смотрю на это. Эзрик же, мне кажется, не расстался еще с довоенными настроениями — ему все мерещится, что завод конкурирует с другими, и он считает своей обязанностью следить за тем, чтобы его завод был на первом месте.

— Да, это его обязанность, — перебил Чевитот. — Он главный инженер, и его дело — добиваться наилучших результатов. Тут он совершенно прав, но это не значит, что вы неправы. И я не согласен, что именно это — основная причина раздора между вами.

В эту минуту вошла мисс Бэрроус и доложила, что командира эскадрильи Чевитота на аэродроме нет, но адъютант записал номер телефона и обещал позвонить позвонить мистеру Чевитоту. Чевитот поблагодарил ее и ничего не сказал Блэндфорду о своем беспокойстве. Он считал, что, собственно, сказать нечего. Ему не удастся снестись с сыном, вот и все. Но в глубине души он ощущал холод и пустоту. Когда Блэндфорд снова заговорил, он прервал его, задав несколько технических вопросов.

Они еще обсуждали эти вопросы, когда по телефону сообщили, что Сэдли и Монтегю уже у главного входа. Чевитот как-то уныло взглянул на Блэндфорда. Тот усмехнулся.

— Я лично не думаю, чтобы они приехали с специальной целью наделаться нам неприятностей, — сказал он. — Не знаю, как ваш бывший служащий Монтегю — возможно, конечно, что он еще не забыл обиды, но Сэдли, по-моему, не тупица и человек не вредный. Вам удобнее, может быть, чтобы я занялся Монтегю?

— Пожалуй, — протянул Чевитот, не особенно довольный этим предложением. — Но я уже имел дело с Монтегю и не испугаюсь его, хотя бы его назначили премьер-министром. Монтегю знает о нашем производстве меньше, чем мы успели забыть. Нет, это я неудачно выразился, — потому что мы ничего не забыли, а он никогда ничего не знал.

Две минуты спустя они уже здоровались с новоприбывшими. Монтегю располнел, имел вылощенный и несколько надменный вид преуспевающего человека. Сэдли был высокий сухопарый мужчина. Казалось, невидимая рука оттягивала кожу на его лице: глазные веки были словно вывернуты и обнажали розовый край, щеки висели складками, нижняя губа отвисла и видны были длинные желтые зубы и бескровные десны. Говорил он высоким голосом, напоминавшим лошадиное ржание, — и от этого казался сварливее, чем был в действительности. Он не выказывал пока никакого намерения причинять неприятности заводууправлению и вообще ни-

этой воинственности, но Чевииот не придал этому значения: Сэдди, несомненно, стреляная птица и сумеет их гредать самым незаметным и джентльменским образом.

— Политика министра на сегодняшней день... — говорил Сэдди.

— Вчера мы побывали на заводе Блэкберна-Свифта, — говорил Монтегю. — Там работают замечательно.

Чевииот, державший наготове отчеты и свои заметки, вдруг ощутил тяжесть огромного груза усталости и печали. Он не хотел ничего объяснять этим людям. Не хотел никому давать объяснений. Ему хотелось молчать и ждать, чтобы ему объяснили некоторые вещи. Не относительно производства самолетов — об этом он знал все и сам. Не о войне. Даже не о послевоенной реконструкции. Нет, — о людях, мужчинах и женщинах, и о жизни... Чтобы пришел какой-нибудь мудрый старый человек и сказал ему: «Слушай, Джим Чевииот, все просто и ясно, если смотреть надлежащим образом. Я знаю, что тебя смущает. Слушай...» А затем он, Чевииот, пригласил бы десяток товарищей — Эарика, Блэндфорда и других — провести с ним вечер и после легкого ужина и курения сказал бы им: «Я учусь у жизни. И все оказывается просто и ясно, если смотреть надлежащим образом. Вы растеряны, как раньше был растерян я. Слушайте же!»... Да, в юности нас посылают в школу, чтобы она помогла нам выйти в люди. Но, видно, есть еще другая школа, где учат не фактам, а мудрости. В эту школу попадаешь в средних летах и узнаешь в ней много такого, что тебя ошеломляет...

— Да, — сказал он вслух. — Надо переучиваться...

Все уставились на него.

— Ну, ну, мистер Чевииот, — сказал Сэдди, смеясь. — Дело не так уж плохо...

— Может ли быть хуже? — возразил Чевииот. — Нет, нет, я говорю не об изготовлении самолетов. Я думал о другом, совсем о другом... Лучше оставим это, — добавил он с видимым усилием. — Вы, конечно, захотите ознакомиться с нашими показателями, господа, так вот отчет. И вам следует учесть два-три обстоятельства...

26.

Сказав двум мальчикам, что, если они похожи на обезьян, так это еще не значит, что нужно и вести себя, как обезьяны, Альфред Клитон, ворча, вернулся на свой излюбленный наблюдательный пост. Если кому-нибудь желательно получить от него сегодня нагоняй, за ним дело не станет! Он попрежнему сосал пустую холодную трубку, ибо Роммель все еще был в Египте. Его злили вести с фронта. Его злило то, что творилось

на заводе, он готов был возненавидеть чуть не всех людей вокруг. Словом, Альфред Клитон был сильно не в духе.

Заносчивая молодая особа, недавно выдвинутая в бригадиры сборочного цеха, подошла к нему, широко шагая, и он неодобрительно посмотрел на нее поверх своих старых очков.

— Я из сборочной, — объявила она.

— Знаю, — сказал он сухо. — И замечая, что вы с каждым днем все больше модничаєте!

(Вид у нее такой, как будто она выступает в пантомимах. Накрашена так, что хоть сейчас на сцену).

— Мы будем браковать те детали, что вы нам вчера прислали.

— Да что вы говорите! — этим полным иронического ужаса восклицанием он хотел задеть ее. И достиг цели.

— Мистер Фробшер... — начала она запальчиво. Но он перебил ее.

— Нечего толковать тут о мистере Фробшере. Он мне не указчик!..

— Может быть, и нет. Да не в этом дело.

— Вот я вам сейчас покажу, в чем дело. Идите сюда.

Он подвел ее к ближайшему станку.

— Глядите! Видите, что они делают? Ну, так вот — мы целый месяц сидим на этих деталях. А вы этими недозвольны? Нет? Совсем другими? Значит, вы не туда зашли, мисс. Катитесь и предъявляйте свои претензии в другом месте.

— Грубить все-таки не следует, — сказала сердито «сборочная».

— Я вообще грубый человек. А в особенности сегодня.

— Хорошо, что вы это сознаете.

— Вот и будьте довольны этим, — сказал он, глядя ей вслед и злорадно отметив про себя, что у нее нелепо большой зад и она им не очень-то красиво виляет. Да, завод начинает походить на мастерскую дамских нарядов... А его жена, которая прожила с ним тридцать лет, не придумала ничего лучше, как ревновать его!

— Сегодня свodka немножко лучше, — сказал ему Фред Сколби. Можно подумать, что специальность Фреда — слушать сообщения по радио.

— Ну, я этого не заметил, Фред.

— Как же! Сказано, что в районе Аламейна операции приняли более активный характер...

— Операции приняли более активный характер! — воскликнул Клитон с жестоким сарказмом. — Четвертый год воюем — и нам ничего более не могут сообщить, как то, что в районе Аламейна операции стали активнее! И, назерное, что еще три немецких грузовика расстреляны нашими пулеметами! Нет, когда мы начнем? Вот ты мне что скажи! «Более активный характер!» Как вам это понравится!.. Посмотри-ка, Фред,

на тех двух женщин, — вдруг перебил он сам себя. — Понимают они, где работают, или нет? Подойди к ним, парень.

Тут Клитон с чувством, похожим на восторг, увидел Боба Эрика, который несся прямо на него. У Эрика был сегодня еще более свирепый и воинственный вид, чем обычно: его налитые кровью глаза еще больше напоминали глаза быка. Клитон был рад его приходу: вот человек, на которого стоит излить свое раздражение, это не то, что мелкая сошка, Фред Сколби, или раскрашенная девчонка из сборочного. Поругавшись как следует с Эриком, он ответит душу и не будет больше срывать злость на них в чем неповинных рабочих.

— Ну-с, — начал Эрик как-раз таким тоном, какой нужен был Клитону.

— Что означает ваше «ну-с»? — отпарировал Клитон, глядя на него в упор. Эрик указал жестом на ряд неработавших машин.

— Это еще что такое? Можно подумать, что война кончается.

— А на самом деле, мы ее, кажется, никогда не начнем!

— Оставим в покое войну, — сердито оборвал Эрик.

— Вы сами о ней заговорили, не я...

— О, господи! — воскликнул Эрик. — Заткнитесь, Клитон! Скажите лучше, что такое у вас тут делается? Прогулы?

— Трое. Один — ручаюсь, чем угодно — не вышел после попойки, другой сделали какую-то операцию — тут уж ничего не скажешь, верно? Ну, а третья — о ней вам известно. Это та, что позавчера порезала руку, Джойс Дирхерст.

— Так она не ходит на работу? — сказал Эрик, нахмурясь.

— Да, пользуется случаем, — отозвался Клитон. — Я спрашивал о ней вчера сестру Файли. От сестры-то я и узнал, что вам об этом случае известно. Значит, все в порядке, не так ли?

Эрик не ответил и только недовольно посмотрел на него.

— А я так примечаю, — продолжал Клитон, втайне потешаясь, — что девчушка эта совсем не любит работать. Я это с первого дня заметил. Ничуть не удивляюсь, если мы ее больше не увидим. Впрочем, может быть, и увидим, но не на заводе, а в какой-нибудь здешней лавке, где она отвесит нам четыре унца леденцов или чего-нибудь в этом роде...

Тут Клитон, к своему удивлению, заметил, что у Эрика уже не сердитый, а какой-то жалкий и убитый вид. Это был совсем не тот Боб Эрик, с которым он любил препираться, которого всегда «задирали». Вчера они с сестрой Файли обменялись мнениями насчет Эрика и девушки и посмеялись над его слабостью. Но сейчас, увидев

этого нового, незнакомого Эрика, Клитон понял, что тут не до смеха.

— Послушайте, мистер Эрик, — начал он сконфуженно.

В Эрике моментально произошла перемена. Лицо его опять приняло гневное, вызывающее выражение.

— Что еще слушать? Мне некогда, Клитон. Я зашел мимоходом, только для того, чтобы сказать вам, что ваше отделение надо привести в более приличный вид, а то оно похоже на благотворительный базар в ненастный день. Сегодня завод будет осматривать два типа из министерства. И я уверен, что они нас возьмут в оборот!

— А почему? Разве у нас что неладно? — спросил Клитон с искренним удивлением.

— Я откуда знаю? Я не сидел с ними вчера вечером, когда они, вероятно, все это обсуждали.

— Вчера вечером? Да их тут вчера вечером еще не было.

— А разве я сказал, что они были тут?.. Им это и не нужно, чтобы решить, что у нас хромает.

Клитон возмущился.

— Не пойму я что-то, мистер Эрик... Должен же быть какой-то смысл в ...

— Не говорите мне ничего о смысле! — почти закричал Эрик. — Потому что я хорошо знаю, что его ни в чем нет, что все бессмысленно. С неба вы свалились, что ли? Нет, не говорите вы мне ничего. Лучше постарайтесь сегодня подтянуть вашу честную компанию. Посмотрите, например, на ту толстуху...

— Она с фермы. Ей кажется, что она все еще доит коров.

— Так ступайте и разубедите ее в этом! Или, по-вашему, этим должен заниматься я? О, господи! Действуйте, Клитон, вместо того, чтобы разговаривать!

И Эрик умчался, не дав Клитону, к большой его досаде, сделать новый саркастический выпад. Но старый мастер знал, что Эрик, при всех его недостатках и вспыльчивости, не стал бы поднимать шума из-за пустяков. И, ворча про себя, прошел вдоль ряда, сделал несколько резких замечаний Фреду Сколби, затем пошел жаловаться, что работа в его отделе сильно задерживается из-за отсутствия материала. Полученный им ответ ничуть не улучшил его настроения. Какая-то сопливая девчонка ему заявляет, что новые болванки делает не она! Как будто он сам этого не знает!

Возвратясь к своему месту, он застал там незнакомого господина, розового, откормленного, самоуверенного. Он разговаривал с Фредом Сколби, и у Фреда тон был заискивающий.

— Ладно, Фред, ступайте, — сказал

Клитон отрывисто. И обратился к посетителю:

— Я мастер этого отделения. Вам что угодно?

— А, Клитон! Вы меня не помните?

И тогда Клитон, конечно, узнал его. Ведь это тот «втируша» Монтегю, которого в 1938 году назначили заместителем управляющего, а потом, в начале войны, мистер Чевииот уволил. Откуда он опять взялся?

— Теперь я вас узнал, — сказал Клитон без особого воодушевления, но довольно вежливо. — Что, осматриваете завод, мистер Монтегю?

— Осматриваю завод, — подтвердил Монтегю с оттенком какого-то не очень приятного удовлетворения. — Я теперь в министерстве служу, Клитон.

— Вот оно что! А я об этом понятия не имел.

— Да, в министерстве. Инспектором.

— Так, так.

— Сегодня вы, кажется, не перегружены работой, а, Клитон?

— Да, работы мало. Во-первых, нам не доставляют болванок. Я тут ничего не могу поделывать, не так ли?

— Вас никто и не винит. — Монтегю говорил довольно резко, должно быть, возмущенный тоном Клитона. — Но помимо этого, мне кажется, есть некоторые недочеты, которые вы легко могли бы устранить.

— Какие, например? — спросил Клитон умышленно ворчливым тоном.

— Я вам сейчас покажу.

— Нет, мистер Монтегю, вы мне не показывайте, а просто скажите. Монтегю смерил его ледяным взглядом.

— А почему мне не показать их вам, Клитон? Не нравится мне позиция, которую вы заняли!

— Никакой позиции я не занял, — сказал Клитон решительно. — И никакой обиды тут нет, если вы это имеете в виду, мистер Монтегю. Если бы у меня работали наши старые опытные рабочие, которых с толку сбить не так-то легко, я бы не возражал, чтобы вы обошли со мной хоть все отделение и делали мне при них замечания. Но сейчас другое дело, понимаете? У меня тут уйма новых людей, которые ни черта в деле не смыслят, и если вы или кто другой начнете ходить со мною от станка к станку да учить меня при всех уму-разуму, некоторые из них завтра же начнут мне перечить и заявлять, что я сам ничего не понимаю. А сейчас и без того работу налаживать нелегко. Так что вы мне ничего не показывайте, а просто скажите здесь. Я и так пойму. Как-никак, не первый день работаю..

Монтегю и не пытался скрыть свое раздражение.

— Не думаю, чтобы мистер Чевииот одобрил ваше поведение, Клитон.

— А я думаю, что одобрит, если ему объяснить все так, как оно есть, — возразил Клитон твердо. — Я мистера Чевииота немало лет знаю. Он человек толковый..

Монтегю проглотил обиду и даже слегка улыбнулся.

— А с Блэндфордом вы ладите, Клитон?

— Мне с ним, с мистером Блэндфордом то-есть, мало приходится иметь дело.. Он, конечно, человек другого сорта, чем те, с кем я привык всю жизнь работать, но видно, что в нашей работе разбирается. Все говорят, что он хороший инженер. Но мне, конечно, больше всего приходится иметь дело с мистером Эриком.

— Ах, да, Эрик. Ну, а что вы скажете о нем?

Клитон посмотрел ему прямо в глаза.

— Мистер Монтегю, вы не хуже меня знаете Боба Эрика, зачем же спрашивать?

— Когда я знал его, он еще не был главным инженером, — сказал Монтегю. — И с тех пор прошло несколько лет. Человек меняется, особенно, когда его так быстро продвигают. До меня дошли кое-какие слухи об Эрике. вот и все.

— Слышал и я разное, — сказал Клитон с готовностью — и тотчас же подметил огонек, вспыхнувший в глазах Монтегю. — И мы с ним частенько ругаемся. Вот еще сегодня утром была у нас перепалка. Некоторые мастера и подручные его не любят.

— Я так и думал, — сказал Монтегю быстро, слишком быстро.

— И, конечно, у нас на заводе все идет не так гладко, как следовало бы..

— Далеко не так гладко, — подхватил Монтегю, опять что-то слишком уж торопливо.

— Но я вам скажу, что я думаю, мистер Монтегю. Мое мнение такое, что все было бы много хуже, прямо сказать, чертовски плохо, если бы не Боб Эрик.

— Почему вы так думаете, Клитон?

— Я ведь работал, не забудьте, и с другими, не только с ним, — сказал Клитон с ударением и мысленно добавил: «С тобой, например».

У Монтегю на языке вертелся резкий ответ, но он сдержался. Он смотрел в упор на Клитона, которого это несколько не смущало.

— У вас, я вижу, в последнее время всегда есть о чем поговорить, а? — сказал, наконец, Монтегю.

— Как раньше, так и теперь. Болтуну меня никто никогда не называл, но, я, как всякий человек, люблю высказывать свое мнение. Это понятно, не так ли? Ну, как там в Лондоне, мистер Монтегю? Двигают войну, а?

— Двигают не хуже, чем вы здесь, Клитон.

И Монтегю, чувствуя, что лучшей заключительной реплики ему не придумать, простился с Клитоном коротким кивком без улыбки и торопливо ушел, сохраняя важный, официальный вид. Клитон насмешливо посмотрел ему вслед. Настроение у него немного улучшилось.

27.

Берта Сюэлл, одна из помощниц миссис Холт, знала, что этот завтрак в маленькой столовой для служащих затеян по какому-то особому случаю. Утром заходил мистер Проскот и совещался очень серьезно с миссис Холт. Ожидали двух гостей, важное начальство из Лондона, и завтрак заказан был на десять человек. Им приготовили овощной суп, жаркое, зелень и овощи, сладкий рулет с коринкой, сыр и кофе. Ничего особенно замысловатого, но хороший, солидный завтрак, за который они должны быть благодарны, откуда бы они ни приехали — из Лондона или не из Лондона.

— Я сама буду накладывать на блюда, — сказала Берте миссис Холт. — А ты будешь прислуживать за столом, Берта. Я знаю, что на тебя можно положиться.

На Берту действительно можно было положиться, так как Берта три года служила в кафе «Под старым дубом» в Фарлее. Она ушла оттуда только после того, как вышла замуж за Тома Сюэлла, у которого тогда была очень хорошая работа в мастерской электроприборов на Маркетстрит. Теперь Том служил в авиации, в аэродромной команде, где-то около унылого Восточного побережья. А Берта, оправившись после неудачных преждевременных родов, бывших для нее тяжелым ударом, поступила на Эмлдаунский завод. В заводской столовой работы было не больше, чем в кафе, и Берта несравненно меньше уставала, потому что здесь не приходилось так много часов быть на ногах. Кроме того, платили гораздо больше, и никто не нахальничал и не помыкал ею, как в кафе, где некоторые посетители, кажется, воображали, что они вместе с порцией жареной камбалы с картошкой покупают и тебя. Если бы не тоска по Тому и счастливой семейной жизни, Берта в сущности не замечала бы войны. Разумеется, затемнение очень противная штука. Но зато теперь люди казались ей гораздо приятнее, чем были до войны. Некоторые люди в Фарлее, прежде спесивые, переменялись так, что их не узнать.

Оттого, что у Берты была пышная фигура, волосы настоящие белокурые (про нее так и говорили: «посмотрите-ка на эту блондинку»), смелые голубые глаза и довольно громкий, уверенный голос,

вряд ли кто догадывался, что она была очень робка и застенчива. Но когда дело доходило до попыток объяснить свои глубоко затаенные мысли и чувства, ее застенчивость становилась очень заметна. В этом отношении она была полной противоположностью Тому, который не только любил слушать себя самого, но и прочитал уйму книг о политике, и состоял членом «Клуба левой Книжки». Хотя Том и два-три его товарища без конца говорили о нацистах, и фашистах, и Китае, и Испании, а позднее — о войне, Берте далеко не все было ясно. Том утверждал, что эта война — дело рук богачей всего мира, что они боятся коммунизма и поэтому поддерживают Гитлера и Муссолини и подобных им людей, которые все против коммунистов. Но если это так — спрашивала Берта — то почему же богачи у нас в Англии не отказываются воевать, посылают своих сыновей на смерть, и платят такие большие налоги, чтобы было на что вести войну против Гитлера? А Том в ответ объяснял, что эти богачи были глупы и поняли слишком поздно, что с наци и фашистами каша не сварится. И еще он сказал, что даже сейчас эти люди не хотят, чтобы война стала настоящей народной войной (это какая-то особая война, которую Том предпочитал всем другим), и намерены после войны удержать власть в своих руках. Да, Берта находила, что все это трудно понять, и робость мешала ей говорить об этом с другими. Но она очень много размышляла. Она старалась сама разобраться во всем, хотя это было нелегко.

Накрытый для завтрака стол в маленькой столовой выглядел очень нарядно, и миссис Холт даже добыла для этого случая хризантемы. В четверть второго, когда в столовой собрались все джентельмены, кроме мистера Чевюота, который прислал сказать, чтобы начинали, не дожидаясь его, Берта подала суп. Один из лондонских гостей говорил громким и каким-то свистящим голосом, как говорят по радио некоторые видные люди. Другой был не очень-то похож на джентельмена. Всех остальных Берта, разумеется, знала, так как подавала много раз в этой столовой. Мистер Блэндфорд был сегодня очень любезен и, видимо, чем-то доволен. Но мистер Эрик, который часто сыпал шутками и умел всякого рассмешить, сегодня сидел надутый и почти не разговаривал. Мистер Проскот, конечно, был мил, но, как и следовало ожидать, волновался. За столом говорили все о делах да о войне, — то, что говорят повсюду.

Затем — как раз, когда Берта подавала тушеную говядину, — вошел мистер Чевюот, и Берту прямо-таки поразил его вид: этот большой, всегда спокойно улыбавшийся человек сегодня был какой-

...песурый, и озабоченный, и усталый. Когда она спросила, будет ли он есть суп, он только покачал головой. Ни обычной улыбки, ни приветливого слова. А потом Берта заметила, что он безучастно смотрит на жаркое и ковыряет его вилок, как человек, который думает о другом или которому не нравится еда. А мистер Эрик теперь усталая на джентльменов из Лондона с таким выражением, словно собиравшая с ними ссориться. И только молодой мистер Энглиби, человек здесь новый и немного застенчивый, старался поддерживать разговор с мистером Блэндфордом и лондонцами.

Кое-какие из своих наблюдений Берта сообщила миссис Холт, в то время как обе они дожидались, когда можно будет подать сладкое. И миссис Холт, всегда хваставшая своей осведомленностью обо всем, что делается на заводе, объяснила Берте, что те двое из Лондона приехали для ревизии и, видно, не особенно довольны заводом, а мистер Чевит расстроен и этим, и кучей всяких других вещей. Мистер Чевит нравился им обоим. Что же касается его помощников, тут их мнения расходились. Миссис Холт решительно предпочитала мистера Блэндфорда, мистер Эрик ей совсем не нравился, она находила его грубым и вульгарным, он слишком много пил и вел себя неприлично. А Берта питала слабость к Эрику—потому что он замечал людей и, разговаривая с нею, помнил, что она женщина и притом собою недурна. Он был душевный человек и настоящий мужчина, — иногда хмурился, а иногда в его темных глазах зажигались лукавые искорки. Стоило только на него взглянуть, чтобы стало ясно, что он может натворить бед и что за таким нужен глаз. Но чувствовалось, что на дурное он не способен, а все его выходки только от глупой слабости и безрассудства.

Ссора началась, когда Берта подавала рулет с коринкой. Лондонец с громким свистящим голосом рассказывал всем что-то, видимо, очень его забавлявшее и вызывавшее смех некоторых слушателей. Берта была слишком занята своим делом и не разобрала, о чем шла речь. Но несколько минут спустя она уже имела возможность слушать все внимательно.

— А я, не вижу тут ничего забавного, — сказал мистер Эрик, когда смех затих. И было в его голосе что-то, испугавшее Берту. Этот тон не предвещал ничего хорошего.

— Спокойнее, Боб, — пробормотал мистер Чевит, который, как показалось Берте, не очень-то вслушивался в предыдущий разговор.

Заговорил второй лондонец, и было заметно, что он не любит мистера Эрика.

— А почему же вы находите, что это не смешно?

— Я скажу иначе, — ответил мистер Эрик запаальчиво. — Смешно это или нет, но мне это не понутру. Надоели такие анекдотики! Мне не смешно, когда люди делают свое дело недобросовестно или когда правительственные учреждения затевают между собой нечто вроде шахматной игры.

— А мы находим, что юмор весьма полезен, — сказал лондонец со свистящим голосом.

— Если вам не смешно, так не смейтесь, вот и все, — вставил его товарищ.

— Сначала вы спрашиваете меня, почему мне не смешно, а потом заявляете, что не хотите этого знать, — заметил Эрик еще запаальчивее. — Ну, а я все-таки объясню вам, раз уж вы задали такой вопрос. Война—это не двоянный номер юмористического журнала, понимаете? Мы боремся за свою жизнь. Половина Европы умирает с голоду. Польских школьниц насильно загоняют в публичные дома. Люди, которых мы знали, наши товарищи, служат вместо чулел японцам, которые учатся владеть штыком. Пол-России сожжено, разорено, разграблено дочиста. А мы продолжаем смаковать анекдотики о нашей бездеятельности и беспомощности, шутки, исходящие из Весминстера, болтовню из Уайтхолла, самые последние слухи из министерств. Этим еще можно было забавляться в октябре 1939 года, но в октябре 1942 года это уже не смешно!

— Так-то так, Эрик, — отозвался кто-то из присутствующих (не лондонец), — но посмеяться не вредно. Наоборот, полезно.

— Полезно! — закричал Эрик. — Ох, и надоело же мне слышать эту фразу! Пускай смеются наши солдаты в окопах, если их что-нибудь способно развеселить. Пусть моряков на военных судах тешит веселая шутка, если они еще способны шутить. Но, ради бога, давайте прекратим в тылу эти упражнения уайтхоллских юмористов! Кто-нибудь делает дьявольскую глупость, из-за которой, вероятно, на фронте какие-то бедняги лишаются рук и ног, а мы все весело хохочем, и это нам помогает мириться с такими вещами. Нет, если мы перестанем хихикать, нам будет гораздо труднее мириться, и тогда мы вышвырнем к черту несколько дорогостоящих нам шутов и начнем воевать, как следует.

Человек шесть заговорили все разом, но Берте пришлось уйти наливать кофе. Она с миссис Холт слышала из слововой голоса, звучавшие все громче и громче, но слов невозможно было разобрать. Когда же Берта, подождав несколько минут, чтобы дать джентльменам время доест пудинг, подала, на-

конец, кофе, она заметила, что громко-голосый гость, видимо, сильно не в духе, а второй, мистер Монтегю, стоял против Элрика и оба через стол меряли друг друга яростными взглядами.

— И я ни от одного своего слова не откажусь, — говорил Элрик. — Нравится это вам или не нравится, а скучать придется.

Поднялся хор протестов, но их покрыл голос мистера Чевииота, звучавший очень резко.

— Вы ведете себя недопустимо, Боб. Незачем было поднимать историю. Ведь они наши гости. Я вынужден извиниться за вас.

— Простите, — сказал Элрик, но не лондонцам, а мистру Чевииоту. И, сказав, поднялся и вышел из комнаты. Мистер Монтегю сел на свое место. Берта начала обносить всех кофе. Руки ее немного дрожали, ее встревожила сцена, которой она была свидетельницей. Она не любила, когда люди выходили из себя, скандалили, а когда это делали люди образованные, видные, которые должны бы уметь себя вести, это ее безотчетно пугало, даже и тогда, когда не задевало ее лично.

— Он безусловно неправ, — сказал лондонский гость с резким голосом. Когда он говорил, казалось, будто он каждое слово насаживает на булавку, — его речь звучала так напыщенно, такимнисходительным презрением. — Какой смысл принимать все слишком серьезно? Все мы напряженно работаем, и, когда слышим, что кто-то отколол штуку, идиотскую до комизма, мы смеемся. Смех ослабляет напряжение, в котором мы живем, и мы чувствуем себя лучше. Верно, Монтегю?

— Ну, конечно, — подтвердил Монтегю угрюмо.

— И вы, надеюсь, тоже такого мнения, мистер Чевииот?

Мистер Чевииот поднял голову. Он в эту минуту обрезал сигару.

— Не хотите ли сигару?

— Нет, спасибо. Я их не курю. Мне позвольте папиросу. Спасибо!

Мистер Чевииот аккуратно обрезал и зажег сигару, затем медленно встал.

— Вы еще посидите, господа, торопиться незачем, а меня уж извините. У меня накопилось много дела, потому что утром не удалось поработать... — Нет, нет, вовсе не из-за вашего приезда! Я сегодня узнал, что мой сын, который служит в береговой авиации, со вчерашнего дня не возвращается из полета... И, быть может, поэтому я, хотя и не одобряю поведения Элрика, скорее согласен с его мнением, чем с вашим, мистер Сэдли. Ну, я пойду, вы меня извините. — И он, тяжело ступая, вышел из столовой.

Когда Берта рассказала миссис Холт,

что говорил мистер Чевииот, глаза миссис Холт немедленно наполнились слезами. Миссис Холт была очень чувствительна и отзывчива, хотя иной раз создавалось впечатление, что она слишком уж, пожалуй, упивается своей жалостью.

— Такой красивый молодой человек! — воскликнула она. — Он приезжал сюда два два во время отпуска, и видно было, как отец гордится им. Пропал без вести со вчерашнего дня? Значит, надеяться больше не на что!

Берта не хотела с этим согласиться. Она заметила, что иногда летчиков подбирают в лодки и они пропадают без вести день-другой, а потом находятся.

Это не особенно понравилось миссис Холт, и она очень резко перебила Берту.

— Такие случаи — исключение. Нет, бедный мальчик погиб, это ясно. Какой страшный удар для матери! — добавила она с каким-то удовлетворением. — Надеюсь, мистер Чевииот выпил кофе? Ведь каких трудов здесь стоит приготовить чашку хорошего кофе!

Берта не прослезилась как миссис Холт, хотя и она видела сына мистера Чевииота и восхищалась им. У Берты было тяжело на душе, она ощущала непонятную пустоту и растерянность. Каким-то необъяснимым для нее образом все, что она видела, слышала, что передумала и перечувствовала за последний час, что пыталась понять из разговоров о войне, связывая это с ранящими душу мыслями о Томе, поведение мужчин за завтраком, бурное отчаяние Элрика, делавшее его таким грубым, злобное возмущение лондонского ревизора, неожиданное тяжелое горе мистера Чевииота, — все это слилось в одно чувство, которому не было названия. И от него ей было так не по себе, от него рождалась пустота в душе, серая тоска, ощущения человека, заблудившегося в тумане.

Машинально, не сознавая, что делает, Берта села, сложила руки на коленях, потом крепко сгиснула их. Поглядела на миссис Холт.

— Ведь все мы, как связанные... Правда? Я хочу сказать, мы как-то не можем сдвинуться с места... разве только тогда, когда... — она помолчала, — разве только когда дело коснется очень близкого человека или любимого мужа... да и то не всегда, конечно...

— Не понимаю, о чем ты говоришь, Берта, — сказала миссис Холт отрывистым тоном, ибо порывы чувствительности у миссис Холт исчезали так же быстро, как появлялись. — А я скажу только одно — они уже ушли, и чем скорее ты примешься за уборку, тем будет лучше для всех нас.

В столовой стоял густой табачный дым, пахло едой, и, казалось, еще не ушли тени людей, еще звучат их гром-

две слезы, взрывы возмущения и злобы и тайная печаль.

«О, Том!» — промолвила вслух Берта и вдруг рассердилась на себя и принялась усердно утирать со стола, чтобы удержать слезы. — «О, Том!..»

28.

Чарльз Фортеस्कью Сэдди, приехавший с Монтегю в качестве уполномоченного министерства авиационной промышленности, вышел после завтрака из столовой подавленный и обеспокоенный. Он не любил эти поездки на заводы, навязанные ему недавно из тех соображений, что, если придется принимать на месте какие-либо меры, то лучше, чтобы технического представителя сопровождал опытный штатный работник министерства. Сэдди находил такое решение правильным, но самая миссия ему претила. Во-первых, он не имел никаких технических знаний и ни капельки не интересовался авиационной промышленностью и техникой вообще. Он занимал раньше какую-то чисто административную должность в министерстве авиации, а министерство авиации ссудило его министерству авиационной промышленности. Когда-то, окончив Оксфордский университет, он поступил в министерство просвещения и теперь постоянно мечтал вернуться туда и навсегда расстаться с авиацией, изобретателями и инженерами. Война была для него кошмаром невероятно раздутых ведомств и учреждений, куда набирали всякий сброд, неожиданных опасных экспромтов, которые часто являлись уступкой общественному мнению, суеты, хлопот, переутомления, убийственных неудобств в быту. Он не верил в возможность создания какой-то новой, иной, Британии, потому что был убежден, что и те, в чьих руках фактически находится власть, тоже не верят в это, — а в то же время с ужасом замечал, что старая Британия, в которой он чувствовал себя так надежно, и удобно, и уютно, распадается по швам, умирает. А громадные новые заводы — пренеприятные, по его мнению, места — еще усиливали его растерянность и страх. Разумеется, они необходимы. Никто не знал этого лучше, чем он. Но в них было что-то не-английское, тревожащее. А тут еще смутившая всех и никому не нужная сцена во время завтрака, когда этот главный инженер завода, Элрик, неожиданно разбушевался и затем выскочил из комнаты. Отвратительная сцена. Люди, занимающие ответственные посты и допущенные к завтраку с представителями министерства, не должны позволять себе такие выходки. Им следовало внушить — все равно, как бы недавно они ни были выдвинуты, — что успешное

руководство немыслимо там, где возможны такие сцены. Порыв Элрика представлялся ему не только выходкой самого дурного тона, но и актом предательства, действиями члена Пятой колонны, представителя вульгарной, шумливой черни. И Сэдди, человек обычно довольно мягкий (вопреки своей наружности раздражительного брюзги, страдающего дурным пищеварением), сейчас мысленно решил, что он вместе с Монтегю, явно ненавидевшим этого Элрика, напишет в министерство самый резкий отзыв о нем. Он уже придумал две-три отточенных фразы, которые, как он знал, будут оценены по достоинству Фарли-Джонсоном и Грюю. Эти двое были любимые его товарищи, люди, умевшие писать, способные насладиться злободневной остротой, единственные люди в их отделе, равные ему по быстроте, с которой они решали кроссворды из «Таймс» во время утреннего путешествия из Сэррей в контору.

Уговорившись с Монтегю, что они уедут вместе в половине четвертого, Сэдди умышленно отделился от остальной компании и направился в учебный цех. Он рассчитывал, что там поспокойнее, чем в главном здании. К тому же Фарли-Джонсон просил его собрать кое-какие сведения относительно обучения рабочих. Он рассчитал, что при всех обстоятельствах успеет проделать это до половины четвертого, а там сядет на свое место в автомобиле, закроет глаза и решительно пресечет все попытки Монтегю, утомительно-словоохотливого и довольно-таки надоедливого малого, завести с ним разговор. Можно будет сослаться (не совсем отступая от истины) на то, что у него болят глаза и голова.

В учебном работали, конечно, все те же убийственные машины, но здесь они были размещены на довольно большом расстоянии друг от друга и производили меньше шума. После грохота и слепящего света в главном здании здесь казалось тихо и довольно терпимо. Сэдди с удовольствием осматрелся. Отличная затея! — эти учебные цеха!

Он с непригнуженной любезностью объяснил, кто он такой, мастеру, беззубому старикку, говорившему с ужасным шотландским акцентом. Сэдди мысленно сострил, что у этого субъекта зубы, наверное, агрофировались потому, что он их не употреблял при произношении согласных. Мастер, между тем, смотрел на него с меланхолическим выражением, жуя губами. И Сэдди, уже не в первый раз за этот день, подумал, что эти люди ему совершенно чужды и непонятны и он не сумел бы разговаривать с ними непосредственно и просто, как к себе подобным. Он испытывал такое чувство, как будто обращается к жителям какого-то дальнего материка, чернокожим ту-

земцам, которые слушают его молча, опершись на копыя, и по какой-то странной случайности понимают его язык.

С другой стороны, нелегко было и ему понять ответы этого мастера. Все же Сэдли удалось получить кое-какие основные сведения о работе учебного цеха, после чего он сказал, что хочет походить здесь и поговорить с учениками. — Видите ли, — пояснил он Джоку, — наше министерство намерено в скором времени сообщить с министерством труда выпустить отчет о том, как проведен на практике план подготовки квалифицированных рабочих на авиационных заводах.

— Ага, — произнес мастер, вложив в это коротенькое слово изрядную дозу скептицизма. — Ага...

Одно мгновение оба смотрели друг на друга через разделяющую их широкую пропасть, затем разошлись.

Первым привлек внимание Сэдли мальчик, круглое красноещеко лицо которого имело младенчески невинное выражение.

— Ну-с, молодой человек, — сказал Сэдли с деланной улыбкой и той фальшивой сердечностью, с какой люди солидного возраста обращаются к детям. — Расскажите-ка, чему вас здесь учат.

— Я не учусь, я уже работаю, — возразил мальчуган бойко. — Видите, вставляю эти пластинки вот сюда, и машина пробивает в них дырки. Вот так, смотрите! И Джок говорит, что из них делают части самолетов — настоящих, всамделишных самолетов!..

— Обязательно делают. А как тебя зовут?

— Рэндольф Перкинс. Папа у меня в армии, он уехал в Сингапур, и мы не знаем, что с ним случилось. А я — самый старший. У меня есть двое братишек и сестренка, но они еще маленькие.

— Ты, я вижу, молодец, Рэндольф, — сказал Сэдли немного торопливо и нервно. — И давно ты здесь?

— Только с этой недели. Теперь я встаю утром раньше всех. У меня есть будильник, мне дед подарил, — похвастал Рэндольф.

— Вот как! А тебе нравится здесь работать?

— Нравится, — сказал Рэндольф серьезно, как взрослый взрослому. — Здесь, по-моему, очень хорошо. Мама говорила, что мне здесь может не понравиться, и весь тот день, когда я в первый раз пошел на работу, она плакала. И вчера вечером тоже немного поплакала, но это, наверно, оттого, что тетя сказала ей что-то такое про нашего папу... Нет, мне здесь хорошо. И вчера сюда к нам приходил настоящий летчик, командир звена, и разговаривал со мной. И руку подал! А вы тоже работаете здесь на заводе?

Несколько опешив от такой перемены ролей, Сэдли ответил:

— Нет, я здесь не работаю.

— А где же? — последовал новый вопрос.

— Видишь ли, — сказал Сэдли, с удивлением замечая, что в голосе его появилась заискивающая нота, — я работаю в Лондоне, в министерстве авиационной промышленности.

— А, бю-ро-крат, знаю, — подхватил Рэндольф.

— Что такое? — крикнул Сэдли, меряя мальчика злым взглядом. Но в широко открытых голубых глазах Рэндольфа не заметно было и тени дерзости или лукавства.

— Я слышал, так про вас сказал один рабочий в столовой, — пояснил Рэндольф. — «Чистейший бюрократ» — вот он что сказал. И еще добавил, что от этого все задыхаются. А вы не задыхаетесь?

— Нет. Все это сплошной вздор. — Он опять пристально посмотрел на мальчика, но и на этот раз не обнаружил в нем ничего, кроме полной наивности.

Он в замешательстве пробурчал:

— Ну, ладно, Рэндольф, смотри, работай старательно! — выжал из себя прощальную улыбку и отошел.

Маленькая женщина, у которой волосы прядями висели вдоль щек, а нос напоминал пуговицу, с ужимками присела перед ним. Он посмотрел на нее удивленно и не без некоторой опаски подошел ближе. Женщина манила его с миной заговорщицы.

— Что вам угодно? — спросил Сэдли.

Она жестом звала его подойти еще ближе, хотя он и так уже стоял почти вплотную около нее. Он пошел на компромисс, нагнувшись к ней, так как был гораздо выше ее ростом.

— Моя фамилия Фью, — начала женщина визгливым шопотом, — миссис Фью. И я видела, как вы рассуждали с этим мальчишкой, Перкинсом. И вы не первый и не последний ошарашены после разговора с ним. Об этом мальчике одни говрят одно, другие говорят другое. А я скажу: он старомодный — вот он какой. Да.

— Старомодный?.. — Сэдли уставился на нее с беспомощным недоумением.

— Да. Я сразу его определила. Видала я и раньше таких старомодных детей. Вот, например, тот мальчик, что одно время приносил нам покупки из бакалейной лавки, он и с виду точь-в-точь как этот Рэндольф, — хорошенький такой маменькин сынок, щечки румяные, и глаза такие славные, так и хочется его поцеловать или дать ему монетку, потому что приятно увидеть, как он снимет шапочку да поблагодарит вежливо, просто любю. Старомодный ребенок, вот и все.

— Кто — мальчик из бакалейной лавки?

— Оба и тот и этот. Не разберешь, когда он говорит, — дерзкий ли он такой или наивный, смотрит тебе прямо в глаза и говорит такие вещи, за которые ему, по-настоящему, следовало бы уши оборвать, и муж мой ему пригрозил, что сделает это, — то-есть тому парнишке из бакалейной лавки, а не этому, потому что этого муж никогда и в глаза не видал, он ведь здесь не работает, да и я здесь человек новый, так сказать... — Тут она, наконец, остановилась, чтобы перевести дух.

— Понятно, — сказал Сэдли, поспешно выпрямившись. — Ну, спасибо, миссис Фью. Надеюсь, вам... э... здесь нравится.

Он спасся бегством, не дав ей времени продолжать эту интимную беседу. Но, боясь показаться смешным, если будет отступать слишком поспешно, остановился, как только оказался от нее на безопасном расстоянии. Рядом, у станка, стояла высокая красивая девушка, видимо, не слишком усердно работавшая. В настоящий момент она была занята главным образом тем, что с веселым любопытством рассматривала Сэдли.

— Здравствуйте, — сказал он, решив на этот раз не отступать от своей первоначальной программы. — Вы как будто не очень-то заняты.

— Нет, не очень, — ответила девушка совершенно хладнокровно.

— А почему же это так?

— А потому, что я понятливее других и работаю быстрее. Кончила работу раньше, а новой для меня не нашлось.

Это явно была не обыкновенная работница, а девушка с образованием, из более высокого социального круга. Сэдли с интересом вглядывался в нее.

— А работать здесь вам нравится? — спросил он и тут же пояснил ей, что он — из министерства.

На нее это, повидимому, не произвело ни малейшего впечатления.

— Я была секретарем мистера Блэндфорда, а потом решила, что здесь внизу работать занятнее. Да и денег буду получать больше, разумеется... — то-есть не сейчас, а тогда, когда я перейду из этого идиотского отделения на настоящее производство.

— Почему же идиотского?

— Да, нет, собственно, оно не идиотское, это я так... Джок — наш мастер — ведет дело очень хорошо. Но мне скучно, потому что вся работа такая легкая и вместе с тем такая кропотливая. И, кроме того, я хочу зарабатывать больше.

— Вот не подумал бы, что деньги имеют такое большое значение для девушки вашего... э... типа, мисс. Э...

— Моя фамилия Пиннель. Фреда Пиннель. Вы ошибаетесь, — деньги меня ин-

тересуют, потому что у меня нет ни шиллинга за душой и все наше семейство разорено.

— Вы не в родстве с сэром Гаем Пиннелем?

— Он мой дядя.. Ах, да, ведь он в вашем министерстве. Ладно, дарю его вам, мне он не нужен. Мы с ним никогда не были дружны. А жена у него — брр! Какое ничтожество!

Она холодно оглядела Сэдли с ног до головы.

— А что вы делаете здесь? Разнюхиваете, а потом пошлете донесение в трех экземплярах?

Сэдли попробовал усмехнуться.

— Мне кажется, что «разнюхивать» не совсем правильное определение. А донесение, возможно, и придется послать. Вам еще что-нибудь угодно знать, мисс Пиннель? — прибавил он с легкой иронией.

Но ирония пропала даром, ибо эту молодую особу смутить было не легко.

— Нет, как будто ничего, — ответила она с грациозной небрежностью. — Вы, вероятно, находите, что у нас работают с прохладцей? Но где сейчас работают лучше? Рабочие здесь хорошие. Правда, вид у них ужасный и разговоры их большей частью — форменная чепуха, но, в сущности, они народ неплохой. Беда в том, что никто не старается воодушевить их по-настоящему. У большинства жизнь очень унылая, и естественно, они пали духом. Знаете, в последнее время я начинаю приходить к заключению, что страна наша, как ни говори, — унылая страна. Может быть, в ней слишком долго все было спокойно, безопасно и прилично.

— Вряд ли вам доставило бы удовольствие жить в странах, где эта, как вы ее называете, безопасная и приличная жизнь кончилась, — сказал Сэдли сухо. — Таких стран сейчас несколько на континенте, недалеко от нас.

— Вы хотите сказать, что мне бы не понравилось, если бы мною помыкали эти скоты, — нацисты? Вы совершенно правы, — воскликнула Фреда с большей живостью, чем проявляла до сих пор. — Но неужели нам остается только одно из двух — либо гнет нацистов, либо гнет нашей прежней унылой жизни? Не могу понять.. Неужели мы не можем встряхнуться? Вот возьмите, к примеру, хотя бы того субъекта, что сейчас вошел — вон там, видите? Вы с ним уже, наверное, знакомы..

Сэдли увидел молодого человека в очках, которого уже видел утром за завтраком. Очевидно, кто-то из технического персонала.

— Да, конечно. Как его зовут?

— Морис Энглаби. Он инженер и, говорят, очень дельный. А я добавлю: это полный священной серьезности, самовлюбленный провинциал. Он скучен... Нет, пожа-

луй, не то, что скучен, — добавила она поспешно. — Он какой-то несуразный. Вот сейчас он будет делать вид, что пришел сюда к Джоку по делу, а на самом деле он пришел, чтобы поговорить со мной. Надеюсь, чтобы извиниться.

— А в чем ему извиняться? — спросил Сэдли. Он, конечно, сознавал, что министрство командировало его сюда вовсе не для того, чтобы стоять и вести такого рода разговоры, но эта девушка вызывала в нем невольный интерес и забавляла его.

— Мы несколько раз болтали с ним и наверху и потом здесь. А вчера вечером он пригласил меня поужинать в ресторане, в городе, и мы за ужином начали спорить — он постоянно спорит. А затем к нам подошел один мой знакомый военный, из части, которая стоит в городе, и... конечно, это моя вина, и человек этот — порядочный нахал... ну, и Энглби... обошелся со мной безобразно грубо: он просто-напросто встал и ушел. Так что он обязан извиниться, как вы думаете? Смотрите, как он юлит вокруг, а не подходит. Пусть, пусть повертится!

— Если это оттого, что я ему мешаю... — начал Сэдли.

— Конечно, оттого, но я непременно хочу, чтобы вы оставались тут, — воскликнула Фреда, обольстительно улыбаясь.

— А он все-таки идет сюда.

— Какой наглец! Послушайте, вы ведь из министерства и все такое, спросите-ка вы его, чего он тут дурака валяет, разве у него другого дела нет? Ну же! Сделайте это для меня!

— Хелло, мистер Сэдли, — сказал Энглби спокойно. — Решили ознакомиться с нашим учебным цехом? Добрый день, мисс Пиннель.

— Здравствуйте, мистер Энглби, — отозвалась мисс Пиннель холодно и сдержанно. И при этом умудрилась бросить Сэдли кокетливый взгляд, говоривший: «Сделайте это для меня».

— Мисс Пиннель, вы, кажется, окончили работу, которую дал вам Джок, — промолвил Энглби. — Теперь я хочу, чтобы вы проделали для меня на вашем сверляльном станке один небольшой эксперимент.

И он протянул ей металлические пластинки, которые до этого момента прятал за спиной.

— Просверлите их так же, как те, что вам давал Джок, и проделайте все точно так, теми же приемами: мне нужно рассчитать время операций с этим новым сортом пластинок.

Он вынул часы, затем посмотрел на Сэдли.

— Иной раз удается использовать учебный цех для таких маленьких опытов. Это удобно — не приходится отрываться от работы уже обученных людей. Ну, как, готово, мисс Пиннель?

Она машинально взяла пластинки, которые он ей протянул, но все еще стояла, не двигаясь с места. При его вопросе она вспыхнула.

— Нет, не готово. С какой стати вы мною командуете? Кем вы воображаете себя?

— Я заведую отделом рационализации, мисс Пиннель, — сказал Энглби с приводившим Фреду в бешенство терпеливым видом учителя, втолковывающего что-то отстающему ребенку. — И, если хотите, объясню вам подробно, почему выбрал для сверления этих пластинок именно вашу машину. Видите ли...

— Ах, оставьте меня в покое! — вспыхнула Фреда.

Сэдли бросил быстрый взгляд на Энглби — как-раз во-время, чтобы заметить сквозь левое стекло очков, как подмигнул ему молодой человек. И это был единственный момент за все утро, доставивший Сэдли истинное удовольствие. Он неожиданно почувствовал дружеское расположение к молодому инженеру и мысленно записал себе для памяти его фамилию. Но вслух сказал только:

— Ну, мне пора. Нет, не трудитесь меня провожать, мистер Энглби, я найду дорогу. До свиданья. До свиданья, мисс Пиннель. Если позволите, я передам все-таки от вас привет вашему дядюшке. Увижу его, вероятно, завтра.

Уходя, Сэдли посмеивался про себя. Впервые за весь день он, сам не зная, почему, пришел в хорошее настроение.

— А теперь забирайте свои идиотские пластинки, — крикнула Фреда, швыряя их Энглби.

— Нет, вставьте их в машину, — возразил Энглби без улыбки. — Мне действительно нужно проверить хронометраж.

— А я думала, что вы пришли извиниться, — сказала она менее самоуверенно, чем обычно.

— Извиниться? Конечно, нет. В чем мне перед вами извиняться?

— В том, что вы вчера вели себя похамски. Пригласил ужинать и затем ушел, как ни в чем не бывало! Я была в бешенстве. И сейчас еще в бешенстве.

— Очень жаль, — сказал он небрежно. — Но общество вашего друга, полковника майора, видимо, доставляло вам большое удовольствие, и я решил, что довольно послушалась пустой болтовни за этот вечер, и оставил вас вдвоем.

— Уж не воображаете ли вы, что после этого я еще когда-нибудь соглашусь встретиться с вами?

— Воображаю. Я как-раз собирался пригласить вас на завтра вечером. — В тоне его не было ни следа раскаяния или тревоги. — А теперь вставьте, пожалуйста, пластинки и пустите машину. Мне необходимо проверить время.

Фреда вставила пластинки и пустила машину. Она не хотела этого делать. Более того — она намеревалась бросить пластинки на пол и сказать Энглби, чтобы он не смел больше никогда подходить к ней. Но что-то помешало ей высказать это намерение. И, не успев даже сообразить, почему так вышло, она сделала то, что ей было сказано. Следя за машиной, она мысленно решала, как ей быть завтра вечером... Конечно, с его стороны верх наглости опять пригласить ее, да еще так небрежно, без тени сожаления о вчерашнем. Но, если она не пойдет, то она не сможет его проучить, а это непременно нужно сделать. И не пойти — значит наказать не его, а самое себя, потому что ей будет скучно.

— Я поеду завтра, но с одним условием, — сказала она неожиданно для самой себя.

Энглби протестующе поднял руку.

— Одну минуту, дайте мне записать время.

— А ну вас к черту с вашими опытами! — крикнула Фреда в порыве ярости и протянула уже руку, чтобы остановить машину.

Но рука Энглби, большая, сильная, схватила эту руку у кисти и удержала. Он смотрел на Фреду холодным и властным взглядом, будившим в ней целый ворох непонятных чувств.

— Не дурите, Фреда. Страна ведет войну, и мы с вами работаем на оборону. Мне нужно это расписание и нужно сегодня. Поговорить мы успеем в ресторане. А сейчас я работаю. Давайте скорее!

С громко стучавшим сердцем повернулась Фреда к машине. Под этой неожиданной покорностью кипела злость на него, на себя. Она чувствовала, что придется огненные постоянно встречаться с ним по вечерам, иначе она никак не сможет отплатить ему. Она победит его, а потом сведет с ним счеты, с этим самоуверенным грубияном в очках!

Она украдкой бросила на Энглби быстрый взгляд и убедилась, что вид у него вовсе не торжествующий и что он внимательно следит за стрелкой своих часов. «В нем все же что-то есть, — подумала она. — Какая-то сила, сдержанная и властная...»

Оба уже забыли о мистере Сэдли так прочно, как будто никогда и в глаза не видели этого джентльмена.

29.

На заводе только-что кончился рабочий день, хотя часы показывают уже поздний вечер. Дневная смена ушла, ночная еще не приступила к работе. Был тот короткий перерыв, когда шум машин утихает и только кое-где еще работают несколько человек, — чинят или налаживают станки. Стук их молотков и

громко переключившиеся голоса терялись в пустоте огромного помещения и только подчеркивали непривычную тишину. На дальнем конце цеха кто-то невидимый, — вероятно, один из учеников, — насвистывал что-то печальное и нежное, словно сюда залетела неизвестная птица. Чевииоту на галерее (из стояла, сгорбившись, у двери своего кабинета) это насвистывание было ясно слышно, и меланхолический мотив впитался в его мысли.

Он устал, и делать ему здесь больше было нечего, но идти домой не хотелось. Он тяжело привалился к массивным перилам и смотрел вниз невидящим взглядом. Монтегу и Сэдли уехали давно, увозя свой доклад министерству. После этого у Чевииота был ряд серьезных совещаний — с Блэндфордом, с Элариком, с несколькими другими работниками завода. Была и продолжительная беседа с группой заводских старост. Оставаться здесь ему больше было незачем, так как ночная смена не требовала его непосредственного наблюдения. Но он все не уходил.

Он оставил дверь в коридор открытой и сейчас услышал тихий звук, который привлек его внимание. Он посмотрел туда, откуда слышался этот звук. Лампы наверху горели (их вообще никогда не выключали), и Чевииот увидела Сэмми Хэмпа, подметавшего коридор.

— Поздно же вы сегодня убираете, Сэм, — сказал он тихо. — А я-то думал, что здесь полы натирает старый Джо.

— Так оно и есть, мистер Чевииот, — сказал Сэмми, подходя к перилам со щеткой и всеми прочими принадлежностями. — Но Джо сегодня не вышел на работу. У него прострел. Пришлось мне натирать. Сейчас только кончил.

— Так повремените минутку, Сэм. В последнее время нам с вами не часто удаётся поговорить. Папиросу хотите?

— Спасибо, не откажусь, мистер Чевииот. Закурив, оба прислонились к перилам и некоторое время молчали, думая каждый о своем. Стоя здесь, словно вися в пространстве над громадным, смутно видимым, таинственным залом, ярко освещенные сверху и сзади, эти двое казались героями какой-нибудь народной сказки — утомленный великан и добрый старенький карлик.

— Слышал я, — начал Сэмми после некоторого колебания, — насчет вашего сына, мистер Чевииот. Все тут у нас уже знают... И мы все очень вам сочувствуем, мистер Чевииот.

— Спасибо, Сэм. — Чевииот откашлялся, хотел как-будто сказать еще что-то, но промолчал.

— Но знаете что, мистер Чевииот: в береговой службе, как я слышал, такие отлучки ничего не значат, ровно ничего. Иной пропадает несколько дней, а потом

является. Их подбирают в лодки. Я сам видел раз в кино, как это делается.

— Да, знаю, Сэм. Я это самое твержу себе все время.

Но в голосе Чевииота не было ни следа уверенности. Наоборот, в нем звучало безнадежное отчаяние.

Сэмми укрادкой посмотрел на него и решил переменить тему.

— Говорят, тут сегодня ходили двое из министерства. Одного из них я как будто и сам видел. Похоже на то, что это мистер Монтегю — тот, что работал здесь у нас когда-то. Хорошего в нем мало — уж извините мою смелость, мистер Чевииот.

— Да ну, бог с ним, Сэмми, мне уже немного надоело сегодня слышать о нем. Оставим его в покое.

Несколько минут оба молча курили. Затем Чевииот дружески тронул Сэма за плечо.

— Что с нами всеми происходит, а? Как вы думаете, Сэмми?

— С кем это, мистер Чевииот?

— Да со всеми — ну, с человечеством, если хотите. С человечеством сегодняшнего дня.

— Может быть, это вроде как родовые схватки, — сказал Сэмми раздумчиво.

— Я сам так иногда думал... но не знаю... — Голос Чевииота оборвался.

— Конечно, люди делают кучу вещей, которых делать не следует, — продолжал Сэмми. — Если вспомнить, что творили в последнее время эти молодые нации, как тут не сказать, что в нынешнее время люди чорт знает до чего дошли, никогда такого еще не видано... А мне все-таки думается, что большинство делает это не по своей охоте. Их разжигают да натравливают.

— Может быть, и так, но они позволяют себя натравливать. И ведь есть еще те, кто натравливает. Их немало. А мы, все остальные, даже ради спасения от этих дьяволов неспособны объединиться и каждые пять минут ссоримся между собой. Вот возьмите хотя бы наш завод. Делаем мы здесь нужное дело, — о чем н' нужное и важное, а посмотрите на нас: как мы к нему относимся! Я вас спрашиваю, — что такое с нами всеми происходит?

— Мне так кажется, — сказал Сэмми медленно, с трудом подыскивая слова, — мне так кажется, мистер Чевииот, что людям вроде как не за что ухватиться... У них внутри пустоვაго... Они не знают, куда идут и из-за чего все это делается. И никто им не растолкует. Радио не говорит ничего. Кино не говорит. Кружка джина или еще там чего-нибудь, которую они выпивают в тракторе, тоже не помогает разобраться. Газеты не помогают. Люди вертятся, как в колесе, и все. Вы бы их послушали, мистер Чевииот!

У них на все один ответ: «Ну и что?» Пугает меня это ихнее «Ну и что?»

— Да, и меня пугает. Но есть ведь множество людей, Сэм, которые всегда готовы сказать вам, куда вы идете и ради чего все делается: пасторы, профессора, писатели и всякие другие.

— А я так думаю, что они и сами этого не знают. Если бы знали и верили, разве они не прибежали бы к нам с такими хорошими вестями? А благую весть люди не пропустят, услышат! Только бы господь дал...

— Я и не знал, что вы верующий, Сэм.

— Нет, мистер Чевииот, я в бога не верю. Я его помянул просто по привычке, как все... Обо мне говорить нечего, я не совсем такой, как другие люди...

— Вы — самый веселый малый на всем заводе, — сказал Чевииот ласково. — А ведь горя натерпелись, наверное, больше других. Как это вы можете?

— А я не обращаю больше никакого внимания на неприятности, мистер Чевииот, — воскликнул Сэмми. — Не обращаю внимания, и все. Как бы вам это объяснить... Я как будто прошел через все и вышел с другой стороны... Как начали на меня валяться беды одна за другой... сначала рука, потом эта нога... и чего только еще не было... — я бесновался, с ума сходил и вопил: «За что это мне?» — знаете, как бывает. Потом — помните, мистер Чевииот, — умерла у меня жена. Ну, и тогда все кончилось. Остался я, Сэмми Хэмп, калека, без руки, без ноги, каждую зиму бронхит, денег ни пенни, детей нет, ничего нет, — а тут еще помирает жена. Улыбнулась мне в последний раз, да и кончилась. Это меня добило, мистер Чевииот. Я сказал себе: «Теперь, Сэм, ничего больше не жди. Ты все равно, что умер, — лежи и засывай. Крышка!» Помню, просидел я тогда целый день и целую ночь, не евши, не пивши, ничего не делая, — смерти ждал... А потом думаю: «Что ж так-то сидеть? Пока смерть не идет, ты бы мог, Сэм, прибрать эту коңуру, — все лучше, чем сидеть сложа руки». Ну, и с тех самых пор — именно потому, что я ничего больше не ждал и ничего у судьбы не просил, — у меня как будто все наладилось. Меня радовало то, на что я раньше и внимания не обращал, потому что ни времени, ни терпения не хватало. Все, что с тех пор давала мне судьба, было вроде, как подарочек. Умереть не пришлось, — так я стал жить, но жить иначе. Понимаете, мистер Чевииот?

— Кажется, понимаю. Сэм, — сказал мистер Чевииот медленно. — И по-моему, вы нашли как-раз то, что нужно. Боюсь сказать уверенно, но, кажется, где-то в библии об этом говорится... Я как-то не умел никогда применять к себе всякие

библейские тексты. И скажу вам, почему это так. Я сколько себя помню, всегда был человек с чувством ответственности...

— Ну, еще бы, мистер Чевииот, — подхватил Сэмми с гордостью. — Как такому человеку, как вы, за себя не отвечать...

— А все эти изречения не помогают человеку, который не может отрешиться от чувства ответственности. Они предназначены для тех, кто решил прожить на этом свете кое-как, словно сидя на уложенных чемоданах и собираясь в путь. Но мы не можем умыть руки и сидеть на чемоданах... Во всяком случае, не все это могут. Мы должны делать свое дело. Я считаю себя ответственным за благополучие людей, работающих здесь. Не могу иначе, таков уж я. — Он помолчал немного. — На мне лежит ответственность и за моего мальчика, — добавил он тихо. — Да, Сэм. Отчасти потому я спою здесь так поздно и разговариваю с вами. Мне не хочется итти домой. Как я посмотрю в глаза его матери?.. Что мы делали, как могли допустить то, что сейчас творится! Наши дети были еще школьниками, когда мы уверяли друг друга, что Гитлер не замышляет ничего дурного, а теперь они вынуждены отдавать жизнь за нас. Там, внизу, Сэм, есть машины, которые я сам лично купил в Германии за какие-нибудь полгода до войны. А мы продавали немцам паровозы и готовы были продать все, что у нас имеется. Выгодная торговля! Хорошие сделки! А мальчики только-что со школьной скамьи, и матери их, и девушки, на которых они могли бы жениться, — все расплачиваются теперь за нас. Почему я не предвидел всего того, что надвигалось, почему не встал на дыбы, не завыл? Потому что я только инженер, а не политический деятель? Клянусь честью, Сэм, отныне я буду и инженером и политиком. И знаю, что другие тоже...

Он замолчал. Сэмми не подавал никакой реплики, надеясь, что м-р Чевииот отвлечется от мыслей о сыне. Но через минуту он пожалел о своем молчании, потому что м-р Чевииот снова заговорил о том же.

— Да, мы допустили это, Сэм. А дети расплачиваются. Вот у меня дочка замужем, а муж ее в армии. Что будет с нею, если и он порибнет? Мы — безумцы. Было бы правильно, если бы дети наши пошли теперь не на немцев, а на нас, и всех нас перестреляли.

— Я бы согласился с вами, мистер Чевииот, если бы нацисты не были такие, какими они оказались, — глубоко-мысленно возразил Сэмми. — Если бы они были такие же славные, добродушные ребята, как наши. Но старый пасторник, Гитлер, всех их там свел с ума... Хотя и то сказать: не будь они

так пусты, он бы не мог начинить их всякой дрянью. Может быть, если бы мы могли служить им хорошим примером, они бы не так легко поверили его вранью. Но разве они не знают, что у нас сотни тысяч людей голодают без работы, получая грошевое пособие?

— А любопытная это штука, Сэм, — наблюдать, как растет сын, — продолжал Чевииот задумчиво, не слушая его. — Просыпается в тебе гордость. И в то же время смирение. Видишь в его глазах, таких чистых и ясных, и блестящих, то одно, то другое, когда-то уже пережитое тобою, — и не знаешь, смеяться или плакать. На минуту к тебе опять возвращается молодость, а там становишься как будто еще старше. Но никогда еще я не чувствовал себя таким старым, как сейчас. Мне кажется, будто мне тысяча лет, Сэм... Ох, я что-то разболтался... Шли бы вы домой, Сэм. Вы обрабатали долгий день.

— А я не устал, мистер Чевииот. И напрасно это вы... Человеку иногда нужно выговориться. Немало у нас на заводе найдется людей, которые были бы рады и горды, если бы могли стоять тут, как я, и слушать вас, мистер Чевииот. Не только потому, что вы — хозяин, а потому, что вы — наш мистер Чевииот. Все знают, что вы человек правильный.

— Хотел бы я знать наверное... — пробормотал Чевииот. — О, господи!.. Хотел бы я знать, где теперь мой мальчик...

Он уронил на плечо Сэмми свою большую, тяжелую руку, и она давила так больно, что Сэмми едва сдержал крик. Но он стойко терпел этот груз на своем плече, — и минуты две оба стояли неподвижно в такой позе — печальный и усталый великан и беспомощно жалеющий его карлик.

Из наружного коридора послышались женские голоса. Один голос спросил, где мистер Чевииот, другой ответил, что он, должно быть, уже ушел домой.

— Нет, нет, я здесь! — крикнул Чевииот громко и, выпустив плечо Сэмми, зашагал, тяжело ступая, туда, откуда доносились голоса. Сэмми одно мгновение был в нерешимости, потом все-таки пошел за ним. Он пришел как-раз во-время, чтобы услышать, как первая девушка сказала, что мистера Чевииота вызывают по телефону с аэродрома.

Сэмми стоял на пороге кабинета и смотрел, как мистер Чевииот медленно-медленно взял из рук девушки телефонную трубку. Лицо м-ра Чевииота в ярком свете ламп казалось серым, на правой щеке непрерывно дергался мускул.

— Чевииот у телефона... Да, командир звена... Вы говорите, он... несколько дней? Ничего серьезного?.. В середине будущей недели?.. Да, можете себе представить!.. Покойной ночи.

— Нашелся! — крикнул Сэм.

— Да, нашелся. Трех подобрали и всех уложили в постель на несколько дней... Моему врач обещает на будущей неделе дать отпуск по болезни... Они уверяют, что у него серьезных повреждений нет... Мисс Бэрроус, что с вами?

— Извините, мистер Чевит... Я не могу... — пролепетала, громко всхлипывая, мисс Бэрроус, с которой вдруг слетела вся утонченность и благородная меланхолия. — Не могу удержаться, мистер Чевит... Я оттого... оставалась здесь... что надеялась — авось, будет для вас какое-нибудь известие. А оно пришло так внезапно... ох!..

— Ну, ну, придется, видно, мне самому открыть этот шкапчик... Надо бежать домой, но сначала мы все непременно должны выпить за здоровье мальчика. Сэмми?

— Спасибо, мистер Чевит... Разве только одну капельку... ради такого случая!

— Мисс Бэрроус?

— Ох, мистер Чевит, если я сейчас еще выпью виски, я не знаю, что со мною будет... — возразила она, утирая мокрые лицо.

— А вот сейчас посмотрим, что с вами будет, — сказал мистер Чевит, наливая третью щедрую порцию виски. — Ну!

Радостная улыбка, освещавшая его лицо, сменилась выражением серьезной нежности, и он пил молча. Видно было, что мысли его далеко.

Снова зазвонил телефон, отрывисто и резко.

— Если это миссис Чевит, — промолвил ее супруг, — так скажите ей, что я иду домой.

30.

Снова наступил понедельник, — понедельник с беспрестанным громыканьем железных дверей, с долгими, безрадостными часами труда. Но сегодня понедельник был не обыкновенный, — хотя никто на заводе еще не знал этого.

В это утро пехота и саперы Восьмой Армии прорвали, наконец, роммелевскую линию обороны, и Десятый бронетанковый корпус, как гром, пронесся по проложенному ими пути, уничтожив у Эль-Аккакира главную массу немецких танков, а с ними и надежду Роммеля занять Египет.

Никто на заводе не знал, что одна из решающих битв этой войны достигла своей кульминационной точки. Даже наверху, в управлении, только передавали слухи о какой-то крупной операции на фронте, уже заранее дискредитированной, благодаря глубоко укоренившемуся в публике скептическому отношению к военному руководству в Каире. Итак, почти для всех на самом большом заводе Эмдаунской Компании это был

просто очередной понедельник, унылое начало новой недели.

Джойс Дирхерст уже ходила на работу. Но она решила не оставаться в этом цеху, полном язга и грехота, и настаивать, чтобы ее перевели куда-нибудь, где тише и работа чище. Миссис Григсон, теперь открыто заявлявшая, что Джойс — из другого теста, уверила ее, что этого можно добиться: «Суметь понравиться начальству, дорогая, — вот все, что требуется». А славный весельчак, Фред Сколби, сказал Джойс, что он ее вполне понимает, но просит все-таки сначала присмотреться поближе к нему и к работе, а потом уже решить, стиг ли ей уходить. Мистер Клитон ничего не говорил, — вероятно, он и не знал еще об ее намерении, но Джойс заметила, что он поглядывает на нее сурово, как будто недоволен ею. Впрочем, мнение о ней мистера Клитона теперь мало интересовало Джойс. Что же касается напугавшего ее м-ра Эдрика, она его ни разу больше не видела с тех пор, как стала ходить на работу, и была убеждена, что и не хочет его видеть.

Нелли Диттон не переставала думать о предстоящем радиовещании. Странное дело — уже несколько человек заговаривали с нею об этом, как будто идея миссис Флинн распространилась по всему цеху, но никто из официальных лиц к ней пока не обращался. Впрочем, не обращались и к другим, значит, либо делегатки еще не выбраны, либо вся затея провалилась. Пока же Нелли работала усердно, чтобы доказать, что она заслуживает быть избранной, и, работая, мечтала, как всегда. А чудак Стоньер тоже, как всегда, был поглощен какими-то своими мыслями и частенько самым странным образом посматривал через проход на Нелли. Кое-кто из работающих поблизости уже заметил его пристальные взгляды, и об этом заговорили. Не замечал ничего только м-р Огмор, ибо мистера Огмора заботила и падение производительности труда на заводе и участь Сталинграда.

У Гвен Оклей произошло столкновение с миссис Уэйкс и мисс Трумэн, которые открыто заявили, что не позволят командовать собой какой-то девчонке, хотя она и ходит в штанах. Чарли Кинг и старик Паттерсон хотели заступиться за Гвен, но она сказала, что или сама справится с женщинами, или уйдет с работы. И укротила их: пошла прямо к миссис Уэйкс и мисс Трумэн, так что они, струсив, чуть не бегом ретировались к своим станкам. За эту проявленную решительность Гвен удостоилась одобрительного кивка и дружеского слова от молчаливого и замкнутого новичка, Болтона, который, к слову сказать, оказался очень хорошим работником.

Артур Болтон переживал сейчас неко-

таре душевное смятение. Он в последнее время очень часто встречался с Эдит Шиптон (главным образом, по ее настоянию), и она вовсе не внушала ему антипатии, несмотря на все его сочувствие к обиженной родственнице, жене Герберта Молланда. Но ему не нравилось то, что мисс Шиптон, по всей видимости, перенесла на него свои чувства к Герберту. Болтон не хотел, чтобы мисс Шиптон или какая-нибудь другая женщина увлекалась им, потому что эта часть души в нем умерла и он хотел, чтобы она оставалась мертвой, с дорогими умершими.

Мисс Шиптон этого не знала и начала недоумевать. Длительная прогулка, которую они с Артуром Болтоном предприняли в воскресенье и в ожидании которой она накануне не могла от волнения уснуть почти всю ночь, не принесла ей радости. Только-что она почувствовала, что, наконец, возвращает его к жизни, как он опять замкнулся в себя, ушел без единого слова, оставив ее растерянной. Таким образом, в этот понедельник мисс Шиптон уже с утра была в отвратительном настроении и почти выставила за дверь трех работниц, пришедших с нелепыми просьбами об отпуске; одной нужно было пойти на похороны, другой — на свадьбу дальней родственницы, третья привела какой-то предлог в таком же роде.

Затем мисс Шиптон жестоко раскритиковала докладную записку мистера Проскота, которую тот дал ей прочитать (м-р Проскот после дружеской беседы с ним мистера Чевииота вдруг преисполнился важности и честолюбивых замыслов и сочинил эту «Записку об улучшении морального состояния рабочих»). Она даже назвала эту «Записку» претенциозной, чем сразу восстановила против себя м-ра Проскота. Он в ответ заявил, что, по его мнению, которое разделяют и некие (не названные им) весьма авторитетные лица, она слишком узко смотрит на свои обязанности. На это мисс Шиптон возразила, что как бы узка ни была ее точка зрения на свою работу, но работа отнимает все ее время и силы с раннего утра до позднего вечера, и намекнула, что предпочла бы, чтобы ей помогли в этой скучной, но необходимой работе, вместо того, чтобы угощать грандиозными, но неосуществимыми проектами, вроде этой «Записки об улучшении морального состояния».

Таким образом, в это утро весь личный состав Отдела личного состава был в плохом настроении.

В клинике сестра Файли помогала доктору Стэммерсу управляться с обычным для понедельника напальвом больных, из коих половина принимала всякие случайные ощущения за первые симптомы какой-то скрытой опасной бо-

лезни. Белокурая молодая официантка заводской столовой, Берта Сюэлл, жаловалась, что страдает бессонницей от тоски по мужу. Ей дали снотворное. Рыжая работница сборочного цеха утверждала, будто разлука с мужем, которого отправили в Индию, так на нее подействовала, что вызвала острое несварение желудка. Она была очень удивлена, когда ей сообщили, что она беременна. Сестра Файли, занимаясь своим делом, в то же время мысленно сравнивала д-ра Стэммерса, воображавшего, будто она принадлежит к числу его поклонниц, с неким майором, с которым познакомилась на той неделе, уже немолодым и грузным, но веселым, любезным кавалером и большим гурманом. Сравнение было далеко не в пользу д-ра Стэммерса.

Наверху, в комнате для заседаний, происходило экстренное совещание Объединенной производственной комиссии, созванное мистером Чевииотом. По его же просьбе, за первые полчаса покончили с текущими делами. Пока они обсуждались, его несколько раз вызывали по важным делам к телефону, один раз даже из министерства. Большинство членов комиссии сегодня пропускали мимо ушей разбиравшиеся жалобы, претензии и предложения, понимая, что предстоит обсуждение какого-то гораздо более важного вопроса, иначе мистер Чевииот не созвал бы совещания в такой неурочный час. В зале перешептывались, обменивались недоумевающими взглядами. Что случилось? Пора бы мистеру Чевииоту (который был сегодня очень серьезен и казался даже удрученным, хотя сын его нашелся) объяснить, в чем дело. И в конце-концов старый инструментальщик Беулс выразил общее мнение.

— Я хотел бы как можно скорее вернуться в цех, мистер Чевииот, — сказал он с грубоватой прямоотой. — Так что, если вы имеете нам сообщить что-нибудь экстренное, нельзя ли сделать это сейчас? Конечно, если вы кончили телефонные разговоры.

— Пожалуй, будем считать, что кончили, — сказал мистер Чевииот с некоторым сокрушением. — Хотя мне бы надо позвонить еще в одно место...

Он обвел глазами всех сидевших за столом.

— На той неделе к нам приезжали два представителя министерства. Они послали туда донесение относительно нас. Мне довольно ясно дали понять, что именно должно сделать министерство. Я с этим не согласен. Впрочем, я знал, что так будет и, наверное, большинство из вас тоже.

Поднялся шум. Два-три человека зашипели, унимая остальных. Потом наступила тишина. Все смотрели на мистера Чевииота, а он, видимо, был в большом

затруднении и проявлял несвойственную ему медлительность.

— Нравится это нам или нет, — сказал он, наконец, — а здесь предстоит некоторые важные перемены. И не только из-за доклада. Видите ли, во-первых, по предложению министерства, Элмдаунская Компания сейчас принимает три завода фирмы Черч-Стюарт, которые работали неудовлетворительно. И мне поручили расклевать всю эту кашу — это значит, что первым делом мне придется реорганизовать три новых завода и приспособить их к нашему производству, как того хочет министерство. Следовательно, отсюда я уйду. Не окончательно и не навсегда, потому что вы остаетесь в той группе заводов, которая будет в моем ведении. Но все же я уйду, и кто-то должен занять мое место. И наше правление, и министерство находят, что моим преемником здесь должен быть мистер Блэндфорд.

Он остановился. Несколько человек в знак одобрения постучали по столу, оглядываясь на Блэндфорда. Другие смотрели на Элрика, кусавшего губы. В противоположность ему, Блэндфорд не обнаруживал никакого волнения.

— Мистер Блэндфорд, как вы знаете, был некоторое время моим старшим помощником, — продолжал Чевигот ровным голосом, — так что даже и без такой усиленной рекомендации правления и министерства выбор естественно должен был пасть на него. Все мы знаем, что он первоклассный специалист, преданный делу обороны, и я ничуть не сомневаюсь, что наш завод под его руководством добьется больших успехов. — Не сомневаетесь? — крикнул Элрик. — А я так сомневаюсь. Сильно сомневаюсь.

— Ну, еще бы! От вас этого следовало ожидать! — раздалось на другом конце длинного стола. Это сказал помощник мастера Рэнкин, который не любил Элрика.

— Что вы... — начал было Элрик, но голос его потонул в шуме поднявшихся протестов. Мистер Чевигот громко стучал по столу.

— Прекратите это, Боб, — сказал он сурово.

— Если комиссия желает обсуждать вопрос о моей пригодности, — промолвил Блэндфорд спокойно и сухо, — так, пожалуй, лучше мне уйти. Тогда Элрик сможет высказаться до конца.

— Господин председатель, — сказал Элрик, подавляя раздражение и стараясь говорить официальным тоном, что ему плохо удавалось. — Если замечаний делать не разрешается, я от них воздержусь. Но если нам не дадут высказываться по поводу перемен, которые касаются всех нас, тогда я не понимаю, к чему, собственно, нас созвали.

Два-три человека поощрительно закричали: «Слушайте, слушайте!» Элрик продолжал уже с большим жаром и уверенностью:

— Если нам полагается молчать, так проще было вывесить приказ на доске внизу — и все. Если же высказывать свое мнение разрешается, так, мне думается, я имею такое же право сказать, что я сомневаюсь в успехах завода под управлением Блэндфорда, какое вы имели сказать, что не сомневаетесь в этом.

— Но вы через секунду начнете сводить личные счеты, — крикнул Гейстон, один из мастеров. — Знаем мы вас!

— Да, — отпаривовал Элрик презрительно. — И я вас тоже знаю.

— Перестаньте, Боб, — приказал мистер Чевигот резко.

Но лицо Элрика сохраняло злое и решительное выражение.

— Почему я должен перестать? Я задал председателю логичный вопрос, не так ли?

— Мистер Чевигот, — вмешался старик Боулс. — Я не совсем понимаю, в чем тут дело... Нам полагается вынести резолюцию, что мы одобряем эти назначения — так, что ли?

— Если и не одобрим, все равно назначат! — крикнул кто-то с циничным смешком.

— Да, — ответил Боулсу мистер Чевигот, на лице которого было написано, что ему надоело резолюции, — пожалуй, так и надо сделать. Согласны вы начать, Джон?

— Можно, — сказал Боулс. — Я предлагаю вынести такую резолюцию: комиссия очень сожалеет об уходе мистера Чевигота, но понимает необходимость этого ухода и желает ему всяческих успехов на новом посту.

Предложение все дружно поддержали, и оно было принято единогласно.

— Очень вам благодарен, — сказал м-р Чевигот. — Теперь перейдем к вопросу о назначении мистера Блэндфорда. Кто хочет предложить текст резолюции? Может быть, вы, Филипс?

Филипс, тихий пожилой мастер, враг всяких крайностей и споров, встал и сказал:

— Я предлагаю написать в резолюции, что собрание производственной комиссии приветствует назначение мистера Блэндфорда управляющим и желает ему успеха.

Его предложение весьма поспешно поддержал Рэнкин и не преминул бросить при этом искоса злорадный взгляд на Элрика.

— Не ерещеньтесь, Боб, — сказал мистер Чевигот тихо.

Элрик покачал головой.

— Не могу... Впрочем, я не собираюсь возглавлять оппозицию.

Встал Клитон, пристально глядя на председателя поверх своих старых серебряных очков.

— Из вас, ребята, никто не скажет, что я всегда суюсь со своим мнением, потому что вы отлично знаете, что это не так. Но сегодня я тоже хочу сказать слово. Мистер Блэндфорд — дельный инженер, но это вовсе не значит, что он самый лучший кандидат на должность управляющего. Управляющему приходится иметь дело больше с людьми, чем с машинами. Теперь я хочу сказать насчет Боба Эрика. У нас с ним не раз чуть не до драки доходило, — он упрям, это всем известно. Но раньше, чем я подам голос за эту резолюцию, я хотел бы знать: предлагали на этот пост Боба Эрика или нет?

— Правильно, Альфред, — подхватил Боулс. — И я тоже хотел бы знать это самое, господин председатель.

Оба выжидательно смотрели на мистера Чевииота, который явно был в сильном замешательстве. Он с минуту перекладывал какие-то бумаги на столе.

— Ну, что же, мистер Чевииот, — крикнул Эрик с некоторой горечью. — Скажите им, что никто меня не предлагал. Не стесняйтесь.

— Господин председатель, было что-нибудь сказано о нем в донесении ревизоров? — громко спросил Рэнкин.

Мистер Чевииот медленно поднял глаза от бумаг и сжал губы.

— Ревизоры, — но я с ними не согласен и говорил им об этом, — не только не считают мистера Эрика подходящим для роли управляющего, но предлагают даже снять его с должности главного инженера.

Раздались крики возмущения. Эрик сидел молча, как окаменелый.

— Тише! — крикнул мистер Чевииот и, выждав, пока шум утих, сказал спокойно: — В докладе сказано, что мы выпускаем меньше продукции, чем нам полагается, и что в этом отчасти виноват наш главный инженер, так как он вызывает раздоры, не умеет надлежащим образом использовать людей на работе и вообще человек неподходящий. Так там сказано.

— То-есть, так написал «витураша» Монтегю, — заорал Клитон, рассердясь не на шутку.

— Вы не знаете всего, Альф, — сказал Эрик с горечью. — Я им обоим нагрубил за завтраком. Меня вывел из себя этот олух Сэдди. Да, я сам спросился на это...

— Погодите ругать их, — вмешался Рэнкин. — Я не побоюсь высказать свое мнение. В этом докладе сказано только то, что говорят уже давно о нашем главном инженере почти все старосты.

Двое из старост поддержали его. Остальные стали громко требовать, чтобы

Рэнкин указал, какие именно старосты это говорят. Кто-то прямо в лицо обозвал его дураком. Мистер Чевииот стукнул кулаком по столу.

— Вы что, забыли, где находитесь? — заремел он, покрывая все голоса. — Кто опять начнет орать, немедленно уйдет отсюда. Успокойтесь. Вся эта история и без того достаточно неприятна, а вы еще делаете ее в десять раз хуже. Если кто имеет сказать что-нибудь разумное и скажет это спокойно, я с удовольствием его выслушаю... Ну, что же?

Энглби, не произнесший до этой минуты ни единого слова, теперь поднял руку, нескладно напоминая первого ученика в классе.

— Я здесь новый человек, — начал он извиняющимся тоном, но с обычной своей и тем не менее всегда неожиданной смелостью. — Так что предпочитаю держать язык за зубами. Но если рот я открываю не часто, зато глаза и уши у меня всегда открыты, и мнение мое, как человека здесь нового, будет беспристрастно.

За столом раздались одобрительные возгласы. Большинство присутствовавших здесь мастеров и старост успели полюбить Энглби.

— То, что сказано в докладе министерству о мистере Эрике, не совсем неверно, это просто преувеличение его недостатков. Но о заслугах его, как главного инженера, там не сказано ничего. А между тем главное в нем — как-раз не его недостатки, а достоинства. Он настраивает людей против себя — да, верно. Но в то же время он умеет воспитывать в них и подлинную преданность делу. Он умеет заражать других своим энтузиазмом, руководить ими. Я наблюдаю, как он это делает...

— Вам надо было видеть его после Дюнкерка! — крикнул кто-то.

— Мне уже рассказывали, как много он сделал тогда, и я этому охотно верю, — сказал Энглби с улыбкой. — Тедвое, что приезжали к нам из министерства, очевидно, были уже предубеждены против него. Это понятно. Такого рода господам он не мог понравиться. Так вот я предлагаю после резолюции, приветствующей назначение мистера Блэндфорда, вынести еще вторую, в которой мы в самой категорической форме будем протестовать против той части доклада, которая осуждает мистера Эрика, и выскажем наше мнение, что нам не найти главного инженера лучше мистера Эрика.

Последовал рев одобрения, в котором только двое-трое не приняли участия. Мистер Чевииот в первый раз улыбнулся.

— Молодец, Энглби! — сказал он. Затем обратился к собранию.

— Я сам хотел сказать то, что сказал мистер Энглби. Он сказал лучше. Ну,

да не в этом дело. Мы сейчас сочиним такую резолюцию. Но, может быть, вы хотите сначала высказаться, Блэндфорд? В конце-концов, раз вы будете здесь управляющим, этот вопрос вас близко касается.

Все с любопытством уставились на Блэндфорда. А он кивнул головой и слегка улыбнулся мистеру Чевiotу.

— Мы с мистером Эरिकом не всегда ладили между собой, — сказал Блэндфорд очень медленно, как-то холодно отчеканивая слова. — И не думаю, что мы всегда будем ладить и впредь. Но я охотно буду работать с ним, если он готов работать со мной.

Эрик с трудом поднялся и тяжело оперся о стол. Его смурое лицо налилось кровью и было еще мрачнее обычного. Глядя на него, мистер Чевiot только молча покачал головой.

— Все это очень мило, Блэндфорд, весьма корректно и благородно, — начал Эрик резко. — Но давайте говорить прямее. Речь идет теперь не о том, чтобы работать с вами: отныне мне, очевидно, пришлось бы работать у вас под началом. И значит, если мы не поладим в дальнейшем, мне будет не сладко, так?.. Нет, я не думаю здесь оставаться. И не потому, что меня обожали, — хотя я считаю, что не менее других имел право на эту должность, ведь я чуть не собственными руками построил половину этого завода и работал до седьмого пота в цехах, когда вы, Блэндфорд, только еще собирались совершить экскурсию в промышленности. Но дело совсем не в этом. Я не обижен тем, что со мной обошлись гнушно. Но вы не любите меня, а я не люблю вас, Блэндфорд. Мне ненавистно то, за что вы стоите, а вам то, что дорого мне. Какой смысл притворяться? Если бы вы и не стали управляющим, это все равно не могло бы долго продолжаться. А теперь это попросту невозможно. Раз вы остаетесь на заводе, я ухожу. Но одно я хочу у вас спросить, раньше чем уйду с этого собрания: когда вы узнали о том, что сказано обо мне в докладе министерству?

Блэндфорд, который успел уже сесть на свое место, поднял брови.

— Не понимаю, о чем вы говорите, Эрик, Я не имею к этому докладу никакого отношения.

— Так ли это? Врете, чорт вас возьми! — Эрик уже кричал, тыча пальцем в лицо Блэндфорду. — Вы были здесь в субботу поздно вечером, не правда ли? Ну, и я тоже был, только вы-то этого не подозревали. Я поднялся на несколько минут вверх и проходил мимо вашего кабинета как-раз тогда, когда вы разговаривали по телефону с Монтего. Лучше вы об этом сочините резолюцию, а я ухожу, меня тошнит от вас!

И раньше, чем кто-либо успел сказать слово, дверь за ним со стуком захлопнулась. Одно мгновение царило испуганное молчание. Мистер Чевiot шумно вздохнул и невнятно пробурчал что-то.

— Господин председатель, — сказал, немного побледнев, Блэндфорд. — Я считаю своим долгом дать объяснения. Это правда, что Монтего звонил мне сюда в субботу вечером. Но я не просил его звонить. Он сказал, что они будут настаивать на моем назначении. Я думаю, он это сообщил мне потому, что в разговоре с ними, когда они были здесь, я упоминал о своем намерении уйти из Элмдаунской Компании. Но могу вас заверить, об Эрике не было сказано ни единого слова. Не буду притворяться, что меня удивило содержание их донесения, ведь в первый же день было ясно, какую позицию они заняли по отношению к Эрику. Но я тут не при чем. А теперь мне, пожалуй, лучше уйти — разрешите, господин председатель?

Он обвел взглядом лица сидевших за столом. Губы его чуть-чуть усмехались, но глаза были холоднее, чем когда-либо. Потом он круто повернулся и вышел из комнаты.

— Давайте голосовать, — сказал мистер Чевiot. Голос его выдавал огромную усталость, но в нем еще оставались повелительные ноты.

Резолюция относительно Блэндфорда прошла быстро, а вторая, об Эрике, вызвала некоторые дебаты, ибо сейчас, после гневной выходки Эрика, около трети присутствующих не захотели присоединиться к протесту. Все же через каких-нибудь пять минут совещание окончилось.

— Надеюсь, вы не сердитесь на меня за вмешательство? — сказал Энглби мистеру Чевiotу.

— Наоборот, я вам очень благодарен, Энглби. Вы сказали как-раз то, что нужно. Но, конечно, бедняга Боб, по своему обыкновению, взял да испортил все. Вечно он бросается вперед, как бык на забор!

— Да, я это тоже заметил. С чего он такой?

Мистер Чевiot раздраженно потер подбородок.

— Да тут все вместе — вспыльчивость, нервы и то, что он слишком много пьет. Но, разумеется, настоящая причина глубже. Видите ли, такому человеку, как Боб, нужно, чтобы что-нибудь поддерживало в нем дух, а сейчас такого подьема быть не может. Будь у него хотя бы славная жена, которая умела бы подойти к нему, или два-три малыша, он был бы другой человек. Но вышло иначе. Жизнь его сложилась плохо. Вот он и злитесь все время. Из-за своих внутренних неурядиц он очень остро переживает и внешние. Ну, да ничего,

парочка таких щелчков, как сегодня, ему не повредит, а я постараюсь его устроить получше на другом заводе... Что еще случилось?

Это относилось к Блэндфорду, только-что снова вошедшему в комнату. Большинство рабочих еще не разошлись, и неожиданное возвращение Блэндфорда приостановило общее движение к дверям.

— Мне только-что сообщили по телефону, — промовлял Блэндфорд, обращаясь к мистеру Чевииоту, но говоря так, что бы все могли его слышать, — что мой родственник, лорд Бриксен, председатель Управления рационализации, быть может, заедет ко мне завтра утром на обратном пути в Лондон. И у меня явилась мысль пригласить его к завтраку и устроить беседу с рабочими в столовой. Он несомненно подвинтит их. Это старый политический деятель, хороший оратор — и, как-никак, посещение министра и беседа с ним должны воодушевить рабочих. Как вы думаете, мистер Чевииот?

— Конечно, конечно, — ответил м-р Чевииот одобрительно, хотя и без особого энтузиазма. — Он явится в удачный момент. Когда будете его приглашать, попросите и от моего имени тоже. Я думаю, все согласны, а?

Ропот одобрения не заглушил голоса Альфреда Клитона. Он спросил, глядя в упор на Блэндфорда:

— А что, этот лорд Бриксен назывался раньше сэром... как его... Джесмонд-Литон?

— Да, титул пера он получил два года тому назад. А что?

— Ничего, только... — Клитон сдвинул очки, чтобы удобнее было смотреть, — если это тот самый, так беседы его, может быть, кому-нибудь и помогут выиграть войну, но нам от них ничего не прибавится. Он — такой же друг народа, как я... Красная Шапочка.

Трудно было быть менее похожим на Красную Шапочку, чем Клитон в этот момент. Скорее, он напоминал нечто среднее между ее бабушкой и серым волком, когда, сутулая плечи, важно вышел из комнаты, чтобы вернуться к своей работе.

31.

На другой день, часов около двенадцати, лорд Бриксен прибыл на завод и в сопровождении Блэндфорда прошелся по главному цеху, бегло осматривая все. Между двумя кузенами не заметно было ни малейшего фамильного сходства. Лорд Бриксен, которому давно перевалило за пятьдесят, был гораздо красивее и на вид здоровее и крепче Блэндфорда. В его внешности что-то напоминало военного: та же выправка, плотность и щеголеватая опрятность,

подстриженные седые усы. Лицо у него было румяное, глаза живые, голубые, манеры и голос — приятные. Это было ничуть не удивительно, ибо он в течение многих лет на приятных манерах и приятном голосе и строил его благополучие. Лорд Бриксен представлял собой благородный английский образец скользящего политика-профессионала, — фигуры, столь знакомой в других демократических странах. А, будучи знатным англичанином, он считал нужным разыгрывать из себя просто любителя: иногда у слушавших его создавалось впечатление, будто он — знатный землевладелец, против воли покинувший свое поместье, ибо чувство долга призывало его в Вестминстер, иногда он намекал, что в Уайтхолл пришел из Сити в момент, когда в нем остро нуждались. В настоящее время у него действительно уже было и поместье, и некоторые коммерческие дела в Сити, но то и другое было результатом его политической деятельности, которая вот уж двадцать лет давала ему прекрасные средства к жизни. Он не был лидером тори, но принадлежал к избранной и несколько таинственной группе закулисных деятелей, которых постоянно кормит эта партия и страна (когда она поддерживает партию тори) и которых авторы передовиц в консервативной прессе, для врауждения несколько сбитых с толку читателей, характеризуют, как «надежных» и «безопасных». В молодые годы лорд Бриксен благодаря своему браку вошел в круг электропромышленников и был одним из их представителей в парламенте. Позднее, — может быть, это был результат его удачной карьеры, — он очень интересовался банками и страховыми обществами. Он стал горячим сторонником частной инициативы (которую он всегда предусмотрительно противопоставлял «общественному контролю» или «переходу предприятий в руки государства», но никогда — общественной инициативе) и, слушая его, можно было подумать, будто он, в какой-то никому неведомый период своей жизни, работал по восемнадцати часов в сутки, создавая новые обширные отрасли промышленности. Пожалуй, его довольно верно можно было охарактеризовать как нечто среднее между второстепенным администратором и первостепенным фокусником, умевшим всего добиться смелостью и самоуверенностью.

Умудряясь сочетать министерскую важность с благосклонностью, вид проницательный и глубокомысленный с кроткой веселостью, лорд Бриксен шел среди шума и сумятицы главного цеха за своим кузеном, который сыпал техническими объяснениями, ничуть не интересовавшимися лорда.

— Да, Фрэнсис, — объявил он, останавливаясь, — все здесь просто замечатель-

но. Грандиозное зрелище! Действительно грандиозное! Имели вы в последнее время какие-нибудь известия о Питере? Нет? И я тоже нет... Что делает вон та женщина?

Он несколько секунд наблюдал, как она работает, а у женщины на лице было написано: «Ах, боже мой, на меня смотрят посетители!» Затем он с улыбкой сказал ей, что она делает «очень хорошую работу». «Да, работа очень хорошая», — повторил он таким тоном, словно эта фраза имела какой-то технический смысл. Женщина была слишком взволнована, чтобы оценить ее, а Блэндфорд — слишком умен, чтобы не оценить.

Блэндфорд, исполняя обязанности любезного хозяина, в то же время внимательно наблюдал своего кузена и удивлялся про себя, как Бриксен при таких малых способностях сумел подняться так высоко. Располагающая к себе наружность и манеры, обычные ораторские приемы, благодаря которым он слыл популярным, хотя, в сущности, совсем не талантливым оратором, отсутствие интуиции во всем, за исключением разве одного (но это одно имело великое значение!) — непосредственных взаимоотношений между его партией и публикой — так характеризовал мысленно Блэндфорд своего влиятельного родственника. В кругу родных лорд Бриксен никогда не считался человеком способным или с сильным характером. Долго ли он продержится после войны? — «Недолго», — сказал себе Блэндфорд с беспощадной суровостью. «Если только новая партия тори, которая будет представлять в политике новую индустриальную систему, не решит использовать несколько общественных марионеток».

— Любопытное зрелище! — воскликнул его милость, указывая на машину больше и шумнее других. — Каково ее назначение, Фрэнсис?

Благодаря тому, что он уже раньше проделывал это бесчисленное множество раз, лорд Бриксен превосходно изображал человека, глубоко заинтересованного и не пропускающего ни слова из объяснений других. Выигрывая, таким образом, время, он мысленно спрашивал себя, из каких соображений его кузен Фрэнсис, который всегда был ему непонятен и казался хитрецом, выступает теперь в новой роли. Может быть, ему нравится наблюдать, как вертятся колеса огромного механизма? Он всегда это любил. Но нет, здесь что-то другое, более серьезное. И не в деньгах, конечно, дело, хотя и они тут играют, вероятно, некоторую роль. (Впрочем, Фрэнсис никогда, кажется, за деньгами не гнался и никогда не жил широко). В обществе довольно упорно поговаривают о том, что эти «производственники» уже и сейчас представляют до некоторой степени новый правящий класс,

ибо войну без них выиграть нельзя, и, возможно, что после заключения мира они будут диктовать свои условия. Фрэнсис вполне способен поверить в такие глупости, на него это похоже. Эти господа не учитывают одного: как бы незаменимы они ни были на своих заводах, они все же зависят от финансов страны. А финансы во время войны и финансы в мирное время, когда впереди постоянно маячит социализм, — это совершенно разные вещи. Лорд Бриксен решил, что надо будет в самом ближайшем времени поговорить об этом по душам с Фрэнсисом.

— Как ваша фамилия? — осведомился знатный гость у молодого бронега.
— Моя фамилия Огмор, — ответил тот.

— Это один из помощников мастера, — пояснил Блэндфорд с улыбкой, — и надо сказать, один из лучших. Он, кроме того, староста.

Лорд Бриксен кивнул головой, потом, игрово прищурившись, посмотрел на Огмора.

— Мистер Огмор, я лорд Бриксен и, вероятно, в наказание за грехи состою председателем Управления рационализации. Нет ли у вас каких-либо предложений, которые вы хотели бы нам сообщить? Видно, что вы человек с головой. Думали вы когда-нибудь о том, какой бы вы хотели видеть нашу страну после войны?

— Конечно, думал, — ответил Огмор очень решительно.

Лорд снова прищурился.

— И к каким же выводам вы пришли, мистер Огмор?

— Я хочу видеть Англию социалистической рабочей республикой, как Советская Россия. И не я один этого хочу.

Лорд Бриксен расхохотался.

— Знаю, что вы не один, но сознайтесь, что вас ничтожное меньшинство. И у рядового избирателя в Англии слишком много здравого смысла, чтобы он мог увлечься такими крайностями.

— Рядовой избиратель в Англии еще даже не знает, за что голосует, — сказал Огмор тихо, но твердо. — Когда печать в руках капиталистов и...

— Ну, ну, мистер Огмор, оставим политику до другого раза, — и лорд Бриксен, кивнув головой Огмору, прошел дальше.

Подобно большинству тори, он держался удобного мнения, что только то, что говорят противники тори, следует осуждать, как политиканство, всякие же высказывания в духе тори — просто проявление здравого смысла и похвального патриотизма. На этом основании он с чистой совестью громял лейбористов и кое-кого из «этих популярных болтунов» в «Радио-Корпорации за то, что они занимаются политикой в военное время.

— А что, такие субъекты, как этот, не

доставляют вам хлопот? — спросил он у Блэндфорда, когда они отошли.

— Нет, они как-раз наши лучшие работники, — возразил Блэндфорд. — Вне завода я их не обожаю, и, разумеется, если партия опять изменит свою тактику, от них житья не будет. Но должен сказать, что как-раз сейчас, когда Россия в тяжелом положении, они — образцовые работники. Много значит, конечно, партийная дисциплина. И вот дисциплину-то мы и должны установить в самое ближайшее время, — но, конечно, не в интересах Москвы. Надеюсь, кто-нибудь из вас думает об этом?

— Думаем, думаем, — ответил его собеседник довольно легкомысленным тоном и поторопился спросить что-то о стоявшей рядом машине, чтобы избежать дальнейшей беседы на эту тему: он считал, что для нее здесь не место. Но только что Блэндфорд начал объяснять ему устройство машины, как гудок возвестил час завтрака. Прескотт, гордый и сияющий, уже стоял подле них наготове, чтобы прозодить гостя на эстраду в столовой. Он сообщил, что они будут завтракать попозже, после того, как его милость произнесет свою речь, и что мистер Чевюот, которого задержали какие-то важные переговоры по телефону, обещал прийти прямо в столовую и представить лорда Бриксена слушателям.

Морис Энглаби вошел в столовую через маленькую дверь около эстрады, рассчитывая встать у стены и выскользнуть незаметно, как только лорд кончит говорить. Он оглядывал столовую, ища Фреду Пиннель, но ее нигде не было видно. Морису предстояло завтракать позднее, в маленькой столовой для администрации, вместе с почетным гостем.

Все усердно жевали. Радио передавало музыку по граммофонной записи. Шум стоял ужасающий. После новой тщетной попытки отыскать глазами Фреду, — которая была вполне способна нарочно спрятаться от него, чтобы он не видел, как она завтракает вместе с простыми рабочими, — Энглаби, обернувшись, заметил рядом с собой Элрика. У Элрика был весьма непрезентабельный вид, — он, кажется, спал одетый и не потрудился даже побраться и пригладить волосы. От него пахло виски.

Он улыбнулся Энглаби, которого не видел со вчерашнего дня.

— Ага, и вы пришли поучиться уму-разуму? — воскликнул Элрик.

— Не мешает послушать, что он может сказать, — заметил Энглаби. — Хотя я не жду ничего интересного.

Элрик насмешливо фыркнул.

— Не знаю, что изречет почтенный лорд, но знаю, что ему следовало бы сделать. Ему следовало бы встать на колени перед этой толпой и покаяться

им честно, что он и его приятели во всем виноваты — в безработице, в том, что сейчас оккупированы целые районы... Сознайтесь, что все их политические и экономические концепции неверны, что они ошибались относительно Японии, Муссолини, Гитлера, ошибались насчет России, — словом, чорт их знает, в чем только они не ошибались! Да, ему следовало бы просить прощения у всей этой толпы. А он, вот увидите, начнет пыжиться, как будто это он фактически все делает — топит немецкие подлодки, тушит зажигательные бомбы, бомбит Рур, наступает в Египте на Роммеля... Он пустит в ход обычную болтовню фоксника, желающего отвлекать внимание публики от своих рук, — и все эти несчастные дураки будут кричать ему «браво!»

— Не скажу, чтобы вы были неправы, — со смехом заметил Энглаби. — Но, если вы заранее знаете, что будет, зачем вы пришли сюда?

— На это легко ответить. Во-первых, чтобы убедиться, что я предсказывал верно. Во-вторых, — просто чтобы себя помучить.

Энглаби с любопытством посмотрел на него.

— Да, Элрик, вы действительно мастер мучить самого себя.

— Что ж, лишь бы не других. А я никого не обожаю, Энглаби, что бы там ни говорили некоторые мерзавцы. Я бываю резок, я часто выхожу из себя, но всегда стараюсь быть справедливым к людям. Однако оставим это, как любит говорить наш старик. Вы завтракаете с его милостью?

— Да. И вы тоже, конечно?

Нет, дружище. Я сегодня не выдержал бы этого испытания. Я могу брякнуть что-нибудь неподходящее и нарушить законы гостеприимства, а это было бы неприлично сейчас, когда Блэндфорд поднимает здесь все на высокий уровень. Мы были просто компанией инженеров, чертежников, промышленников, — ну, а теперь, разумеется, все будет по-иному... Нет, не пойду завтракать. Да мне и есть что-то не хочется. Один товарищ в городе дал мне две бутылки настоящего, выдержанного солодового виски — густое такое и светлое, знаете? — и это будет мой завтрак.

Энглаби нерешительно молчал с минуту, потом сказал:

— Пожалуй, мне следует раньше, чем вы слишком энергично расправитесь с этими бутылками, повторить вам то, что я вчера после вашего ухода слышал от Чевюота: он собирается вас где-нибудь устроить. Он очень дружески и хорошо говорил о вас, Элрик.

Элрик насупился. Казалось, ему в его нынешнем настроении трудно было майти подходящий ответ.

— Старик у нас — молодчина. Правда, он в последнее время позволял водить себя на веревочке, — оттого, что его уверили, будто все делается во имя обороны, тогда как добрая половина этих господ плывет на дело обороны. Но все-таки он молодец. Он знает меня, а я — его... А вот кстати и он! И вид у него далеко не сияющий.

Идя к эстраде вместе с лордом Бриксеном, Чевит чувствовал, что его все сильнее охватывает непонятное, глубокое уныние. Пока выключали громкоговорители и Проскот призывал публику к порядку, он смотрел на тысячи лиц, выжидательно обращенных к эстраде. Эта столовая — малый мир. Каких только здесь не было лиц! Изможденные и увядшие, гладкие и молодые, массивные и словно закоптелые лица старых рабочих, напудренные, с накрашенными губами мордочки глухих девушек, отечные или изрезанные морщинами лица зрелых женщин, хмурые лица людей разочарованных, задорные и веселые — юных учеников, лица только начинающих жизнь и лица уже почти покончивших счеты с нею, — смелые, трусливые, тупые, умные, бодрые, веселые, усталые, полные отчаяния. Здесь был народ. Человечество. Оно пришло сюда готовить машины для того, чтобы выжечь или взорвать в себе собственное безумие. Светлой, радостной мечте угрожали черные замыслы. Но жива ли эта прекрасная мечта? Почему те (и среди них лорд Бриксен), кто были такими глупцами только несколько лет назад, теперь вдруг стали так мудры? Кто или что вселило в них эту мудрость? Чему они в действительности научились? Может быть, научились чему-то вовсе не они, а народ, те неизвестные, без имени, чьи лица вот так же выжидательно подняты вверх, воины и труженики и тайные страдалцы. Может быть, они поняли кое-что — и оно скрывалось в их душах, где-то в глубине сознания, и они ожидали, что услышат его здесь, что оно будет сказано им громко, открыто, честно, со всей искренней, товарищеской теплотой. Говорить с ожидающим народом в такие дни — это страшная, почти непосильная ответственность.

Как всегда, немного смущаясь, Чевит откашлялся и, подойдя ближе к микрофону, сказал со своей обычной простотой:

— Дорогие друзья и товарищи, мы имеем сегодня честь принимать на нашем заводе гостя, лорда Бриксена, члена правительства, председателя Управления Рационализации. (В зале раздались жидкие хлопки). Раньше чем предоставить слово лорду Бриксену, который любезно согласился выступить перед вами, я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас от имени правления за всю ва-

шу работу до сих пор. Я верю, что в ближайшее время мы с вами поднимем выпуск продукции на новую, небывалую высоту. Мою веру поддерживает и новость, которую я только-что узнал: солдаты нашей Восьмой Армии одержали крупную победу — они прорвали фронт врага...

На этот раз в зале поднялась настоящая буря. Кричали «ура», топали ногами. Казалось, ветер победы внезапно с шумом пронесся по всему этому огромному зданию. Потрясенный, растроганный Чевит поднял дрожащую руку и, когда опять наступила тишина, продолжал:

— Я знаю, что вы все будете теперь работать усерднее прежнего, чтобы дать нашим солдатам на фронте все то, что им необходимо. А сейчас я попрошу нашего почетного гостя, лорда Бриксена, выступить перед вами. Лорд Бриксен!

Лорд Бриксен подошел к микрофону, розовый, улыбающийся, самоуверенный. Сомнения, неясные, глубоко скрытые чувства, замешательство, мучительное оно боли, — все это было ему чуждо. Он видел перед собой просто публику, аудиторию, состоявшую из рабочих авиазавода, — и больше ничего. Он не думал о том, что его слушают тысячи людей. Перед ним было какое-то коллективное существо без лица, но с определенным количеством ушей, чтобы слушать его, и рук, чтобы хлопать ему. Он не видел перед собой реальных, живых людей, и этим объяснялись его развязность и апломб. Такая нереальность аудитории в его сознании и помогла ему сделать карьеру мудрого политика. Если бы когда-нибудь эта нереальная масса превратилась вдруг в настоящих живых людей, ему оставалось бы одно из двух: либо стать подлинным государственным деятелем (на что он был абсолютно неспособен), либо, показавшись публично, удалиться в отставку.

Стараясь, чтобы голос его не звучал слишком напыщенно и самодовольно (ибо он знал, что такие ноты будут еще подчеркнуты микрофоном), он непринужденно начал говорить о своем впечатлении от беглого осмотра завода и о важном значении его работы. Джойс Дирхерст и миссис Григсон, сидевшие рядом, недалеко от эстрады, обе наши, что лорд очень мил и выгодно отличается от заводской публики. А Фреда Пиннель, которая встретила его уже как-то раз на вечере у общих знакомых, теперь окончательно утвердилась в своем первоначальном мнении, что он — «старое чучело и может здорово надоесть».

Лорд Бриксен без преувеличенной скромности упомянул о своей деятельности в Управлении Рационализации и напомнил слушателям, что хотя он всегда с гордостью называл себя консерватором

(он не считал нужным разъяснить, что именно он так старался консервировать в Англии), но всегда стоял за разумный прогресс во всех областях и считает себя реформатором не менее любого члена так называемых «прогрессивных партий». Он сделал на последних словах ироническое ударение и ожидал смеха в зале. Смех действительно раздался — поспешные, нервные, визгливые смешки женщин, которые считали, что надо быть вежливыми, и довольно угрюмый сардонический смех кое-кого из мужчин с крайне левыми взглядами. Гвен Оклей (которая со своего места смотрела на Боба Элрика и нашла, что у него больной вид) не присоединилась к этому смеху. Она уже успела решить про себя, что лорд слишком сладкоречив и что он — «фальшивая монета».

Лорд отметил в своей речи, что в последнее время ходит очень много толков, — с его точки зрения, далеко не всегда разумных и полезных — о послевоенном устройстве Англии. «Конечно, мы понимаем, что произойдут большие перемены. Мы сознаем, что вернется к довоенным условиям невозможно!» — Тут в зале кое-где захолопали, а Элрик сказал Энглаби, что это сознание не мешает лорду употребить все силы на то, чтобы вернуть эти довоенные условия.

— В отношении... э... условий труда, жилищных условий, образования, здравоохранения и так далее неизбежны большие перемены. И смею вас уверить, что мы уже начинаем закладывать прочный фундамент для таких реформ, чтобы... э... сохранить все лучшее в нашем традиционном укладе жизни и в то же время... гм... осуществить уже назревшие реформы, которые обеспечат гражданам нашей страны большую безопасность, большие возможности и жизнь более культурную.

Последние фразы он произнес звучным голосом, и это произвело желаемый эффект. Они всегда имели успех, эти фразы, которые он неизменно вставлял в каждую свою речь и пускал в ход несколько раз в неделю.

Восторженнее всех аплодировала мисс Шиттон. Идя сюда, она была уверена, что лорд ей не понравится, ибо его прошлое было ей известно, а она считала себя передовой женщиной. Но сейчас она пришла к заключению, что Бриксен человек вдумчивый и к тому же обаятельный. Она надеялась, что его прекрасная речь расшевелит Артура Болтона, которого необходимо вывести из душевного оцепенения.

Однако лорд Бриксен считал необходимым напомнить слушателям, что надо еще сначала выиграть войну. Еще не время для самоуспокоенности. Впереди — тяжелые испытания.

Тут Морис Энглаби заерзал на месте, подумав о том, сколько времени и энер-

гии потрачено за последние два года министрами, полководцами, членами правительства, дикторами, журналистами, вообще всеми, кто имел возможность быть услышанными, на то, чтобы твердить народу, который знал это не хуже их, что войну еще надо выиграть. Где они видят эту «самоуспокоенность», которую громят каждый день и каждый час? Не лучше ли всем важным «шишкам» начать увещевать друг друга и перестать увещевать народ? Не все же они — Уинстон Черчилли.

— Как вы уже слышали от мистера Чевииота, — продолжал лорд Бриксен, — из Египта получены хорошие вести, а скоро будут еще лучшие. Помощь Америки людскими резервами и военными материалами принимает все более широкие размеры. Доблестная Красная Армия под Сталинградом...

Тут ему помешало продолжать бурный взрыв аплодисментов. Огмор стучал кулаками по столу и топал ногами, у него даже выступили на глазах слезы при одном упоминании о любимой России. Да и громадное большинство остальных рабочих в первый и единственный раз за время этой речи проявили истинное воодушевление. Упоминание о непобедимой рабочей республике, видно, затронуло в них струну, которой не затрагивали никакие другие ссылки оратора, и вызвало мощный взрыв чувств, слишком редко находивших себе выход. Лорд Бриксен не замедлил отнестись к этому энтузиазму на свой счет и следующие несколько минут ораторствовал в таком духе, что можно было подумать, будто он в свое время брел по снегу с противотанковым ружьем, сражаясь под начальством Тимошенко. На самом же деле он в течение нескольких лет делал все, чтобы помешать правдивым сведениям о России дойти до английского народа, он ежился при одной мысли о возможности соглашения с Советским Союзом, поощрял фашистов, рассчитывая, что они встанут между ним и страшным большевизмом, и в конце июня 1941 года один из первых заявил, что Красная Армия продержится каких-нибудь полтора месяца, не больше. Об этих фактах мистер Альфред Клитон напомнил теперь всем, кто сидел вблизи него. Возможно, что его милость искренно переменял мнение под влиянием последних событий, но он ни словом не упомянул об этом в своей речи.

— «Проникнутые духом Атлантической хартии и сплоченные, как никогда доселе, свободные и объединенные народы пойдут дружно вперед!» — воскликнула лорд Бриксен, приступая к хорошо затверженной и много раз использованной заключительной части своей речи. Но, к несчастью, в этот момент кто-то, стоявший у стены недалеко от эстрады, вздумал выйти из зала и сделал это с та-

ким шумом, так неуклюже, ничуть не стараясь двигаться потише, что в этом уходе чувствовалось что-то демонстративное. Стук и грохот прозвучали, как нежданная злая критика. Секунду-другую лорд Бриксен, благополучно добравшийся до привычного заключения, не мог припомнить следующую фразу и стоял с открытым ртом. Но недаром же он был старый и опытный оратор. Не прошло и минуты, как он оправился и энергично забарабанил одну пошлость за другой. Закончил он, как полагается, торжественным уверением, что Победа, Мир, Свобода близятся и уже видны впереди, как яркий свет маяка. И Нелли Диттон и Мона Фокс нашли, что все было замечательно!

32.

Человек, так демонстративно вышедший из столовой, был Элрик. Ему стало невтерпех слушать лорда Бриксена, который в его глазах был не человек, а ненавистная символическая фигура, — и он решил, что такой уход — лучший способ показать это публично. Если кое-кого это шокирует, — тем лучше. Элрик даже немного жалея, зачем не поддался искушению выкрикнуть во весь голос что-нибудь оскорбительное. Самый факт, что этот идиот-тори ораторствует в заводской столовой, казался Элрику частью какого-то тайного зловещего заговора. Недаром он явился сюда сразу же после назначения Влэндфорда управляющим! У Элрика было такое чувство, словно он — участник какой-то страшной драмы, попадает из одной отвратительной передруги в другую и что ему суждено ему доиграть свою роль до конца, что бы ни случилось. Кроме того, его желудок настоятельно требовал новой порции виски, и он спешил вернуться к себе в кабинет, где хранил бутылку. С того самого часа, когда он ушел с производственного совещания, он ни разу не поел как следует, а виски пил беспрестанно. На этом собрании весь завод отдан был в руки Влэндфорда — как тут не тревожиться! Это волновало его гораздо больше, чем отрицательный отзыв о нем самом, хотя и отзыв — не шутка.

Все походило на кошмарные видения долгого дурного сна. Эти дни Элрик чувствовал себя, как человек, который в мучительном сне, спотыкаясь, бродит по каким-то узким темным коридорам, тщетно стучится в закрытые двери, отскакивает от лестниц, которые валяются на него, от стен, которые смыкаются вокруг него...

Придя в свой кабинет, где в этот час перерыва стояла странная, гнетущая тишина, он залпом выпил виски и, возбужденный и угрюмый, стал размышлять все о том же. Вся его неукротимая энер-

гия, которую он раньше вкладывал в работу, энергия, которая, подобно динамо, способна была, кажется, приводить в движение машины, теперь ушла внутрь и где-то в тайниках души рождала странные, грозные видения. Он терпел двойную муку, ибо каждое событие внешнего мира казалось связанным с его внутренним миром черной тоски и отчаяния. То, что грозило в ночном кошмаре, осуществлялось наяву, среди беда дня. Каждый день все более явно и беспощадно оборачивался врагом.

Он выпил еще и почувствовал себя бодрее. Он сурово напомнил себе, что он — инженер и пока еще — главный. Сделав над собой большое усилие, он занялся какими-то бумагами, лежавшими у него на столе. Работа была обычная, не требовавшая большого внимания. Но ему было трудно сейчас сосредоточиться на знакомых фразах и цифрах. Они утрагивали свою реальность. Они словно отодвинулись от него на большое расстояние. Этот кабинет, весь завод уходили куда-то вдаль, как будто он видел их на экране в кино. Он отодвинул в сторону бумаги и подпер обеими руками болевшую голову. «Что это со мною, какого чорта...»

— Мистер Элрик, вы нездоровы?

Это была маленькая Мюриэль Ллойд, его секретарша.

Он хмуро посмотрел на нее.

— Я здоров, спасибо, Мюриэль. А вот с вами все ли благополучно?

Она не знала, как ей понимать эту реплику.

— Почему вы... Да, спасибо, мистер Элрик, я вполне здорова.

— Так, так. А вам понравилась речь лорда Бриксена? Только говорите правду.

— По-моему, он говорил очень хорошо, мистер Элрик. Мне очень понравилось, и, наверное, всем другим девушкам тоже.

— Ага. И вы находите, что такие, как он, должны стоять у власти, быть членами правительства и все такое?

— Ну, да, мистер Элрик. Он нам всем очень понравился.

— Тогда, Мюриэль, вы ничего не понимаете. Он и ему подобные уже раньше чуть не погубили вас, и, если вы не будете остерегаться, они еще это сделают. Вот почему я не выдержал, ушел оттуда, Мюриэль... Впрочем, вы, наверное, не понимаете, о чем я говорю, а?

Но Мюриэль не была ни поражена, ни испугана: неожиданно для Элрика, она очень рассердилась.

— Не думаю, чтобы вы имели право так со мною разговаривать, мистер Элрик, — объявила она с негодованием, в упор глядя на него. — Вы всегда так делаете, и, по-моему, это нехорошо с вашей стороны. Я не такая образованная, как вы, я, может быть, иногда бываю

бестолкова.. но я не.. не такая уж дура. А вы постоянно даете мне почувствовать, что я глупа и... и такое ничтожество. Пользуетесь тем, что я ваша подчиненная. Это нечестно.

Он откинулся назад, с удивлением глядя на нее.

— Вы совершенно правы, Мюриэль, абсолютно правы. Раз вы способны так чувствовать, тогда мне следовало говорить с вами совсем по-другому.

— Ладно, мистер Эрик, — сказала она поспешно, уже смущенная своей выходкой. — Я только имела в виду...

— Я знаю, что вы имели в виду, и вполне вас понимаю. Все в порядке, Мюриэль. Больше не будет таких разговоров. А, может быть, нам с вами скоро и вовсе не придется больше разговаривать. Вы, вероятно, будете чертовски рады от меня избавиться. Это понятно.

— Нет, нет, не буду рада, мистер Эрик, — воскликнула ошеломленная Мюриэль. — Неужели вы от нас уходите?

— Я еще и сам не знаю, что со мною будет, — ответил он упавшим голосом. — Все так дьявольски запутывается... Посмотрите, кто там, Мюриэль.

Это был Прокот. Он, видимо, очень торопился.

— Слушайте, Боб, вы придете к завтраку, надеюсь?

— Нет, спасибо, Перси.

— Но почему? Что за причина?..

— Причин много. Во-первых, мне не особенно хочется есть. Во-вторых, я не могу больше выносить общества нашего высокого гостя, оно вызывает у меня желание выпить в-дым. В-третьих, раз там будут и он, и Блэндфорд, так можно поручиться, что я лягну что-нибудь неприлично-грубое и поставлю вас и Чевюта в неудобное положение. Ну, что, теперь понятно?

— Понятно. Если кто спросит, я скажу, что вы раскисли. Вид у вас и вправду не блестящий. — Он сделал паузу. — Послушайте, старина, — он подошел ближе и понизил голос. — Конечно, это не мое дело, — а вы знаете, что я в чужие дела соваться не люблю. Но я вижу, что в последние дни вы все воспринимаете не так, как надо. Вы воюете не только со всеми, но и с самим собой. Подбодритесь вы, голубчик, ради всего святого. Если бы вы знали, как много у вас здесь друзей!

— Ну и что? — Голос Эрика звучал резко, но не враждебно. — Что же прикажете мне делать? Обходить их и собирать голоса в свою пользу? Взять от них хороший письменный отзыв?

— Вот видите! — сказал Прокот с отчаянием. — Вы даже мои слова приняли так, что я уже жалею, зачем заговорил об этом.

— Не жалейте.

— Так помните, что я вам сказал, Боб. А теперь мне надо бежать в столовую.

Эрик опять остался наедине со своими мыслями. Он курил одну папиросу за другой и мрачно обзирал вереница воспоминаний. Вспомнил, как чью-то чужую жизнь, первые дни после жернитбы, задолго до того, как все пошло прахом. А потом перебирал в памяти бережно, как нечто драгоценное, те великие сумасшедшие месяцы после падения Дюнкерка, когда страна, наконец вострепенулась, ожила, и в великолепии ярости самозабвения и творческого порыва в последний момент спасала и мир и себя самое. Тогда не слышно и не видно было таких лордов Бриксенов. То было не их время, — и они это понимали и сидели смиренно, пока долгое жаркое лето не перешло в осень, а осень с пылающей золотом листвой и пылающими повсюду городами сменилась глубокой зимой. А когда непосредственная опасность миновала и с ней миновал и великий народный порыв, — вылезли на свет лорд Бриксен с компанией. Одним заткнули рот, других взяли за горло — смотришь, опять все оказалось в их руках. Да, в 1940 году он, Эрик, работал так, что с ног валился и чуть не ослеп, но не 1940 год вынул из него душу. В этом виновато все то, что было потом, — всеобщая расхлябанность, разочарование, какой-то сон души, и старые излюбленные штуки все той же шайки.

Вошла мисс Шиптон. Он сразу заметил, что она держит себя увереннее, чем прежде, и гораздо меньше старается скрыть свою неприязнь к нему. «Видно, узнала, что я поскользнулся, — подумал Эрик. — И ей теперь все равно, нравится мне ее тон или нет. Хорошо же, пойдем ей навстречу».

— Ну, что, опомнились уже после замечательной беседы в столовой? — спросил он.

Она сурово посмотрела на него.

— Речь лорда Бриксена мне очень понравилась и, я думаю, большинству рабочих также. Это как-раз то, что им нужно.

— Господи, помилуй! Вы меня убиваете, мисс Шиптон... У вас какое-нибудь дело ко мне?

— Да, мистер Эрик. Мистер Прокот, верно, уже говорил вам о радиопередаче, для которой мы должны послать в Лондон двух лучших рабочих.

— Да, говорил что-то такое на-днях. Разве он еще не устроил это?

— Он просил меня, когда мы окончательно выберем девушек, получить ваше согласие. Мы сначала наметили миссис Оклей, потому что она — установщица и очень опытная и вообще она такая бойкая...

— Да, Гвен — подходящий человек. Я ее

давно знаю. Мы с ней большие приятели. Но согласится ли она?

— Вот в том-то все дело. Она отнеслась к этому так неодобрительно, — хотя тут ведь предстоит поездка в Лондон за счет завода и все такое, — что я не считаю возможным послать ее. Скажу прямо, — она вела себя довольно глупо.

— Вы, наверное, не так подошли к ней. Гвен немного обидчива, но она совсем не глупа, и интересы завода ей дороги. Может быть, она думает, что эта передача бесполезна для нас. У меня у самого сомнения на этот счет. Они учат девушек, что сказать, и получается омерзительно фальшиво, так что никому от этого пользы нет.

Мисс Шиптон и сама была почти такого же мнения, но ее сильно раздражал тон Элрика, в котором ей постоянно чудились презрение и насмешка. Поэтому она всегда готова была перечить ему.

— Не нам судить... — начала она сухо.

— Эту свою позицию вы оставьте, — заорал вдруг Элрик, зло глядя на нее. — Мы можем судить не хуже других. Мы здесь работаем. Мы проводим целые дни с рабочими. Если не нам, так кому же судить? Лорду Бриксену, что ли?

— Мистер Элрик, я кричать на себя никому не позволю. Если вы не можете говорить спокойно, я лучше уйду.

— Ладно, — сказал он ворчливо, — незачем вам уходить. А что касается Гвен Оклей, так тут ничего не поделаешь. Не хочет, не надо. Если она не уедет, — работа от этого только выиграет. Нам было бы очень трудно обходиться без Гвен даже несколько дней. А еще кого вы наметили?

— Мистер Проскот предлагал мисс Пиннель, бывшую секретаршу мистера Бэндфорда, которая теперь в учебном... Она — девушка незаурядная...

— А, знаю. Высокая такая брюнетка. Что же в ней незаурядного? Финтифлюшка! Какая она работница авиазавода? Может, когда-нибудь и станет ею, хотя сомневаюсь. Нет, она не годится.

— Я передам мистеру Проскоту ваши возражения против мисс Пиннель, — сказала мисс Шиптон. Она была вполне с ним согласна, но вовсе не желала признаться в этом. — Затем есть те две девушки из сборочного, которые иногда участвуют в концертах...

— И этих прочь! Мы должны послать двух настоящих работниц, а не каких-то третьеразрядных любительниц искусства. Отчаливайте-ка вы от сборочного и возьмите двух женщин прямо от станков.

— Хорошо, тогда... Сегодня мистер Огмор предлагал мне одну из своих. Он, конечно, знает, кого выбрать.

— Да, Огмору легче всего судить.

— Он предлагал послать работницу его отделения Нелли Диттон. Славная, работящая девушка. Немножко наивная, но очень умная, но хорошая девушка. И потом еще ее подругу Мону Фокс. Огмор находит, что, так как они подруги, они будут меньше робеть, если поедут вместе. И специальность у них разная.

— Да, это лучше, — сказал Элрик. — Они подойдут. — Он, видимо, хотел закончить разговор, но вдруг что-то вспомнил. — А там есть еще девушка, Джойс Дирхерст. Вы ее знаете? Что, если послать ее?

— Совершенно не подходит, — возразила с живостью мисс Шиптон. — Она пропустила столько дней без уважительной причины, а теперь заявляет, что вообще хочет уйти с завода.

— Хочет уйти? Почему?

— Говорит, что ей работа не нравится и что она хочет заняться чем-нибудь другим. Стоило ее обучать! Нет, девушка мало симпатичная и, разумеется, трудно найти менее подходящую для командировки в Лондон в качестве представительницы наших рабочих.

— Да, да, да, — прорычал Элрик, не глядя на нее. — Пошлите тех двух и делу конец. Все?

— Как будто все, мистер Элрик. Вы не поговорите с этой Дирхерст?

— Ладно, посмотрим.

Он жестом отмахнулся от дальнейшего разговора и поторопился выпроводить мисс Шиптон. Эта женщина всегда недолюбливала его и теперь почти не скрывает этого. Она, должно быть, пронюхала кое-что. Когда она говорила о Джойс, в ее голосе слышалось холодное злорачество.

Телефон теперь звонил непрерывно, и пришлось добрый час заниматься деловыми разговорами. Но эта привычная деятельность не заглушала чувства безмерной опустошенности. Он все еще был во власти того долгого дурного сна, в котором все беспрестанно грозило сойтись вокруг и задушить его. Когда наступило время чаепития, он отказался от чашки чая, принесенной Мюриэль, — Мюриэль, которой явно очень хотелось вторично спросить, здоров ли он, — и опять проглотил изрядную порцию виски. Потом сошел вниз.

Поговорив с несколькими мастерами, он направился в четвертое отделение. К нему сразу же подошел Фред Сколби, и он заставил себя вести с ним деловой разговор, хотя, собственно, говорить было почти не о чем. Он незаметно подвигался все ближе к тому месту, где работала Джойс Дирхерст, пока, наконец, не увидел ее в нескольких шагах от себя. Он почему-то вспомнил сейчас то утро, когда увидел ее в первый раз. Казалось, то было очень давно, то была какая-то другая глава в истории его жизни. А ведь

е так зор не прошло и недели! Так сильно было это странное ощущение давности их предыдущей встречи, что он удивился, увидев Джойс такой же, какой она была тогда. Она казалась большим цветком, распустившимся в этом столь неподходящем месте. Эрика снова захлестнула темная волна исходившего от нее очарования. А с нею — и чувство, которое он испытал в то первое утро, только гораздо сильнее. Он чувствовал, что только эта волшебница — не просто девушка, как все, а существо из другого, лучшего мира. — могла вывести его из лабиринта кошмарного сна.

Он отослал Фреда и подошел к Джойс. Остановился, не сводя с нее глаз. Она случайно подняла голову и увидела его. Когда взгляды их встретились, Эрик снова ощутил то же, что тогда вечером, когда она была у него в кабинете и они оба стояли и молча смотрели друг другу в лицо: огромную, нестерпимую нежность, в которой была и радость, и боль. И ему казалось, что она тоже переживает в эту минуту то, что тогда: у нее вдруг так же, как и тогда, расширились и посветлели глаза и в них появилось слегка вопросительное выражение. Ведь это ему не почудилось? Это было.

Он подошел к ней, решительно и властно.

— Джойс, как только кончите работу, поднимитесь ко мне в кабинет, хорошо? Она слегка нахмурилась, взглянула как-то нерешительно.

— Дело важное, — добавил он, подумав, что, должно быть, испугал ее.

— Хорошо, придю, — ответила Джойс тихо и снова принялась за работу. Эрик быстро отошел. Давно у него не было так легко на душе. Неужели кончился долгий тяжкий сон?

33.

Возвратясь от Эрика, мисс Шиптон еще часа два сидела у себя в комнате. И не только потому, что у нее была работа, а еще и по другой причине: разговор с Эриком был настолько неприятен и стоил ей такого душевного напряжения, что понадобился весь остаток дня на то, чтобы притти в равновесие. В кабинете у Эрика она держалась храбро, но, возвратясь к себе, вся тряслась от волнения и глубокого возмущения. Эрик ей всегда был антипатичен, и она считала, что такому человеку следовало бы иметь дело только с машинами в цехах, а не занимать ответственный пост. Он — хам и циник, и ни один более или менее культурный рабочий такого, конечно, уважать не может. У него очень тяжелый характер и он еще как будто старается быть как можно бестактнее и грубее. Если бы спросили ее мнения, она бы без колебаний сказала, что он оказывает на

рабочих дурное влияние. Затем он сильно пьет и у него очень неприятная манера обращаться с женщинами. Ходят слухи, что его положение пошатнулось. Тем лучше, если это правда. Мисс Шиптон готова была заявить мистеру Чевитоту или кому-нибудь, что с ее точки зрения, как инспектора охраны женщин, было бы лучше заменить Эрика другим, культурным и положительным человеком.

Она сознавала, что были и другие, более глубокие причины ее нелюбви к Эрику. И несколько раз сегодня, работая у себя в кабинете, она вспоминала его темные насмешливые глаза и спрашивала себя, что же в этом человеке всегда отталкивало ее и вызывало такое чувство, что перед нею — враг? Наконец, уже к концу дня, она пришла к заключению, что ей противна в нем грубая, жадная, дерзкая мужская натура. Ей никогда не нравились мужчины такого типа. В них что-то первобытное и хищное. Они унижают женщину уже одним своим приближением к ней. И долг каждой разумной женщины, стоящей за глубоко-человечные, товарищеские отношения между полами, бороться, а если понадобится, то и разоблачать таких мужчин. Они будут существовать и процветать только до тех пор, пока глупые женщины, которые хватаются за любую возможность половой жизни, будут допускать это.

Вынеся такую резолюцию и подкрепившись двумя чашками крепкого чая, тремя бисквитами и папиросой, мисс Шиптон несколько воспрянула духом и решила сходить вниз и потолковать с двумя девушками, выбранными для выступления по радио.

Но сначала она переговорила с м-ром Огмором, который наблюдал за окончательной сборкой большой машины устрашающего вида, только-что доставленной сюда из другой части завода.

— Нет, не объясняйте мне ничего, — взмолилась она. — Я не люблю машин и все равно ничего не пойму. Какое чудовище!

М-р Огмор укоризненно покачал головой.

— Она отлично работает. Единственный ее недостаток тот, что она производит страшный шум, и женщины ее за это не любят: она мешает им перегориваться. — Нет, эта машина не страшная, мисс Шиптон, — добавил он внушительно. — Эта машина как-раз поможет нам избавиться от фашистов... — Что вы мне хотели сказать?

— Вашему отделению везет, — начала она весело. — Обе предложенные вами девушки — и Нелли Диттон, и Мона Фокс — будут посланы в Лондон.

Длинное лицо м-ра Огмора просияло. — Вот это я называю хорошими вестями, — воскликнул он. — Все будут довольны и работать станут лучше. Я вам

очень благодарен, мисс Шиптон, честное слово. И вы не пожалеее, что выбрали этих двух, они хорошие девушки. Вы сами им сообщите или мне это сделать?

— Вы скажите Моне Фокс, а я — Нелли Диттон, — решила мисс Шиптон.

— Ладно, Нелли как-раз за вашей спиной. Мона — та где-то носится, по обыкновению. Да, да, это приятно. — Он дружески пожал ей руку.

«Симпатичный человек этот мистер Огмор, не то, что разные Эрики!»

— Ну, Нелли, — сказала она, наслаждаясь своей ролью. — У меня есть для вас хорошие новости.

Девушка покраснела до корней белокурых волос.

— Ага, мисс Шиптон, это, наверно, насчет автобуса?

— Автобуса? — мисс Шиптон не сразу вспомнила, о каком автобусе идет речь. — Ну, нет, дело поважнее. Я пришла вам сказать, что вы избраны для поездки в Лондон и участия в большой радиопередаче, посвященной авиазаводам.

— Я? — задыхнулась Нелли.

— Да, вы, Нелли.

Сперва удивление, затем радость осветили лицо девушки.

— Ах, мисс Шиптон!... Но смогу ли я... Конечно, это чудно... Но как вы думаете, я не осрамлюсь?

— Ну, конечно, нет. А знаете, кто еще едет с вами?

— Нет. Кто же?

Перед тем, как ответить, мисс Шиптон подумала, что есть женщины двух сортов: радость одних несколько омрачится, если они узнают, что какую-нибудь привилегию с ними разделит подруга. Радость других от этого, наоборот, усилится. К какому-же разряду принадлежит Нелли?

— Вы с нею, кажется, приятельницы. Это Мона Фокс.

Нелли явно принадлежала ко второму типу женщин: лицо ее еще больше просияло.

— Да, это моя подруга. И нам можно будет ехать вместе? Как хорошо!.. Не знаю только, что скажет мама. Я вам рассказывала про нее, да? Она не верит радио, говорит, что оно выдумывает все про войну. Но, авось, тетя ее умоляет. Я уверена, что тетя захочет ехать с нами. Когда это будет, мисс Шиптон?

— Не раньше, чем в конце недели. Я вам сообщу все подробности, как только сама их узнаю.

Мисс Шиптон уже хотела уйти, но вдруг ее внимание привлек один из соседей Нелли. Она придвинулась ближе к девушке и спросила шопотом:

— Кто этот мужчина вон там, который все время смотрит на вас?

Лицо Нелли омрачилось.

— Мисс Шиптон, я не хотела вам говорить, чтобы вы не подумали, что я

всегда жалуясь: сначала — автобус, теперь это. Но мистеру Огмору я уже несколько раз говорила... Потому что иногда мне просто страшно...

— Кто он такой и почему так смотрит на вас?

— Его фамилия Стоньер, — тоже шопотом ответила Нелли. — Он здесь недавно. И, честное слово, мисс Шиптон, все вам это подтвердят, — он или сходит с ума, или уже сошел. Честное слово! Он все время что-то бормочет. И говорит такие странные вещи. А в последнее время все на меня смотрит, глаз не сводит. Но не так, как другие мужчины, те просто разглядывают девушек, и все. А этот... Вы сами видели, мисс Шиптон.

— И что же сказал мистер Огмор?

— Мистер Огмор тоже находит, что он очень странный человек и, пожалуй, становится день ото дня хуже. С тех пор, как начали устанавливать у нас ту большую машину, он ровно ничего не делает, только наблюдает, как ее собирают, да пялит глаза на меня... Но мистер Огмор говорит, что Стоньер до сих пор не сделал ничего недозволенного, так что он не может жаловаться на него. Право, мисс Шиптон, если это будет продолжаться, мне придется просить мистера Огмора передвинуть на другое место или его, или меня. Он мне действует на нервы. Не можете ли вы что-нибудь сделать, мисс Шиптон?

— Попробую, Нелли. Мне тоже не нравится этот человек.

Она пошла вдоль ряда, ища м-ра Огмора.

— Стоньер? — М-р Огмор нахмурился и крепко потер подбородок. — Да, с ним что-то неладно. Я сначала не верил, когда меня предупреждали тут некоторые, но в последние дни сам уже заметил. Кроме того, он работает все хуже и хуже. Стоит — будто спит с открытыми глазами. Знаете, что я надумал? Завтра доктора Стэммера в клинику не будет, он принимает только послезавтра с утра, — и тогда я под каким-нибудь предлогом пошлю Стоньера в клинику. А с сестрой Файли я уговорился, что доктор Стэммерс потолкует с ним и осмотрит его.

— Послезавтра?

— Да. Тогда мы узнаем мнение специалиста. Скажу вам откровенно, — я буду рад избавиться от Стоньера. Таким не место среди рабочих... Ну, а насчет радио я сказал Моне Фокс, и девушка от радости совсем голову потеряла. Немного она нарабатывает в эти дни в своей бригаде «передовиков»... Ну, да нам сейчас не так уж это важно. Второй фронт — вот что нам сейчас нужно. Так-то, мисс Шиптон!

Это было для мисс Шиптон сигналом ретироваться. Она не то, что была не согласна с энтузиастами второго фронта, но ей надоело слышать каждую минуту, что

это «открыть» второй фронт, как будто эти банки залежавшихся консервов.

Пробираясь на другой конец зала, она вспомнила, что здесь где-то работают две женщины, которых ей надо повидать. Она даже себе самой не хотела сознаться, что ее тянет туда, где работает Артур Болтон. Она не позволяла себе думать о нем.

Она поговорила с теми, кого разыскивала, и заметила, что уже поздно. Только теперь она разрешила себе вспомнить, что Болтон работает близко отсюда и надо воспользоваться случаем поговорить с ним. Возможно, что он захочет объяснить ей, почему их воскресная прогулка была так неудачна. Может быть, ему тогда нездоровилось? Может быть, он хочет ее видеть, но слишком робок, чтобы притти к ней или передать письмо? Ведь он очень застенчив и занимает на заводе более низкое положение, чем она, так что естественно с его стороны ожидать, чтобы первый шаг сделала она. Так она и поступала до сих пор. Но это для нее обидно. А, кроме того, это не дает ему возможности проявлять как-нибудь свой интерес к ней. Конечно, если только он... — ледяная рука сжала ей сердце — если только он сколько-нибудь интересуется ею.

Она остановилась немного поодаль, делая вид, что ищет чего-то в своей записной книжке, — и затем взглянула на него. Он стоял неподвижно, рассматривая оконченную работу. Высокая фигура, серьезное лицо... Мисс Шиптон словно видела перед собой поясной портрет в необычайной рамке машин. Было в нем что-то в высшей степени старомодное, не вязавшееся с окружающим его миром машин. Внешность у него была мало привлекательная. Мисс Шиптон подумала, что за нею ухаживали когда-то мужчины гораздо более обаятельные, интересные и сильные, а между тем ее тянуло к ним. Что же так привлекает ее в этом Болтоне, почему она все чаще и чаще думает и беспокоится о нем? Пережитая им драма? То, что он производит впечатление человека, убитого жизнью? Или непонятная потребность оправдать свою связь с Гербертом в глазах этого, осуждающего ее, чужого человека? Или — спросила она себя честно, напрямик — может быть, тогда, в первую их встречу, когда он сказал ей, что жена Герберта знает все, он этим как-то сразу вытеснил Герберта из ее жизни и, так как внезапная пустота в мыслях и сердце была ей невыносима, — он занял место Герберта? Ибо она сейчас уже знала, что влюблена в этого молчаливого незнакомца и не успокоится до тех пор, пока не вернет его к жизни, пока он не полюбит ее.

Через минуту он может уйти. Подумав это, она заторопилась и, когда подо-

шла к Болтону, дышала тяжело и не сумела принять тот небрежный вид, который обычно напускала на себя.

— Здравствуйте, Артур, — сказала она весело. — Кончаете?

— Да, только-что кончил.

Он не улыбнулся и посмотрел на нее без всякого выражения. Нужно было еще прибраться у станка, и он занялся уборкой.

Мисс Шиптон испытывала мучительное волнение человека, которому остается очень мало времени.

— Мне показалось, — начала она и тут же поправила себя: — я чувствую, что вам наша прогулка в воскресенье не доставила удовольствия. И все задаю себе вопрос, не моя ли это вина.

Он опять посмотрел на нее.

— Нет, не ваша.

— Мне нужно было поговорить с вами о тысяче вещей, — продолжала она быстро. — И спросить вас о многом, но разговор у нас не вышел. Может быть, вы не любите разговаривать на прогулках? Я знаю, некоторые этого не любят. Должно быть, я слишком много болтала... Теперь — ваша очередь.

Он промолчал, словно не заметив вызова и ожидая, что она еще скажет.

— Вы сегодня или завтра вечером не свободны? — Сказав это, она почувствовала к себе презрение.

Он неспеша вытер тряпкой руки. Посмотрел пристально, и, может быть, немного грустно на стоявшую перед ним женщину.

— Я должен вам сказать одну вещь, которой мне бы говорить не хотелось, — начал он медленно, со своим характерным ланкаширским выговором, который как-то сглаживал все и придавал словам меланхолический оттенок. — Мне кажется, вам сейчас очень нужен друг — и это вполне понятно после истории с Гербертом и всего остального. И вы, вероятно, думаете, что мне тоже не мешало бы иметь друга...

— Да, я об этом думала, — перебила его мисс Шиптон. — Я знаю, что вам он нужен... и знала это еще до нашего знакомства, когда мне рассказали обо всем, что вы пережили и...

— Не хотела бы вам мешать, — произнес голос, звучавший холодно и, пожалуй, немного иронически. — Вы меня извините, и все такое... Но мне нужно взять вашу розовую бумажку, мистер Болтон. Спасибо, — и Гвен Оклей, отбрав листок, посмотрела на них обоих с улыбкой (за которую мисс Шиптон с наслаждением ударила бы ее) и ушла, навистывая.

Болтон подождал немного, затем решительно сказал:

— Но дело-то в том, что я не хочу иметь друга. Не очень это вежливо звучит, и я бы предпочел не говорить так,

но ничего не подделаешь: надо. Мне нечего дать другу, а тем более, другу-женщине. Мне нужен теперь только покой да работа. И тогда...

— И тогда что? — спросила она.

— Ничего, буду жить кое-как. Читать понемножку, думать, наблюдать...

— Другими словами, вы хотите, чтобы я вам не надоедала больше... оставила вас в покое... — голос едва не изменил ей.

— Я хотел вам объяснить свое состояние, — ответил он уклончиво, не глядя на нее. — Чтобы у вас больше не было разочарований. Я ведь вас разочаровал в воскресенье. Что ж, сознаюсь, я виноват.

— Если вы думаете... — начала она запальчиво и вдруг остановилась. Чувствовалось, что для этого ей пришлось пустить в ход все внутренние тормоза и даже скрип их, кажется, был слышен. Но она все-таки взяла себя в руки. «Женщины, которыми пренебрегли...» Знакомая фраза... Нет, есть иной, лучший путь, и она изберет его.

— Понимаю. Ничего больше не нужно говорить и извиняться не нужно. Я думала, что, так как нам обоим тяжело, мы могли бы помочь друг другу пережить... и потом... не знаю почему, но после того, как вы говорили со мной о жене Герберта, я чувствовала, что должна оправдаться перед вами, чтобы вы не презирали меня...

— Я вас вовсе не презираю, — возразил он с удивлением.

— Что ж, и то хорошо. И никто ни на кого не в обиде. — Переломив себя, она посмотрела ему в глаза и даже изобразила что-то вроде улыбки.

— Если я вам зачем-нибудь понадобится, приходите. Я имею в виду деловые услуги... Ведь это моя обязанность здесь. До свиданья.

Она поспешила уйти, сама еще не понимая, что ее гонит — слепое бешенство или предельное отчаяние. Она ощущала жгучую боль в веках, она вонзила ногти в свои влажные ладони. Гудок затих, и, продираясь сквозь спешившую к выходу толпу, она беспрестанно натыкалась на людей, как слепая. Когда она была уже недалеко от лестницы, которая вела наверх, мимо нее промелькнула высокая грациозная фигура девушки, в которой она узнала Джойс Дирхерст. Джойс торпливо взбежала по ступеням. Уж не к ней ли она идет? Ничего, подождет!

К тому времени, когда мисс Шиптон добралась до верхнего этажа, почти все служащие уже разошлись, и не слышно было привычного стука пишущих машинок, жужжания и телефонных звонков. Она медленно шла по коридору к своей комнате, находившейся на другом его конце. Вспомнила утренние огорчения, рассердивший ее разговор с Эл-

риком. Как-раз в эту минуту она прошла мимо его кабинета, и гнев с новой силой забушевал в ней.

Она вдруг остановилась и круто повернулась. Где-то в одном из кабинетов, раздался женский крик. Это, наверное, у Элрика. Она вбежала туда и увидела Джойс Дирхерст, вырывающуюся из объятий Элрика.

Мисс Шиптон что-то крикнула — она никак потом не могла припомнить, что, — и через мгновение тяжело дышавшая и всхлипывавшая Джойс очутилась с нею вместе в коридоре. Из дверей уже высывались головы, но она быстро увела девушку к себе.

— Он пьян... или с ума сошел... бог его знает, — сказала Джойс, задыхаясь. — Он велел мне притти к нему, я думала, он хочет поговорить со мною насчет моего увольнения... Но не успела я войти, как он выкрикнул мое имя и... и схватил меня и начал целовать. Он был страшен... Я ничего такого не говорила и не делала, чтобы дать ему повод так вести себя... Я всегда его боялась... — Она громко заплакала.

— Оставайтесь здесь, — сказала мисс Шиптон. — Я пойду заявлю об этой истории.

Она пошла обратно в кабинет Элрика. Элрик сидел, спорбившись, за письменным столом, с бессмысленным выражением глядя куда-то в пространство. Во всей его позе была такая безудержность, что даже мисс Шиптон, как она ни была зла на него, не могла не почувствовать ее. Но она немедленно себя одернула.

— Я заявлю об этом, — сказала она вторично, на этот раз еще более воинственно, словно бросая ему вызов.

Ни один мускул не шевельнулся в лице Элрика, только глаза медленно поднялись и встретили ее обвиняющий взгляд. В глазах этих нельзя было прочесть ничего. Выражение их смуглого мисс Шиптон, и она почувствовала, что надо объяснить цель своего прихода:

— Я скажу мистеру Чевииоту, что такие вещи, как то, что здесь сейчас произошло, делают мою работу невозможной. Думаю, что он меня поймет. А если нет, я подам заявление об уходе.

— Не только ваша работа, но множество других вещей станут невозможны, — промолвил Элрик медленно, уже не глядя на нее.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы все равно не поймете, так что не стоит объяснять. Ступайте, донесите. Она опять рассердилась.

— И пойду!

И действительно пошла прямо к мистеру Чевииоту. В первой комнате было темно, — очевидно, мисс Бэрроус уже ушла, — но в следующей горел свет. Она постучала и вошла. Там сидели мистер

Чевииот и молодой Энглаби. Стол между ними был завален папками и бумагами.

— Если у вас дело не очень экстренное, отложите на завтра, мисс Шиптон, — сказал мистер Чевииот, поднимая мохнатые брови. — Мы сейчас очень заняты.

— Я считаю его очень важным, мистер Чевииот, иначе я бы не стала вас беспокоить в такой час.

Ей трудно было совладать со своим голосом, он дрожал и прерывался. Мистер Чевииот посмотрел на нее с большим удивлением.

— Только-что произошло нечто очень неприятное, — и она принялась рассказывать эту, как она выразилась, «грязную историю».

— Лучше приведите ко мне девушку, если она в состоянии идти, — сказал мистер Чевииот серьезно.

— Ну, конечно, — ответила мисс Шиптон и тотчас вышла.

«Мистер Чевииот, повидимому, отнесся к этому должным образом», — подумала она с большим облегчением, ибо никогда не знаешь, чего можно ожидать от мужчин. Она выполнит свой долг, выполнит мужественно и не откладывая. Обличив Эрика, она тем самым защитит интересы всех передовых женщин.

И, однако, неизвестно почему (может быть, оттого, что она не могла забыть разговора с Болтоном?), та атмосфера безутешности и глубокой усталости, которую она ощутила на миг в комнате Эрика, преследовала ее, словно просочившись оттуда в коридор и заполнив его весь, во всю длину. Как тут торжествовать победу, когда жизнь вдруг стала казаться такой ничтожной, убогой и печальной?

34.

Морис Энглаби был трезво настроенный молодой человек и не сторонник культа героев, но за последние дни мистер Чевииот начал вызывать в нем чувство глубокого восхищения и искренней привязанности. Морису нравилось работать под руководством этого большого, грубоватого человека, который был весь поглощен делом и ничуть не заботился о своем престиже и никогда не рассматривал ничего с точки зрения своих личных интересов. Когда мисс Шиптон вышла из кабинета, Энглаби с тревогой поглядел на мистера Чевииота.

— Неприятная история... Особенно, если эта девушка собиралась уйти с завода...

— Погодите, может быть, мы слышали не все, — сказал мистер Чевииот. — Мисс Шиптон не любит Эрика, я это давно подметил. Не думаю, чтобы он ей сделал какое-нибудь зло. Вернее всего — просто подтрунивал над нею, по своей привычке. Этого, впрочем, совершенно достаточно, чтобы нажить себе врага в

женщине, несколько строптивой и лишенной чувства юмора. Меня беспокоит только вопрос, чем все это кончится для Боба Эрика. И для нас. Ну, да ладно, выслушаем сначала девушку.

— Пожалуй, мне лучше уйти, мистер Чевииот?

— Нет, не надо, если только она этого не потребует. Я лично предпочел бы, чтобы вы были здесь — потом узнаете, зачем... А пока давай, чтобы не терять времени, просмотрим еще раз эти расчеты.

Они занимались делом еще несколько минут, пока не вернулась мисс Шиптон в сопровождении высокой, очень миловидной девушки, заплаканной и не поднимавшей глаз. На Энглаби, которому не нравились женщины такого типа, она произвела впечатление вялой и бесхарактерной.

— Здравствуйте, милая девушка, — сказал мистер Чевииот. — Мне очень жаль, что вас напугали, но я вижу, вы уже оправились.

Она подтвердила тихим голосом, что чувствует себя лучше.

— И я не хочу больше об этом говорить, — добавила она. — Это мисс Шиптон вздумала... — Она бросила на мисс Шиптон недобольный взгляд.

— Да, понимаю. Мы задержим вас на одну минуту, не больше. Расскажите, что произошло.

Девушка рассказала, как Эрик велел ей притти наверх к нему в кабинет, и упомянула, что она уже была там один раз, когда ушибла руку и Эрик встретил ее в клинике. Она добавила, что никогда не была к нему расположена, ничем его не поощряла, что с первого же дня он показался ей странным и она его побаивалась. Наверное, он был пьян, когда обнял ее сегодня, — от него несло виски и у него был какой-то дикий вид.

— Так, — сказал м-р Чевииот. — А вам, кажется, и до этого случая не нравилось у нас на заводе? Что ж, мне очень жаль, что вышла такая неприятность, но ведь ничего дурного вам не сделали? И, если вы добрая и разумная девушка, — а вы мне именно такой и кажется, — то не станете болтать об этом. Вам, я думаю, и самой не хотелось бы, чтобы пошли разговоры? Нет? Ну, вот и отлично. Бегите одеваться, а то прозеваете автобус, а завтра приходите на работу, как обычно. Что касается вашего желания уйти с завода, — так на будущей неделе мисс Шиптон или мистер Энглаби потолкуют еще с вами об этом. У нас тут девушек не обижают, — напротив, все говорят, что мы для них очень много делаем. Вы живете у родителей?

Она объяснила, что и отец, и мать у нее умерли и живет она с теткой.

— Я не хотела бы, чтоб об этой истории все узнали, — повторила она, опу-

стив глаза. — Это неприлично... Ну, я пойду. До свиданья.

Мисс Шиптон проводила ее до лестницы и вернулась.

— Девушка совсем оправилась, мистер Чевит, — доложила она. — И, к счастью, она необщительна, так что, я думаю, болтать не будет. Но раз она вообще хочет уходить, нам теперь будет трудно удержать ее. Да и незачем: невелика потеря. Она совсем недавно пришла из учебного цеха — и уже видно, что ей работа у нас не по-вкусу. Пожалуй, вам следует знать, что мистер Эрик два-три раза расспрашивал меня об этой девушке и явно интересовался ею. Это может подтвердить и мистер Прокот. Я нисколько не сомневаюсь, — добавила она чопорно, — что мистер Эрик умышленно позвал ее к себе для того, чтобы... гм... предпринять наступление. Бог, что я хотела бы отметить...

— А, может быть, он имел основание думать, что и она в такой же мере этого хочет? — заметил Энглби.

— Не знаю, что он думал, — возразила с неудовольствием мисс Шиптон. — Но из того, что говорила мне эта девушка, и из моих собственных наблюдений я заключаю, что она никогда не давала ему ни малейшего повода к этому. Надо вам знать, мистер Энглби, нынешние девушки визжат и поднимают шум только тогда, когда они в самом деле испуганы. Так что поведению Эрика нет оправдания.

— Ладно, мисс Шиптон, благодарю вас, — вмешался м-р Чевит. — Вы поступили правильно, а остальное предоставьте мне. Кстати, мистер Эрик еще здесь?

— Был здесь минут десять тому назад, — ответила мисс Шиптон. Я вам больше не нужна, мистер Чевит?

— Нет, спасибо, — сказал он устало. — До свиданья.

Она ответила «до свиданья» с некоторой суровостью, словно желая напомнить обоим, что они обязаны выполнить свой долг, как бы неприятен он ни был. По ее уходе Чевит и Энглби некоторое время молча смотрели друг на друга.

— Эрик последние дни был в каком-то странном состоянии, — сказал, наконец, Энглби, — может быть, ему показалось, что девушка так же увлечена им, как он ею. Это, а также частые выпивки объясняют, почему он сгреб ее как только она пришла в кабинет.

— Может быть. Но до сих пор у Боба, при всей его необузданности, хватало благоразумия гоняться за женщинами только вне завода... Впрочем, может быть, оттого, что у нас лишь недавно начали появляться такие томные и волоокие молодые особы. Ну, я пойду, скажу ему парочку подходящих слов, если он способен сейчас разговаривать. А вы, пожа-

луйста, не уходите, Энглби, подождите меня здесь. Это очень важно.

Оставшись один, Энглби с лихорадочной торопливостью снял телефонную трубку. У него был свой маленький автомобиль, и сегодня Фреда Пиннель снизошла до того, что приняла его предложение отвезти ее домой. Но последний час он работал с мистером Чевитом и не имел возможности предупредить Фреду, что он еще не может уйти и, вероятно, задержится на некоторое время.

В конце-концов, дежурный сержант в вестибюле по его просьбе разыскал Фреду и позвал ее к телефону. Она была в бешенстве.

— Отчего вы мне не сказали, что вас могут задержать? — спросила она. — Из-за вас я застряла здесь окончательно. Последний автобус ушел, а подвезти меня некому. Что я буду делать?

— Подождите меня, — ответил он хладнокровно. — Я у мистера Чевита и тут всякие происшествия... Поднимитесь в столовую и выпейте чаю с булочками.

— Не хочу. Фрэнсис Блэндфорд уже ушел?

— Да. Ему сегодня нужно было захватить к Финчему. Придется вам подождать меня — вот и все.

— Я готова убить вас. Торчи теперь здесь из-за вас!

— Вы можете получить в столовой тарелку знаменитого супа, который готовится для ночной смены. Ну, идите, Фреда. Я слышу шаги хозяина. Постараюсь освободиться как можно скорее.

Когда он вешал трубку, в ней еще гремел разъяренный голос Фреды.

Мистер Чевит вошел, тяжело переваливаясь, как унылый старый медведь.

— Он ушел. Бог его знает, куда, — только не домой, конечно. Я оставила ему записку, потому что завтра меня с утра не будет здесь, я должен ехать к Стенбро. Написал, что до сих пор я готов был воевать за то, чтобы его оставили здесь, если он согласится работать с Блэндфордом, но эта его последняя глупость, о которой, разумеется, все узнают, делает положение безнадежным, и ему придется уйти.

В Энглби возмущился инженер.

— Но человека с его знаниями и опытом нельзя отпускать с завода!

— Я это знаю так же, как и вы, Энглби. Конечно, я переведу его на один из заводов, которые мы сейчас принимаем. Но я не хочу сейчас говорить ему об этом. Он так безобразно вел себя в последние дни, пускай же неделю-другую думает, что окончательно снят с работы, и поостынет немного. Надо его проучить! Потом я о нем позабочусь. Но здесь для него все кончено, и ему с этим нелегко будет примириться.

— Да, жаль мне его, — сказал Энглби медленно и серьезно. — Мы с ним очень

разные люди, но кое-что мне в нем понятно. Я понял, что толкает его постоянно на безрассудства, хотя, конечно, ему бы следовало крепче держать себя в руках. Побуждения у него всегда хорошие. Вы извините, мистер Чевииот, что я говорю все это вам, который знает его в десять раз лучше, чем я.

— Ничего, говорите, — улынулся мистер Чевииот. — А знаете, кто займет здесь место Эрика?

— Нет.

— Вы, Энглби.

И мистер Чевииот откинулся на спинку стула с удовлетворенным видом человека, только-что проделавшего ловкий фокус.

Энглби вытаращил глаза: — Я? Но...

— Никаких «но». Это решено. Смотрите, — он протянул молодому человеку через стол лист бумаги — приказ о назначении его главным инженером. Для Энглби это означало огромное продвижение, и оклад главного инженера более чем вдвое превышал тот, который он получал сейчас.

— Что же, если вы считаете, что я справлюсь...

— Это мы все считаем. И не терзайтесь мыслью, что вытеснили беднягу Эрика, — он все-равно должен уйти. Значит, решено... А теперь — за дело! У нас тут еще на добрый час работы. Я опустил своего секретаря домой. А ваша где? Нам он может понадобиться.

— Моя тоже ушла. — Энглби замаялся было, но потом добавил: — Знаете, что мне пришло в голову? В столовой ждет меня Фреда Пиннель, бывшая секретарша Блэндфорда. А что если вы попросите ее притти сюда и поработать с нами?

— Почему я? — ухмыльнулся мистер Чевииот. — Почему не вы? Трусите?

— Трушу, мистер Чевииот. Но не хочу, чтобы она это знала — иначе я погиб. Если вам не трудно...

Мистер Чевииот уже снял телефонную трубку. Он позвонил в столовую и попросил, чтобы Фреду прислали наверх, в его кабинет. Через пять минут пришла Фреда, очень удивленная.

— Мисс Пиннель, окажите нам услугу, — начал мистер Чевииот тоном отеческим и вместе внушительным. — Здесь предстоит спешная реорганизация. Во-первых, мистер Энглби займет место Эрика...

Он остановился, и Фреда успела бросить Энглби так называемый «многозначительный взгляд». Но что он означал, этот взгляд, для Энглби осталось тайной. Он не мог подавить в себе чувства некоторого самодовольства и боялся, как бы этого не заметили другие.

— Вы поможете сейчас вашему приятелю и мне, — продолжал мистер Чевииот с лукавым огоньком в глазах, — а, веро-

ятно, и Восьмой Армии, и Красной Армии, если будете нашим секретарем в течение какого-нибудь часа. Согласны?

— Ну, конечно, — сказала Фреда кроко. — Сейчас принесу блокнот.

Они ротабли почти до десяти часов.

— Перепишите вот это, мисс Пиннель, — командовал время от времени Энглби, либо совсем не глядя на нее, либо глядя, как на чужого, незнамого человека. И Фреда, задетая этим, утомленная, раздраженная, все же находила в работе с ними какое-то давно неиспытанное удовлетворение. Общество этих двух мужчин, столь различных, но одинаково поглощенных работой, их бескорыстная энергия, сознание важности этой работы, в которую и она вносила маленькую долю, ощущение необычайно позднего времени и какой-то отрешенности от всего, — все это, вместе взятое, неожиданно положило конец постоянно томившему ее душевному беспокойству, и она испытывала чувство удовлетворения, почти похожего на счастье.

— Можете не оправдываться, — сказала она отрывисто, когда вместе с Энглби уехала, наконец, в его автомобиль. — Я с удовольствием поработала. Но не разговаривайте сейчас со мной. Мне не хочется разговаривать.

— Очень хорошо, — ответил он благодушно. — Я и сам охотно помолчу. День был утомительный.

35.

— Да ну, полно, Энглби, — сказал Эрик. — Не в чем вам извиняться. Я рад, что именно вы заняли мое место. И знаю, что вы и не думали «спихивать» меня.

— Мне и не снилось это назначение, — вставил Энглби.

— Меня никто не спихнул, — продолжал Эрик. — Я сам себя спихнул. И не спрашивайте меня, как это вышло, — потому что я этого не знаю.

— Мистер Чевииот говорил мне вчера вечером, что он без вас не может обойтись и вовсе не намерен вас отпускать. Он хочет перевести вас на один из новых заводов, которые будут в его ведении. Но мне велено ничего вам не говорить...

— Понимаю... Но это уже будет не то. Тут останется половина моей души. Я врос в этот завод... и завтра не увижу его больше!

— Зачем вам уходить раньше, чем...

— Я уйду сегодня вечером, — сказал Эрик резко. — К чему тянуть? Лучше кончить разом. Так что давайте дальше, Энглби. Вот тут список наших мастеров, а тут — список рабочих...

Они вместе склонились над бумагами, и Энглби спрашивал, а Эрик отвечал, указывая, какие у каждого работника

достоинства и какие недостатки. Эрик от напряжения даже вспотел и весь дрожал. Энглби несколько раз предлагал сделать передышку, но Эрик только презрительно отмахивался и, охрипший, замученный, продолжал объяснять. Энглби только сейчас понял по-настоящему, сколько душевной энергии, вероятно, было в нем, когда обстоятельства не мешали ей проявляться, и как легко он может вновь обрести ее. Он понял, почему мистер Чевитот так охотно прощал Эрику многое. Была в этом человеке, среди множества хлама, который быстро мог бы сгореть во вспыхнувшем вновь пламени его души, бескорыстная любовь к своему делу, горевшая мощным, неугасимым светом, который мог служить другим людям маяком. Энглби подумал, что он на месте Эрика легко сумел бы себя укротить и тем самым облегчить себе дорогу в жизни, но никогда он не был бы способен в такой мере, как Эрик, отвечать требованиям переживаемого великого момента, работать так, как работал тот после падения Дюнкерка, и как будет работать, когда понадобится. Должно быть, его мрачность и внезапные приступы раздражительности объяснялись тем, что после титанической борьбы на высотах он не мог более жить вялой и размеренной жизнью долин.

Эрик и не подозревал, какие мысли проходили в уме этого сдержанного и деловитого молодого инженера. Он думал, что Энглби видит в нем только раньше времени постаревшего пьяницу с трясущимися руками.

Они кончили как-раз во-время, и Энглби мог еще поспеть к позднему завтраку. Эрик не пошел с ним в столовую. У него не было аппетита и не хотелось больше оставаться в обществе Энглби. Он решил обойти цеха — быть может, в последний раз. У лестницы он наткнулся на Сэмми Хэмпа.

— Хелло, мистер Эрик! — воскликнул Сэмми.

Эрик посмотрел на него.

— Очень уж вы всегда веселы, Сэмми. Это ваш недостаток.

Старик сказал растерянно:

— Что ж, раз я так чувствую, мистер Эрик. Я уже говорил об этом на-днях с мистером Чевитотом.

— Что же вы говорили? Расскажите, послушаю.

Сэмми посмотрел на него с некоторым сомнением.

— Я ему объяснил, что, после того как я все потерял и больше мне ожидать было нечего, мне стало казаться, что у меня есть все, и с тех пор я рад всякой малости.

Эрик подумал с минуту.

— Понимаю. Вы начали с пустого места. Вы были живы — и больше ничего, а все, что приходило потом и было

не слишком плохо, все это вы принимали, как подарок. Так, что ли?

Сэмми просиял.

— Вот, мистер Эрик. Вы мигам сообразили!

— Но все-таки это не по мне, Сэмми, нет. Я попржежнему считаю, что вы слишком веселы, чорт вас возьми ваш способ — просто самообман. Это значит, обжулить себя самого. Вы не обижайтесь, Сэмми, это самое можно сказать про большинство из нас. Нельзя начинать с пустого места. Нельзя не ожидать и не желать ничего. Мы — люди, Сэмми, — и недаром за последний миллион лет миллиарды и миллиарды таких, как мы, суетились на земле, отдавали все силы, из кожи лезли, рыскали повсюду в поисках чего-нибудь лучшего, нового, мечтали, надеялись, радовались, когда выглядывало солнце. Мы с этим родимся, это у нас в крови: ожидание, стремление к чему-то лучшему, чем то, что видели отцы. Каждому нужно верить, что работа его даст плоды, что товарищи не предадут, что где-то есть женщина, ожидающая его, что у него будут дети, которые начнут жить, когда он умрет. Говорю вам, Сэмми, — человек так уж создан. Вы, конечно, можете это в себе уничтожить — ведь есть же люди, у которых вырезали половину внутренностей, чтобы спасти остальное, но это уже не жизнь. Я вас не осуждаю, Сэмми. Я знаю, что вы пережили. Ну, прощайте, всего вам хорошего, Сэмми.

— А почему вы так говорите, мистер Эрик? Разве вы от нас уходите?

— Да. Я здесь сегодня, вероятно, в последний раз.

— Да как же это?.. — ахнул расстроенный Сэмми. — Это нехорошо, мистер Эрик. Никто из нас не хочет, чтобы вы ушли, мистер Эрик.

— Спасибо, Сэмми. Но так уж вышло. Вот видите, вы сейчас изменили своему правилу быть всем довольным: сказали, что это «нехорошо». Конечно, нехорошо. Все для нас нехорошо по сравнению с тем, чего душа просит. Вот вы говорите, что никто не хочет, чтобы я ушел. Мало ли что! Мы не хотим Гитлера. Мы не хотим затемнения и бомбежек. Мы не хотим дни и ночи готовить самолеты, и пушки, и бомбы, и строить аэродромы, когда у нас нехватает городов и частных жилищ, и мебели, и кастрюль и сковородок, и радиоприемников. Мы не хотим, чтобы куча богатых мошенников сидела и придумывала, как удержать власть над нами, когда война кончится. Но вместо того, чтобы раздувать в себе этот огонь, мы пытаемся его залить, уверяем себя, будто то, что есть у нас, хорошо, и не стараемся заменить его самым лучшим, какое только можно себе вообразить. Конечно, не мне говорить. Я в своей жизни много валял дурака.

Но я хоть сознаю это... Ну, будьте здоровы, Сэмми.

Сэмми стоял у лестницы и смотрел вслед Эрику. Печаль и растерянность, каких он давно не испытывал, приковали его к месту. Не столько слова Эрика, сколько тон их произвел на Сэмми сильное впечатление. Эрик говорил так, как будто уже был чужой здесь, как будто только призрак его ходил по заводу.

Эрик медленно шел по цеху, останавливаясь то тут, то там, чтобы поговорить со старыми товарищами. Вот он встретил Клитона, у которого был почему-то довольный вид.

— Вы сегодня какой-то необыкновенный, Альф, — сказал Эрик. — В чем дело? А, знаю, — вы опять начали курить!

Клитон выпустил из своей черной трубочки солидный и не слишком благоуханный заал дыма, кивнул и подмигнул Эрику.

— Я сказал, что не буду курить, пока Роммея не выгонят из Египта, а теперь его выгнали, и бог знает, куда еще загонят скоро, так что можно и покурить... И вот еще что я вам скажу. Боб: на заводе у нас тоже ветер переменялся. Да. У меня еще пока не подсчитано, доказать не могу, но я уже это нюхом чую. Все они, — он повел трубкой вокруг, чтобы показать, что говорит о цехе, — все они опять впряглись дружно. Знают, что есть, наконец, ради чего стараться, и работают как следует. Вот увидите, что еще будет!

— Я-то не увижу, Альф, — сказал Эрик с горечью. — Это — самое комичное, но мне не смешно. Подумать только, как долго, сколько месяцев я убеждал всех — помните? — что одна только победа на фронте, пусть только запахнет наступлением, — и наши ребята встряхнутся. Так и вышло. Но вышло-то как-раз тогда, когда я ухожу. И через неделю-другую кое-кто и здесь, и в министерстве сможет сказать и скажет: «Вот видите, ушел Эрик — и производительность сразу повысилась».

Клитон вынул изо рта трубку и смотрел на Эрика поверх очков.

— Постойте-ка... А кто это говорит, что вы уходите?

— Мистер Чевит. Министерство, Правление. Я говорю, Альф. Сегодня я все уже передал Энглби.

— Что! Этому молокососу! Не надо нам его!

— Он парень подходящий. Стойте за него, Альф. Он не подведет, верьте моему слову.

— Ну их всех к дьяволу! — вспыхнул Клитон. — Одна неприятность за другой! А я уже радовался, что все налаживается так хорошо. Без вас, Боб, завод будет для меня не тот. Чего-то главного

будет нехватать. Мы с вами сколько раз ругались. Если вы говорили «белое», так я обязательно говорил «черное». Да, пока вы работали здесь, у меня всегда было, с кем схватиться. Не могу я спорить с этими сопляками или с франтиками вроде Блэндфорда! Никакого удовольствия. Нет, подумать только! Сначала оказалось, что уходит мистер Чевит, а сейчас — вы! Теперь мне все равно, где работать — что здесь, что в другом месте! Пришел, отработал смену, и ладно. Как же я теперь?.. — спрашивал он с неподдельным возмущением.

Эрик похлопал его по плечу.

— Не так страшно, Альф. Помогайте Энглби держаться против Блэндфорда. Я думаю, он не сдрейфит. Блэндфорд не любит нашего брата, за ним не мешает понаблюдать. Я надеюсь на вас.

— Меня он не проведет, не беспокоитесь, — сказал Клитон угрюмо. — Ни он, ни его лорды Бриксены! — Он грозно уставился на Эрика, но затем сдвинул очки еще ниже, на самый кончик носа, и лукаво подмигнул.

— А я собирался вам сказать, что ваша девушка опять на работу не вышла. Но теперь мне уж не до шуток...

— Это никогда не было шуткой, Альф, — сказал Эрик. — Вы все не так поняли, Альф. Впрочем, и другие здесь меня понимали превратно, так что не стоит об этом говорить...

Он обвел глазами цех. Потом, прищурившись, посмотрел опять на Клитона.

— Ну, я ухожу. Мне надо еще сказать два слова Огмору насчет большой Лэнглей-Бэртоновской машины. Он на ней никогда не работал, а она — коварная. Ну, пока!

Но Клитон задержал его еще на минутку, протянув ему руку, которую Эрик крепко стиснул в своей. Это было не похоже на Альфреда Клитона. И не один час он впоследствии размышлял о своем неожиданном порыве, но не говорил о нем ни с кем, кроме миссис Клитон, которая, прожив более полувека в женском мире бессознательных порывов, интуиции, предчувствий и предзнаменований, выслушала его без всякого удивления. Ей казалось вполне естественным бессознательное желание пожать руку другу, когда над этим другом уже витает смерть.

Нелли Диттон не уставала повторять себе, что она выбрана для поездки в Лондон и будет выступать по радио. Всякий раз как она об этом вспоминала, словно большой голубой воздушный шар выплывал, светясь, из темноты и, лопнув, разлетался золотым дождем неожиданной, чудесной радости. Разумеется, по временам ее томило нервное беспо-

койство при мысли, что она может обрамиться, что все это узнают и будут потешаться над нею. Но чаще всего выходило так, что как-раз тогда, когда на нее напал страх, Мона Фокс бывала в бодром настроении и уверяла, что все это совсем не страшно. А так как Мона беспрестанно забегала к ней, чтобы насмех поболтать и умчаться, Нелли никогда подолгу не нервничала и чаще бывала в самом радужном настроении. Она словно выросла вдруг. И все так ласково разговаривали с нею о предстоящей поездке.

Миссис Флинн, конечно, считала, что всем этим Нелли обязана ей. Ее черные глазки-бусинки сверкали торжеством. Всякий раз, как Нелли взгядывала в ее сторону и глаза их встречались, миссис Флинн энергично кивала ей головой, как бы подтверждая, что они попрежнему участвуют обе в одном и том же успешном предприятии. И при всяком удобном случае миссис Флинн подбегала к Нелли поболтать.

— Все началось с того, что я пошла к мистеру Огмору, — говорила она. — Я так прямо ему и сказала: если, говорю, не меня выберут выступать по радио, тогда обязательно должны выбрать ее — смотрите же, не напутайте, говорю.

Она беспрестанно давала Нелли советы. «Только смотрите, себя соблюдайте, когда будете в Лондоне, — выкрикивала она. — Я знаю, чего станут от вас добиваться некоторые. А если вы не знаете, так пора вам знать!.. Те молодчики, что подъезжают с медовыми речами, пожалуй, не лучше, а хуже других. Не позволяйте им угощать вас портвейном, как бы они вас ни упрасивали. Не смотрите на то, что они работают в Радио-Корпорации».

Как-то раз миссис Флинн добавила сердито:

— А что вы думаете, — если эти дикторы начнут накачивать женщину портвейном, они не только с вами, они со мной могли бы сделать, что угодно!

Даже несчастный брызга, мистер Тэйлор, у которого раньше была своя кондитерская, — и тот подошел к Нелли, торжественно пожал ей руку и поздравил, но при этом не забыл предостеречь ее, чтобы она не позволила использовать себя для пропаганды в пользу России. Он, кажется, полагал, что м-р Огмор тайно сговорился с Британской Радио-Корпорацией сделать из Нелли пропагандистку. «Берите пример с меня: я всегда на-чеку», — добавил он таинственно. — «И советую вам, если спросят, что вы хотели бы увидеть, скажите, что Тоуэр. Это — поучительное зрелище, очень поучительное!»

И раздражительная миссис Дэфф, и бедняжка Эльси, которая в эти дни чув-

ствовала себя очень несчастной из-за своего женатого друга, и вечно поющие «сестры» — все отнеслись к ней очень дружески и находили правильным то, что выбрана Нелли. Но все недоумевали, с какой стати в Лондон посылают Мону Фокс. Целых трое молодых людей из оркестра пришли к Нелли просить, чтобы она по радио помянула добрым словом Элмдаунскую шестерку, которая в любое время, когда только это удобно БРК и заводоуправлению, готова выступить по радио. Нелли обещала сделать все, что будет в ее силах. Она чувствовала себя теперь большим человеком и даже настолько осмелела, что попросила одного из оркестрантов подучить ее игре на пианино.

Затем в обеденный перерыв, вскоре после того как Нелли вернулась из столовой, приятель м-ра Огмора, такой же, как и он, помощник мастера, специально пришел с другого конца завода потолковать с нею. Это был крупный, словоскотливый мужчина с большими черными усами и густым басом.

— Вы не имеете возможности достать несколько яиц, мисс Диттон? — вежливо начал он.

— Нет, вряд ли, сказал Мэлкастер, — ответила Нелли, подумав с недоумением: «Почему яйца?»

— Жаль. Видите ли, я в свое время изучал ораторское искусство, — пояснил он. — Я, бывало, целый час способен был читать вслух Диккенса, потому что знаю, как нужно укреплять голос. Яичный белок — вот лучшее средство. Но если его достать нельзя, значит, нельзя. Во всяком случае не напрягайте его.

— Не напрягать что? — спросила Нелли.

— Голос. Связки должны быть свободны, расслаблены. Собственно, следовало бы мне ехать с вами, но — между нами говоря, мисс Диттон, — тут замешана некоторая зависть ко мне, как это бывает обычно, со стороны профессионалов и кое-кого в БРК. Не буду называть имен... Да, так смотрите — поменьше говорите и берегите голос.

Мистер Мэлкастер сказал это очень громко, потому что громадная новая машина опять завизжала, заскрипела.

Мистер Огмор уверял, что это замечательная машина, но остальные все ее терпеть не могли. Во-первых, она была в виду так же некрасива, как велика, во-вторых, производила невыносимый шум. Казалось, куски металла, которые она скоблила, вопили от боли. Эта машина вообще была мучительница. Целое утро все возились с капризным чудовищем. Ее изогнутые руки-рычаги вдруг начинали содрогаться и стонать и затем останавливались, и от нее летели фонтаны зеленых искр. Никто не любил эту машину, кроме мистера Огмора.

— Может быть, кроме мистера Стоньера. Впрочем, его не разберешь, этого чулака, который все только сам с собой разговаривает. Но большая машина явно как-то притягивала его, потому что он все время на нее поглядывал, и глаза его светились, а потом он вдруг круто сбрасывался и таранил глаза на нее, Нелли. Она уже говорила о нем мистеру Огмору и жаловалась мисс Шиптон, а больше она ничего не могла сделать. Разве только не заметить его. Но это было трудно, просто невозможно. Она пробовала не смотреть на него, выдерживала минут двадцать — и потом что-то заставляло ее взглянуть.

Да, все было просто чудесно, и ее распирали удивление, радость, чувство собственной значительности. Но, так как ничто не бывает абсолютно прекрасно, то в этот день Нелли суждено было оказаться в центре внимания не одной, а вместе с большой машиной и мистером Стоньером.

Это случилось во время чаепития. Многие ушли за чаем, и большинство машин около Нелли бездействовали. Но новая машина — та, капризная — шумела, как всегда. Нелли только-что прекратила работу. Осматриваясь, она заметила Эрика, стоявшего шагах в десяти от нее и наблюдавшего за большой машиной. Нелли почти ничего не знала об Эрике, хотя слухи доходили и до нее. Но ей бросилось в глаза, что он очень изменился. Он казался утомленным, больным, сильно постаревшим.

Как-раз в ту минуту, когда она увидела Эрика и удивилась перемене в нем, ей бросилось в глаза и лицо Стоньера, и в первый раз стало ясно, что это — сумасшедший, настоящий сумасшедший. Она вдруг испугалась так, что не могла больше оставаться на месте и выносить его взгляда.

И в этот самый миг Стоньер бросился к ней. Она успела заметить, как сузились и сверкали у него глаза, а губы дрыгались, как будто он выкрикивал слова команды.

Она взвизгнула и хотела бежать, но было слишком поздно. Она боролась с ним, ошеломленная, охваченная ужасом, но он был страшно силен и наполовину нес, наполовину волочил ее к большой машине. Ноги девушки отделились от земли. Сумасшедший поднял ее на руки, а она уже не могла бороться, оттого ли, что он был так силен, или его лицо со злонамеренным ртом было так безумно и страшно, или ее обессилили жар и грохот совсем близкой теперь большой машины. Холодная волна мрака и слабости подхватила, закружила ее, но в этой волне возникло вдруг новое лицо — она узнала его — лицо мистера Эрика, а вслед затем она очутилась на полу, испускающая крики, взмывавшие вверх, как

ракеты, и, лежа среди топота бегущих ног, потеряла сознание...

Миссис Флинн, более чем когда-либо возбужденная, описала ей потом все, что случилось.

— Я прибежала, как угорелая, прямо от чайной тележки, понимаете? — рассказывала миссис Флинн. — Гляжу, вы лежите, милочка... Ну, будет вам плакать, все ведь уже прошло... лежите на полу около этой жуткой машины... И мы должны за этими чудовищами ухаживать!?. Да, лежите вы, вся растерзанная, в разорванном халате, без чувств, а Стоньер с мистером Эриком вцепились друг в друга, как два тигра, и повалились на эту проклятую машину, и раньше, чем Стоньера успели оттащить, она вдруг опустилась вниз и — бац! — отхватила половину лица у мистера Эрика.. И плечо ему раздробила.

— Ох, не надо, пожалуйста, не рассказывайте, миссис Флинн! — закричала Нелли, обмирая. Но потом почувствовала, что ей надо узнать все до конца.

— Что же... Что было потом?

— Стоньера увезли в машине. Он орал и бесновался. Дождялся-таки смирительной рубашки, — сказала миссис Флинн с мрачным удовлетворением. — Ну, а мистер Эрик — того отвезли в больницу, но могли бы оставить здесь и не тормозить — все равно ему конец. Бедняга не выживет ни за что. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти вашу, милочка, — добавила она очень торжественно, наслаждаясь трагизмом происшедшего. — Вот вам ваши обожаемые машины! «Брать и давать!» Ухаживать за ними! Нет, пора нам, женщинам, вступить за свою плоть и кровь, пока еще не всех перекалечили!... Нелли, вы знаете миссис Оклей? Она тут бригадиром, что ли, и все старается походить на мужчину. Ну, так вот вам пример. Когда она услышала, что с мистером Эриком беда, она как завизжит! Растолкала народ и кинулась к нему, как дикая кошка, — никто не мог ее удержать. Вот как чувствуют женщины! И зачем только мы посланы в этот мир, раз мы такие чувствительные? Ведь это не жизнь, это настоящий сумасшедший дом, видит бог!..

Боль утихла, но Эрик был где-то далеко, вокруг было темно и становилось все холоднее... Ему неприятно было это одиночество, но он понимал, что оно естественно, ибо для всех тех людей, лиц, голосов и движений, которые для него уже так мало значили, жизнь продолжалась, все шло своим чередом, нужно было кончать сегодняшней день, думать о завтрашнем. А для него теперь все остановилось. Их время еще не кон-

чилось, и они торопились за ним, а его — уже почти истекло. Оставалось лишь слабое-слабое биение крови и легкие, движущиеся вокруг тени. Теперь ему не нужно спешить, он может лежать тихо и спокойно.

Одно лицо (он видел ясно, что оно грязно и заплакано) вдруг отделилось от остальных и встало перед его глазами. И он сознавал, что это — хорошее лицо и нужное ему, и сейчас он узнал его.

— А, Гвен! — произнес он.

И не только Гвен, но и другим, стоявшим у кровати, показалось, что, когда Эзрик произнес это с удивлением и радостью в голосе и глаза его на миг засветились, чтобы затем угаснуть навеки, — он не ушел, а пришел куда-то, он не кончил, а начал. Но куда он пришел и что начал, они так никогда и не узнали, ибо он больше ничего не сказал и через несколько минут скончался.

38.

В тоскливый сумеречный час, в промежутке между дневной и ночной сменой, Энглби пошел опять в клинику передать какие-то распоряжения сестре Файли. На этот раз и Фреда пошла с ним. Они были в споре и почти не разговаривали, и тем не менее все свободные часы проводили вместе. Они искали общества друг друга, чтобы иметь возможность проявлять свое презрение и растущую неприязнь. Итак, они и сегодня проводили (вернее, убивали) вечер вместе, и Фреда захотела непременно идти с ним в клинику, потому что ей, по ее словам, надоело вечно болтаться на заводе, дожидаясь его. Энглби был бледен, утомлен, и по лицу его видно было, что он глубоко расстроен. Фреда держала себя, как всегда, заносчиво, но красота ее как-то потускнела. Она, конечно, слышала все о происшедшей драме, но ей не пришлось соприкоснуться с ней так близко, как Энглби, и случившееся не произвело на нее большого впечатления. С другой стороны, всякое настроение Энглби находило в ней немедленный отклик, что немало ее бесило и было ей непонятно. Таким образом, несчастье с Эзриком повлияло на нее, так сказать, рикошетом, и она испытывала от этого какую-то досаду на себя.

Итак, Энглби был задумчив, Фреда дулась, и оба жалели, что у них нехватало благоразумия отменить вечернюю встречу.

Приемная клиники была пуста, но из следующей комнаты доносились голоса. Они тихонько вошли в приемную и в нерешимости остановились у двери. Энглби не хотел уйти, не передав поручения сестре, но в то же время не хотел ей мешать, если она еще занята у постели

Эзрика. Когда же он через несколько минут решил, что пора войти во внутреннюю комнату, дверь в которую была приоткрыта, Фреда вдруг удержала его за руку и знаками приказала ему молчать и слушать.

В комнате с сестрой Файли была Гвен Оклей, и стоявшим у двери ясно слышен был весь их разговор.

— Но вы поймите, сестра, — говорила Гвен, — ничего у меня больше не осталось. К чему мне жить, когда он умер?

— Не думайте так, дорогая, — возразила сестра. — Вы сейчас сильно расстроены, конечно, но вы переживете. Все осталось, — кроме него, разумеется. И ведь вы не жена ему и не нуждались в его помощи...

— Нет, нет, вы не понимаете, — воскликнула Гвен с глубокой безнадежностью в голосе. — Не то вы говорите, совсем не то. Я его любила, понимаете? Я любила его много лет. Он даже не знал до этой последней минуты о моей любви. Я могла видеть его каждый день, говорить с ним, я всегда знала, что он недалеко, — и этим жила. А теперь — ничего нет. Пустота. Все пусто вокруг, и я пустая. Завтра не будет ничего. И на будущей неделе не будет ничего. Ничего... — И она захлебнулась громким протяжным плачем.

— Выслушайте меня, дорогая, — сказала сестра Файли с обычной своей живостью. — Я старше вас на год-два, и больше видела в жизни. Да, видела немало. Я тоже любила. И я знаю мужчин. Но то, что мне в них нравится, за что я их люблю — не может быть только в одном человеке. Неужели непонятно? Уходит один бедняга и уносит с собой все, что было в нем, — силу, доброту, свои любимые шутки, свою манеру смотреть на тебя или обнимать тебя, — и, конечно, это тяжело. Если хотите знать, я тоже любила Боба Эзрика, хотя особенной близости между нами никогда не было. Ни один мужчина не уносит с собой все на свете, а тем более для такой молодой женщины, как вы. Ушло только то немногое, что было в нем. Остались другие, и их сила, и их доброта, и их шутки, и их манера обнимать и смотреть на женщину... Неужели вы не согласны со мной, Гвен, милая?

— Нет, сестра, — сказала Гвен с отчаянием. — И я не пойму, как может женщина говорить так.

— Не говорите мне, что я — не женщина! — оговаривалась сестра Файли с некоторым раздражением. — Я не меньше женщина, чем другие, а, может, и больше многих. Только я никогда не теряю головы, вот и все.

— Но как вы можете так рассуждать? Не в том дело, что было в нем, что есть у других. Мне это все равно. Я одно знаю — сегодня утром он был, а теперь

его вот и не будет никогда. Мне он нужен только он. И я теперь, как неживая, и не верю, что буду когда-нибудь снова живая, как другие люди. Лучше бы я умерла!..

— А я говорю, что все это глупости, — сказала сестра настойчиво, но не резко. — Мне не раз приходилось слышать такие слова. Не даром же я так давно работаю в больницах. Сколько людей умирало на моих руках, — и оставшиеся твердили, что не хотят больше жить. Они это вычитывают в книгах, слышат в пьесах и фильмах, это романтично. А я говорю: глупости! Жизнь — вот что главное. Там, где я училась, работал старый хирург, шотландец Мак-Фейль. Он иногда беседовал с нами. Так вот он говорил нам, чтобы мы верили в жизнь и дрались за нее, не отступая ни на шаг. То, что вы чувствовали к Бобу, — хорошо, потому что в этом было много жизни. А если вы сейчас хотите умереть — значит, вы повернулись спиной ко всему, что было.

— О, нет, сестра, это не так. Мы чувствуем что-то — глубоко-глубоко внутри: к одному человеку, и оно принадлежит только ему и никому больше!..

— Оно жизни принадлежит, а не тому или другому мужчине, — воскликнула сестра Файли.

— Но ведь в этом-то особенном, глубоком чувстве к одному, которое делает все на свете милым, — в нем-то и есть жизнь.

— Думайте так, если хотите, Гвен. Но, по-моему, вы слишком это раздуваете в себе. Есть множество вещей, которым вы можете радоваться, если подойти к ним по-настоящему. Не мужчины, так...

— Да, знаю, знаю, что вы хотите сказать, — перебила Гвен. — Я это все уже сама себе твердила сколько раз, когда пробовала себя уговорить не сходить по нем с ума. Но все эти вещи, о которых вы думаете, и раньше не были главными, а теперь они для меня — ничто, ничто, ничто!

— Они — все, все, все! Они — единственное, что у нас есть... Вот что, Гвен, — как придете домой, примите вот эти две таблетки, и вы уснете. Можете, если хотите, завтра не выходить на работу, но я бы вам советовала сделать над собой усилие и притти, как всегда, — это вам полезно.

— Я и не собиралась сидеть дома, — сказала Гвен обиженно. — Это после всего того, что он говорил о прогульщиках?! Он бы меня возненавидел за это. И на заводе я буду к нему ближе, чем во всяком другом месте.

Гвен, видимо, собиралась уходить, и Фреда торопливо указала Энглби на наружную дверь. Таким образом, когда Гвен, а за нею сестра Файли вышли

в приемную, обе подумали, что Энглби и его спутница только-что вошли с улицы.

— Здравствуйте, миссис Оклей, — сказал Энглби, стараясь говорить как можно более непринужденно.

— Здравствуйте, мистер Энглби. — Она улыбнулась бледной, жалобной улыбкой.

— Вы знаете, мне пришлось занять его место, — сказал Энглби, понизив голос. — И мне незачем вам говорить, что заменить Боба Элрика будет нелегко. Но он уверял, что доволен моим назначением. И имейте в виду, миссис Оклей, — я особенно рассчитываю на вас, вы ведь так давно работаете здесь. Если завтра сможете выкроить для меня полчаса, приходите наверх, потолкуем. Мне нужно с вами посоветоваться о разных вещах. Придете?

— Хорошо, я... я постараюсь. До свиданья. — И Гвен вышла.

После паузы Энглби передал поручения сестре, она записала. Потом пытливо посмотрела на него.

— Я вас мало знаю, мистер Энглби. Но мне почему-то кажется, что вы будете на месте и что вы умный человек. А что, — обратилась она к Фреде, — это верно? Он умный?

— Да, — сказала Фреда с расстановкой. — По-моему, умный.

— Вот и отлично! — воскликнула сестра Файли и в последний раз оглядела приемную, проверяя, все ли в порядке. — Да, денек у нас был сегодня, я вам доложу! Не отказалась бы сейчас выпить!

— Очень сожалею, что не могу вас угостить, — сказал Энглби, смеясь. — Надеюсь, вам удастся сегодня выпить. Пойдемте, Фреда. Покойной ночи, сестра.

Когда он и Фреда шли через главный цех, он вдруг что-то вспомнил и повернулся к ней.

— Мне придется на пять минут подняться к себе наверх. Извините! Может быть, пойдете со мной, если я вам еще не надоел.

— Пойду, — ответила она голосом настолько невыразительным, что Энглби не мог угадать ее настроения. Они молча поднялись по лестнице. Наверху было очень тихо и тоскливо. Пока Энглби проделал все, что ему было нужно, прошло не пять, а пятнадцать минут. Но — странное дело — Фреда не выражала нетерпения. Она сидела, наблюдая за ним, и взгляд брошенный украдкой на ее лицо, ровно ничего не сказал ему.

— Я готов, — объявил он наконец.

— Сядьте на минуту, — предложила вдруг Фреда. — Мне хочется с вами поговорить — и, пожалуй, лучше всего сделать это сейчас. Вы слышали разговор двух женщин в клинике. С которой вы согласны?

— Я тоже думал об этом. В теории я согласен с сестрой. На практике... пра-

во, не знаю. Мне были понятны чувства бедняжки Гвен. А что?

— Ничего, просто хотела знать ваше мнение. Я думала об этом споре. И думала о нас обоих.

— И к какому же выводу вы пришли? — Он сделал вид, что очень занят своей папиросой.

— Мне кажется, мы все время только сводим счеты, — сказала Фреда серьезно. — То вы со мной, то я с вами. И я несколько раз решала, что не буду больше с вами встречаться, но, конечно, продолжаю встречаться, — главным образом потому, что всякий раз готоваюсь сказать вам что-нибудь такое, что приняло бы вас. Мило?

— Мы пытаемся каждый преодолеть свой комплекс неполноценности. Вы представляете все то, что я в принципе ненавижу и чего на практике боюсь. Но, разумеется, если бы в вас наряду с этим не было большого очарования, я бы не стал с вами возиться.

— Ну, а я? Я вовсе не страдаю чувством неполноценности, как вы это называете. Я считаю себя определенно выше вас, но, конечно, мне еще нужно доказать вам это.

Он спокойно посмотрел на нее.

— Хитрите, Фреда. Что толку, если мы будем лгать друг другу? А вы жульничаете. Лучше начните опять.

Она сначала рассердилась, потом лицо ее прояснилось и она захохотала.

— Я всегда собиралась замуж за какого-нибудь высокого и не-комнатного человека, хорошего наездника, который мог бы получить место в Кении. У меня было на примете таких двое-трое, но не знаю, что с ними теперь случилось.

— Наверное, вояют где-нибудь на фронте. Делают больше, чем я делаю здесь. Впрочем, это не моя вина, — добавил он, словно оправдываясь.

— Не глумите, — перебила она поспешно. — И не считайте меня глупой. Я за последнее время убедилась, что вы, пожалуй, делаете для обороны больше, чем десяток фронтовиков. Ну, хорошо, я вам о себе рассказала, теперь — вы. Был у вас кто-нибудь в Вулверхемптоне или в другом месте?

— Да. Но мы не говорили о своих чувствах и не понимали друг друга. Она мне нравилась. Учительница. Славная девушка и неглупая. Из той же среды, что и я.

— Словом, все идеально. Ну, и где же она?

Он покачал головой.

— Должно быть, сочеталась браком с каким-нибудь высоким наездником, получившим службу в Кении. Во всяком случае, сейчас она меня больше не интересуется.

Он вдруг сделал нетерпеливое движе-

ние и, перебив самого себя, сказал уже другим тоном:

— Послушайте, Фреда, я сегодня не в состоянии держаться с вами прежней тактики. Если хотите продолжать наступление, вы выиграете, но это будет жалкая победа. Понимаете, я устал. Достаточно уж того, что я вдруг оказался на месте Элрика, — скачок, который мне и не снился. Но я вынужден был сделать это, так сказать, через его труп. Я любил Элрика. Нелегко будет мне здесь работать сейчас...

— Ничего, справитесь! — сказала Фреда. — Не следовало бы этого говорить, но я убеждена, что справитесь. И я не верю, чтобы Фрэнсис Блэндфорд или кто другой мог помешать вам, даже если бы хотел. Вы будете хладнокровны и тверды там, где бедный Элрик всегда только из себя выходил. Такой уж вы. И не надо сомневаться в себе и беспокоиться.

— А я все-таки беспокоюсь. Кроме того, сегодня мне грустно и даже немного тошно... Но знаете, почему я сказал, что мне будет нелегко здесь? Есть один человек, который может встать мне поперек дороги: это вы, Фреда.

Она смотрела на него широко открытыми глазами, словно в первый раз увидела его близко.

— Вы что, остричь вздумали, Морис?

— Никогда еще не был так далек от этого. Мне совсем не до шуток. Вот что я хочу вам сказать, Фреда. Если вы не можете помочь мне, тогда я хочу, чтобы вы ушли с завода. Ступайте в женский батальон или куда угодно. Да, да, я говорю серьезно!

— А чем я могу помочь вам?

— Я и об этом тоже думал. — Он пылливо посмотрел на нее. — Вам придется выйти за меня замуж. И очень скоро.

Фреда казалась искренно пораженной и даже немного испуганной.

— Но стойте минутку. Я никогда... мы с вами оба ошиблись. Мы это только-что установили.

— Тогда зачем мы сидим здесь и премираемся? — спросил он.

— Знаете, Морис, всякий раз, когда мне кажется, что я вас приперла к стене и что вас теперь легко будет поставить на место, вы вдруг делаете или говорите что-нибудь такое, что опрокидывает все мои решения и даже пугает меня... Вы серьезно думаете, что влюблены в меня?

Он утвердительно кивнул головой. Вид у него был сконфуженный.

— Да, мне кажется, что именно так оно и есть.

— Но вы, кажется, недовольны этим? — воскликнула Фреда, одновременно сердясь и забавляясь.

Он шагнул к ней, взял ее за руки и с непринужденностью, весьма удивительной в нем и даже похожей на опытность, поцеловал ее.

— Кое-чем доволен, кое-чем — нет. Но бороться с этим сейчас выше моих сил. — И он вторично поцеловал ее.

— Ладно, — воскликнула Фреда почти злобно. — Я выйду за вас. И я уверена, что буду ужасной женой, а вы будете каждую ночь рассуждать о социализме и успехах техники.

— Возможно. Но ваши дети вырастут в мире социализма и высокой техники, так что и вам не мешает ознакомиться немного с тем и другим.

Она вскочила со стула.

— Вот как, даже и дети предполагаются?

— Да, если нам повезет.

— Вы находите, что в таком мире, как наш, стоит иметь детей?

— Обязательно, при всех обстоятельствах.

— Вот это... — и в нерожданном порыве она положила руки ему на плечи и сжала их. — Вот это самое разумное из всего, что я когда-либо слышала от вас. Мне, собственно, следовало бы иметь мужа глупее меня, а в вас я с первого дня угадала умницу. Ну, пойдете. Мы уже теперь не найдем нигде никакой еды...

— Найдем. Нас ждет ужин в «Каунти». Я его заказал еще утром. — Он рассмеялся. — Я не считаю, что класс паразитов следует морить голодом, я только хочу заставить его работать.

Когда они уже сошли с лестницы, Фреда вдруг спросила:

— Но вы так мне и не сказали, Моррис, почему боитесь, что вам будет трудно работать в новой должности?

И, пока они шли к выходу, где уже собиралась ночная смена, Энглби начал объяснять ей это.

39.

Похороны состоялись в субботу утром, и Чевииот, Блэндфорд и Энглби возвратились вместе на завод в автомобиле Чевииота. Чевииот приехал специально для того, чтобы присутствовать на похоронах, но засно решил обсудить некоторые вопросы, касающиеся завода. Так как он теперь переехал в другой район и управлял целой группой заводов, то не следовало упускать удобного случая. «Бедняга Боб не обиделся бы на это», — сказал он Блэндфорду и Энглби, когда они подкатили к воротам. — «Он удовлетворялся бы тем, что мы помянем его за стаканом виски и вернемся к работе. Так что пойдете».

Автомобиль остановился немного в стороне от главного входа. Из ворот уже появлялись отдельные фигуры. Чевииот задержал своих спутников.

— Не стоит торопиться. Посмотрим, как будут выходить рабочие. Сейчас гудок. Бог знает, когда еще предста-

вится случай увидеть их всех разом в субботний день. Подождем несколько минут.

Засунув глубоко руки в карманы пальто, подняв массивные, старчески сутулые плечи и вытянув вперед голову, Чевииот стоял между Блэндфордом и Энглби. Стоял на широко расставленных ногах так прочно, словно врос в землю. Все больше и больше людей выходило из заводских ворот, но пока это был главным образом служащие. Только через несколько минут толпой повалили рабочие.

Чевииот кивал тому, другому и поглядывал сбоку на Блэндфорда и Энглби. Он думал: как поведут себя эти двое? Объединятся они в интересах работы или будут топить друг друга? Молодой Энглби, обманчиво тихий и робкий на вид, обручился с той рослой красивой девушкой, родственницей Блэндфорда и его бывшей секретаршей. Блэндфорд поговаривает о своем переселении поближе к заводу и, кажется, начинает сознавать, что в его работе есть нечто поважнее разрешения всяких технических проблем и возни с бумагами. Завод — это, кроме всего прочего, — живые люди, и Блэндфорду пора посмотреть на них другими глазами, чем до сих пор, и познакомиться с ними поближе.

— Ручаюсь, — промолвил Чевииот, — что цифры выпуска опять повысятся на той неделе.

— Надеюсь, — отозвался Блэндфорд. — Несколько камней преткновения мы уже убрали с дороги.

— Да, а главное — Роммель тоже почти убран с дороги, — вмешался Энглби. — Как прав был Эрик! Дайте людям стимул, заставьте их почувствовать, что есть ради чего работать, — и они всего добьются!

— Я с этим не спорю, — сказал Блэндфорд, — хотя Эрик всегда подозревал меня в скептицизме. Но я считаю, что нельзя переоценивать роль рабочего и под этим предлогом пренебрегать разрешением чисто технических задач. Я армиями не командую и не могу гарантировать моим рабочим побед на фронте. Я занимаюсь вопросами производства, а всякие обобщения насчет войны и морального состояния народа — дело не мое. Пусть этим занимаются разные путомели-журналисты да политики.

— Я вашу точку зрения понимаю, Блэндфорд, — сказала Чевииот. — Всегда понимал и защищал вас. Но сейчас, когда вы заняли мое место, вы увидите сами, что необходимо немножко переменить позицию. Чем бы вы ни занимались в наши дни, в конечном счете непременно окажется, что все упирается в людей, зависит от того, что они думают и чувствуют, чего боятся, на что надеются. Народ хочет быть уверен, что он во-

жет за себя и за других таких же, как он, во всем мире, что он работает для себя и для своих братьев во всем мире.

— По их разговорам это не всегда заметно, — бросил Блэндфорд.

— Большинство из них не умеет выражать свои мысли, — возразил Чевигот. — Они, если и говорят, так не высказывают того, что чувствуют, они слишком застенчивы и боятся быть осмеянными.

— Это верно, — вставил Энглби.

— Зато свои истинные чувства они вкладывают в работу, — продолжал Чевигот, — и тогда цифры неоспоримо говорят вместо них... Ага, выходит!

Они выходили, жмурясь от дневного света, мигая глазами. Они болтали, или брюзжали, или смеялись, и все жадно вдыхали холодный воздух. Был туманный ноябрьский день. Солнце стояло серебряным кружком в зеленоватом небе, и свет его был слаб и жидок. Летние субботы, золотые, с жарким синим небом, остались далеко позади. Мокрые мертвые листья прилипли к стенам, как афиши. С запада шли дождевые тучи. В безветренном воздухе гудели автобусы, длинный ряд которых готовился тронуться в путь и отравляя воздух. Но все же здесь светило солнце, здесь был настоящий дневной свет. Была суббота.

Подумав о том, что он долго опять не увидит их всех, Чевигот расчувствовался. Волнение, испытанное им, когда он смотрел в могилу, куда опускали гроб Элрика, сейчас снова поднялось в нем. Он расстается с этими людьми, работавшими с ним, верившими ему. Тут ничего не поделаешь. Но душой он всегда будет с ними и им подобными. Будет ли скоро заключен мир, замолкнут ли скоро орудия, или нет — все равно, он не уйдет с поста, не окопается в уют-

ном гнезде. Не подкупить его тем, кто наверху, не предоставит он действовать лордам Бриксенам! Они полагают, что народ должен жить, отгороженный от всего высокой стеной. Нет, народу надо помочь выбраться. Он будет работать так же, не жалея сил, создавать то, что потребуется в мирное время, когда заводы перестанут работать на войну! С ним будет Дэвид и его товарищи, эта славная молодежь, которая уже начинает задавать пытливые вопросы, — и скоро, быть может, они возьмут руль из его усталых, дрожащих рук. Впереди — уйма дел, которые он будет делать вместе с другими людьми и для них. Он знал теперь то, что неясно понимал уже давно: счастье не в том, чтобы получать и сберегать, а в том, чтобы творить и давать.

Он все кланялся и улыбался, как будто узнавая одно знакомое лицо за другим, на самом же деле он уже не видел отдельных лиц: перед ним огромным сплошным потоком проходило человечество.

Вот все они вышли на дневной свет, с наслаждением вдыхая холодный воздух, радуясь солнцу: Перси Проскот, Эдит Шиптон, мисс Барроус, Мюриэль Ллойд, сестра Файли, миссис Холт и Берта Сюзал, Гвен Оклей, Артур Болтон, Нелли Диттон, Мона Фокс, Эльси, Джек Бримбер, Альфред Клитон, Фред Сколби, Сэмми Хэмп, Томас Вулер, Берт Огмор, Уолли и Лесли, Джордж Пальмер, Рэнкин, Филипс, Чарли Кинг, старый Паттерсон, Джок, Гейстон, старый Боулс, миссис Григсон, миссис Фью, миссис Грин, миссис Дэфф, миссис Флинн, мистер Тэйлор, миссис Уэйк и мисс Трумэн, Мэри Грю, миссис Рули, Рэндольф Перкинс. Я назвал только тех, с кем вы уже знакомы, но остались тысячи незнакомых, с которыми мы, не зная их, живем одной жизнью.

Конец.

„СЫН“

Н. ВЕНГРОВ



1.

„Сын“ — так называется новая небольшая книга стихов Павла Антокольского. (Издание «Советский Писатель», 1943 г.) В ней собрано далеко не все из написанного поэтом во время Великой отечественной войны: лирическая поэма, несколько стихотворных новелл, три послания.

Но и в этом немногом, сквозь главы его поэмы, за строгими строфами его баллад, в интонациях его посланий — проступают новые черты в образе лирического героя П. Антокольского.

Многими линиями своего творчества П. Антокольский связан с умной, охлажденной расстановкой, поэзией Валерия Брюсова. В тяжеловатых подчас раньше строфах П. Антокольского было больше «ума холодных наблюдений», чем «сердца горестных замет». Холодком рассудочного мастерства веяло от его иногда и удачно сделанных «вековых» образов («Фауст», «Дон-Кихот», «Гамлет», «Гулливер» и другие), от широкой панорамы городов и стран (в циклах — «Запад», «Париж», «Швеция», «Германия», русские циклы), от философических его посланий. В книге его стихотворений и поэм, вышедшей в 1934 г., есть даже такой раздел: «Катехизис материалиста». Более продуманные, чем пережитые ритмические ходы его баллад и лирических песен, убедительные подчас эпитеты и эффектные метафоры определяли, скорее рассудочные, чем сердечные интонации его лирического героя. Так звучали они и тогда, когда поэт выступал непосредственно, как лирик, и тогда, когда выступал он, как автор стихотворного рассказа даже о таких волнующих делах, как социалистическая стройка. Поэт большой культуры, П. Антокольский — неплохой рассказчик. Но раньше его рассказ мог лишь заинтересовать читателя, а не задеть его за живое. Культурные стихи поэта были из тех, о которых писал когда-то великий русский лирик А. Блок:

«...они не радуют нас, и мы принуждены, отдав им дань холодного уважения, идти к другим».

2.

Большая отечественная война могучим своим пафосом вдохнула жизнь в творчество поэта. Суровая тема народной войны наполнила его разумья и переживаясь новым, не книжным содержанием, исполненным человеческого чувства, напряженного иногда до страсти — и в нежности, и в любви, и в ненависти.

Иной жизнью зажили образы его баллад и стихотворных повестей. Ребенок с «переломанной пополам жизнью» из его «Баллады о мальчишке, оставшемся неизвестным», вырастает в мстителя за родину, за оскверненную жизнь и становится сам легендой, вдохновенной песней, зовущей на подвиг. Не случайно, что эта баллада стала вдохновляющей песней — темой симфонической кантаты композитора Сергея Прокофьева.

Этой баллады нет в новом томике стихов П. Антокольского. Между тем она нужна в этом томике и по своей теме, и по волнующему поэтическому воплощению.

Не включена в книгу и баллада «Парень из гитлеровской дивизии». Наша советская пуля и сама наша советская земля, оскорбленная немецкой падалью, помогли раз и навсегда разобраться этим «парням из гитлеровской дивизии» в несложных вопросах их бытия.

Интонации рассказчика этих баллад, так же как и баллад, помещенных в сборнике, — «Про Катю Козлову», «О том, как спасся Жан Леккок», «Повести о летчике», «Про фашистского асса», — существенно отличаются от повествовательных интонаций поэта в его военном творчестве. Потому и убедительны образы этих баллад, несложных по своему сюжету, но тонких в отдельных психологических деталях. Обостренное чувство действительности помогло поэту увидеть мир глубже.

3.

Эту остро эмоциональную окраску объективным, эпическим, на первый взгляд, образом в творчестве П. Антокольского сообщило наше бурное время. Поэт пережил его вместе со всем своим народом на дорогах войны, на улицах затемненной Москвы, и в тревожном вое сирен, и в торжествующих вспышках салютов, а не в книжной тиши кабинета.

Поэтому так ошутим, а не только изображен в балладе моряк Жан Лекок, патриот, переживший национальную трагедию французского народа и его флота в Тулоне, народный боец, чудом уцелевший на плоту от пулемета немецкого асса.

Читатель слышит, как

...по кораблям пронесся вздох,
и рухнул вздох куда-то,
когда раздался первый «хох!»
- германского солдата.

«Вздохнули страшно, — говорю, — мы, моряки Тулона», — рассказывает Жан Лекок. И из этого страшного вздоха родилась песня — матросская марсельеза. Эту песню пели на обреченных кораблях. Эту песню вместе с моряками запело все море, «всей штормовой своей капеллой». Лекок скуп на слова. Но в его словах и в психологически оправданных повторях его речи заключена огромная сила матросской песни. И такая была в этой песне сила — и народного горя, и непокоренной воли, и презрения к смерти, и ненависти к «столбам серо-зеленой пыли», что эта страшная марсельеза —

пошла раскачивать суда,
раскачивать железом!

Он живет в строфах баллады — этот оборванный, исхудавший моряк, с его грубоватым голосом, с его неумолимой жадной:

...Глоток вина, еще глоток,
простите мне усталость!
...Любого пойла мне глоток,
прошу не пожалейте!
...Да что вина, воды глоток
мне прямо в горло влейте! —

Сжигающим, народным горем горит сердце моряка о поруганной, но не сдавшей Франции. Его ничем нельзя залить — этот «пожар сердца». И вместе с тем оно объято огненной верой в победу, несмотря на временное торжество врага, на временное бессилие разоруженного, проданного и преданного народа.

И ворот свой рванул он вдруг
И так сверкнул глазами,
Что жадных слушателей круг
Затрясся весь и замер.
Он поднял маленький кулак
И выговорил хрипало:
— Еще французский вьется флаг,
Еще не все погибло.
Еще не все, я говорю,
Потеряно с Тулоном.
Мы встретимся в родном краю.

И море не лгало нам.

— Что я сказал, го повторю, —
И в том клянусь Тулоном.

Поэт нарочито подчеркивает внешний невзрачный облик матроса — «тощий», «оборванный», «с хриплым голосом», «с маленьким кулаком». Но этот маленький, тощий человек светится изнутри, светом высших чувств, несгибаемой волей, благородной страстью к свободе. В этой одухотворенности образа — его героичность. В образе этого «обуяленного» матроса встает весь народ сражающейся Франции. Художник всем существом своим слился с Жаном Лекоком. И эта слитность художника с созданным образом — мера искренности произведения и человечности его образа.

Той же правдой, человечности освещен и образ маленькой Кати Козловской (из одноименной баллады), «девочки Козловской», в которой и сам автор отказывается признать вчерашнюю школьницу.

Война столкнула ее с немцем. В час борьбы ребенка с человеком-гориллой, вооруженной автоматом, в маленькой девочке рождается, как в Жане Лекоке, большой, сильный человек.

Гибнет двуногий зверь, а человек остается жить. В этом — правда нашей борьбы.

...Немец качнулся и зубы оскалил.
Глаза тяжелы, как свинец.

Всю скаторть закапал.

— Что было в бокале?

Лицо исцарапал.

Вспит:

— Цианкал.

И валится на пол.

И это — конец.

Маленький сильный человек один-наодин со всей гитлеровской вооруженной до зубов бандой. Но он не должен погибнуть, он не может погибнуть.

Легко ли в такую минуту оставить
Любимую? —
срывается с уст поэта-рассказчика.

За этим любимым образом поэта стоит его бессмертный народ. Он воплощен в этой девочке. А народ непобедим. Поэт обрывает рассказ, но читатель не сомневается в том, что Катя ушла невредимой из логова зверя, честно выполнив свой долг.

Однако «Баллада про Катю Козлову» оставляет впечатление наброска, незавершенной пьесы. Поэт не сумел найти необходимой для создания характера сложной линии. Образ Кати Козловской — при всей героичности ее поведения — художественно не раскрытый образ, не показанный нам в необходимой многогранности, без которой читатель не может почувствовать характера. Однако и в этом наброске бьется трепетная жизнь.

4.

Из множества опромных по своей глубине и значению проблем, которые поставила война перед художником наших дней, П. Антокольский избрал важнейшую — проблему человека.

Никогда раньше так, как в эти годы, не сливался поэт всем существом своим, переживаяними своими, мыслями, ненавистью своей и любовью, нежностью и омерзением, — с народом, его чувствами, мыслями, чаяниями и верой в человека. И поэтому убедительны и волнующи образы его «мальчика, оставшегося неизвестным», Кати Козловой, Жана Леккока. Вызывает поэтому ненависть и омерзение галерея палачей и равнодушных убийц — этих «Зигфридов по здоровью», «Вотанов по силе» и Гогрилла по морали и «духовным» своим запросам. Но ни в одном, пожалуй, из его произведений образы человека и палача не даны с такой силой, как в поэме «Сын», именем которой назван новый сборник. Все до поэмы — как бы этюды, зарисовки к этому произведению.

В этой поэме художник сумел найти в себе силы для претворения своей личной боли в художественный образ большого общественного значения и смысла. Его интимное, личное, трагическое стало общественным.

Так Маяковский умел поднимать в своем творчестве до высоты глубокой социальной проблемы свою личную тему.

Убеждающая сила рассказа П. Антокольского о своем сыне, павшем смертью храбрых в бою, содержится уже в конкретных, внешних деталях **портрета героя**, —

зачесанный назад с таким стараньем,
упал на брови завиток волос.

«Мои комсомолки!» — восклицал с гордостью и любовью В. Маяковский, проходя по улицам Москвы, любящая советской молодежи. — Образ сына у П. Антокольского — образ нашей цветущей молодости. И читатель невольно «подставляет» под образ, вылепленный поэтом, свое пережитое, пережитое, передуманное во время войны. Совпадение этого своего у читателя с пережитым и показанным поэтом становится критерием художественности, мерой правды образа, созданного художником, проверкой искренности его интонаций.

С волнением следит читатель за ростом сына, за днями его детства, с любовной бережностью показанной поэтом с того неуловимого момента жизни, когда «синий, синий огонек» —

крохотное солнце человечье
рванулось в мир для света и тепла..

Он рос в нашей стране — стране счастливого детства. Он рос, окруженный ласковой любовью не только своей семьей, — но и в той особой атмосфере ласки и заботы о детях, которая отличает всю нашу родину.

Он, как и все наши ребята, занимался своим маленьким делом, жил своей жизнью в школе, учил уроки, —

а радио над ним должно греметь,
чтоб в комнату набились до отказа
литавры и фаготы вперевой,
баян из Тулы и зурна с Кавказа
и позывные станции любой.

И он весь уходил в свое детское увлечение —

...и столько пленки перепортил Фэдом,
снимая всех и все, что под рукой!..

На всю свою юную жизнь запомнил он свой Крым — «как в жарком полдне сверкала морской прилив во весь раскат». Десятки, сотни тысяч наших ребят вместе с Новой прошли через здравницы Крыма, Северного Кавказа, наших морских побережий. И для всех них одинаково

сверкала степь, наполнив
весь мир звонками маленьких цикад.

Он был прав, маленький сын нашей родины:

...ложась и встав с постели,
он уверен был: нет, я не одинок!

Люди, героически защищающие нашу священную землю, защищают впервые в истории человечества родину счастливого детства. Люди разных общественных групп, классов, поколений, стран отличны прежде всего в своих мечтаньях о будущем. Отлично и наше детство, наша юность в своей мечте. О чем мечтают наши дети? Чего ждут они?

Поэт рассказывает о своем сыне:

Он ждал труда, как воздуха и корма...
...Макеты сцен, не игравших в театре,
модели шхун, не пльвших никуда, —
его мечты хватало б жизни на три
и на три века — так он ждал труда..

Замечательным памятником этого «незаконченного детства» встает перед нами такой знакомый всем нам ящик детского стола — «кусочек мальчишеской души»:

Стамески. Клеши. Смятая коробка
с гвоздями всех калибров...

Пробка
с перегоревшим проводом..
Моток
Латунной проволоки.

Альбом для марок.
Сухой, разбитый краб. Карандаши.

Здесь, в беспорядочной путанице инструментов и материалов, хлама и дела, в этом мире детского труда рождалась великая мечта о жизни-деянье. Здесь вступала в свои права тема нашей молодости — горьковская тема творческого труда, украшающего землю. Чтоб вставал —

...свобод вьющуюся вельень
светлый дом в прохладе и тени.

Чтоб росли «мосты над кручами расселин», — мосты, о которых мечтал сын поэта. Но даром ведь он, как и все наши дети, —

...любила следить, как вырастал
дома на мирных улицах Москвы,
как великаны из стекла и стали
купались в мирных бликах синевы.

Медленно, движенье за движеньем, раскрывает поэт становление человеческого характера.

И читатель с радостью узнает в сыне поэта своих детей, своего «знакомом незнакомца», как определял это ощущение подлинно художественного образа и его значение В. Белинский,

В отличие от образов других произведений П. Антокольского—образ сына многогранный, богатый образ. С тактом и глубоким проникновением в душу ребенка, подростка и юноши раскрывает поэт свой выстраданный образ человека—с просыпающейся в подростке жаждой жить, с его первым трепетом, радостью перед «открытым нестезь миром», с целомудрием первой любви—тем смутным ощущением «жала внезапной грусти», когда—

...первый раз он девочку увидел
совсем другой и лучшей, чем вчера...

Сын показан в его первой дружбе с товарищами:

Здесь, папа, замечательные люди!—

в его застенчивой любви к отцу, в заботливом беспокойстве о матери и сестре. На улицах, под небом Москвы, к которой с большой лирической силой время от времени обращает поэт свой рассказ, вырастает в этом юноше сознание комсомольского, сыновьяго долга перед родиной. И вот он

...в бою, и не влебуна из фляги,
шел к смерти, не сгибаясь на шоссе!

Без нажима, без фальшивого любованья отца своим ребенком рисует П. Антокольский своего сына. И, рисуя сына, создает мужественный образ отца, отказывающего себе «в праве на особую, отдельную тоску».

И по-человечески нельзя бросить упрека отцу, когда он в нестерпимой боли утраты требует от своего воображенья все новых и новых, как бы уже лишних деталей детства и, быть может, уже изланных, натуралистически мучительных подробностей гибели юноши.

Трагической силой, претворяющей отчужденную любовь в «кровь» молодого поколения в «любь всех отцов и сыновей», звучит в поэме заклинающая жизнь:

Так не стихай и вырвись вся наружу
с ободранною кожей, вся, как ешь,
вся жизнь моя, вся боль моя—к
оружью!

Все видеть. Все сказать. Все перенести.

Бессвязный от горя, задыхающийся рассказ отца весь—в пересечениях лирических отступлений, обращений к родине, к Москве, к жизни, к молодости, к стихии, к своему воображенью, весь—в переносах и разрывах интонационных периодов. И даже стихотворно изысканный и искусственный перебой в строке

...недолюбленное, недо-
любившее,—

в такой речи оправдан и убедителен: может быть, и вправду нельзя выговорить это слово гладко, цельно, когда оборвана «безумно близкая, ближе всех», вта не долюбившая молодая жизнь.

Так развивается тема человека в этой поэме.

5.

Но есть на свете иной мир, иная жизнь, иные чувства и желанья. Война открыла их поэту во всей беспощадной и омерзительной правде.

Со страниц поэмы встает образ другого отца, другого сына.

Перед нами знакомый уже нам «парень из гитлеровской дивизии», немецкий асс, мстящий всему живому на земле за опустошенность своей души, существо из костей, дубленой кожи, крови, фосфора, белков, с эмоциями и разумом низкокобой гориллы.

С такой же страстью, но задыхаясь на этот раз от ненависти, поэт следит за ним с рождения, отмечает приемы дрессировки гитлеровского «героя». Поэт знаком с ним давно и набросок этого зловещего образа можно найти в «Пауле Вильмердорфе» в сборнике П. Антокольского еще в 1936 году. Поэт знает его родину, он видел Берлин еще тогда, когда только родился сын поэта:

Город тот аляповатый
в зеленых вспышках мертвенных
реклам.

Он был набит тщеславием, как ватой,
и смешан с маргарином пополам.

Уже тогда «присматривалась к нашим детям Германия, ощеренная вся».

Воспитатель будущего убийцы, его отец, подстать своему сыну—«берлинец с наглым каменным лицом, на женщин жадеи, падок на сверхприбыль». Это он отнял у своего сына все, что могло, быть может, вырастить в нем человека. Это он отнял у своего сына—

...миры Эйнштейна

и песни Гейне вырвал в дни весны...

Арестовал его ночные тайны,

И обыскал мальчишеские сны...

Старательно, «как щелочь», вытравила гитлеровская Германия у своего сына «все, чем хотел и чем он мог бы стать». Похоть и злоба—надёжные приманки для дрессировки, воспитания чувств гитлеровского асса.

Поэт воскрешает в памяти, читателя и кестры бессмертных книг, сложенные руками этого отпрыска Германии в «спортивных залах и на площадях, и «гусиный» его шаг «по вырубленным рощам».

Гитлеровская Германия сумела внедрить в головы целых поколений то, что родилось, как бредовая идея, в головах ее фашистских правителей,—

...сделав эту сволочь

и пращурю пещерному подстать.

Пусть с «обысканными снами», с ограбленной юностью, с ненавистью к книге и культуре, но зато «чистых кровей»

Вотан—по силе, Зигфрид—по

здоровью—

отдай приказ, он рельсу бы разгрыз!

Сын поэта унес из своего детства любовь к музыке,—

...любил ее широкий

скрипичный вихорь, боевую медь.

Этот тоже запомнил и полюбил звуки—сын об этом сам рассказывает соседу по товарному вагону:—

С детства мне приятен очень
молодецкий стук потечин... Я в

ударе зол и точен

как спортсмен и штурмовик...

Вся глубина обезьяней премудрости в этом умнее лихо ударить. Об этом ударе говорил еще в 1934 году А. М. Горький: «Фашист, сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову с позвонков, — это уже не зверь, а нечто несравнимо хуже зверя, — это безумное животное, подлежащее уничтожению». Эта звериная точность и злость удара культивировались, как достижения «культуры» — необходимое средство для осуществления мечты тех молодчиков, «кто юность проведет в домах публичных, пройдет насквозь Европу, как чума».

Что ему целомудрие первой любви, первое «жало грусти»? Что ему утро рядом «с самой лучшей, самой златокудрой»? Той, с чистым образом которой в последний раз «прильнул к земле усталым телом» сын поэта?

В своем счете отцу-убийце отец-человек не может забыть о поругании сызганы.

И ту, перед которой сын мой с
обожаньем
не смел дышать, — так он ее берег,
твой отпрыск с ликом, с жеребьичим
ржаньем

взял и швырнул на землю, как тряпье!

Так раскрывается образ врага-палача в поэме. Ненависть, как и любовь, если эти чувства объединяют, концентрируют чувства народа, превращаются у художника в стремительную творческую силу. Этой силой насыщены образы поэмы Антокольского.

Человек и палач противопоставлены в поэме друг другу, как два мира, столкнувшиеся сейчас в титанической схватке, подготовленной всем ходом истории, железной логикой классовой борьбы, судьбами народов. В этой смертельной схватке сошлись человек во всем поэтическом обаяние красоты и глубины его душевного мира и пещерный житель, искусно выкопленный самым звериным империализмом. Победа человека в этой смертельной борьбе предопределена. Гневный и беспощадный свой счет врагу поэт заканчивает с огромной силой:

...Мой сын был комсомольцем,

твой — фашистом,

Мой мальчик — человек,

а твой — палач.

Во всех боях, в столбах огня
сплошного,

в рыданиях человечества всего,
сто раз погибнув и родившись снова,
мой сын зовет к ответу твоего!

В этом — подлинное содержание поэмы, ее глубокий смысл, ее общественное значение.

6.

Но большое достоинство поэмы не только в обобщающей силе ее образов. И не в том толь-

ко, что личное поэта стало общественным. Личное поэта может быть разной глубины и ценности, и раскрыто оно может быть с различной степенью напряженья и убедительности.

В этом же сборнике есть одно стихотворение — оно обращено к внукам. «Отвлеченным пафосом» (по слову А. Блока) веет от этого лирического послания:

— Наша мысль — жетора летящего
след,
— Наша сила — мотора гудящего ритм.

И сколько бы ни утверждал поэт: «высота — это мы; быстрота — это мы; и огонь — это мы», — боюсь, не «дойдет» это послание до внуков, не узнают они по этим, может быть, даже формально неплохо сделанным строкам правды о наших днях. Не узнают они о наших днях и «по запавшим глазам и по лицам небритым» — не в них сейчас дело. Это «послание» из прежних, довоенных стихов П. Антокольского.

Правду о наших днях узнают наши внуки из поэмы «Сын». Она живет в ее интонации, в страсти лирических обращений, в том, что за этими, предельно искренними интонациями — человек сгорел. Так поэтически, словами А. Фета, определял А. Блок «исповеднический» характер тех произведений, которые «выбираются историей».

А. Блок был прав. «Дойдет» до внуков, останется в истории «только то, что было исповедью писателя, только то созданное им, в котором он сжег себя дотла...» — писал великий русский лирик. Эти горячие слова убедительно звучат в наши дни, хотя в них и не вся правда. В этом «беспощадной искренности» суждений, как чувствовал Александра Блока А. М. Горький, объяснение тому, почему многое в нашей лирике не волнует читателя: не волнуют отвлеченный пафос, «холодные слова».

В поэме П. Антокольского тоже не все удачно. Надуман в ней какой-то мистический, ненужный образ «старухи-метели» (она же — «Музыка»), долженствующий играть, видимо, роль «сквозного» мотива, как «Метель» у А. Блока. Мешают иные детали и некоторые длинноты. И все же «Сын» П. Антокольского — подлинное поэтическое произведение, образ сына «всей юностью оборванной своею» — весь, как страстный, влекущий зов к мщению, весь — действенный призыв к истреблению врага.

Нельзя не верить, что поэт «сжег себя дотла», для того чтоб родиться вновь для новых произведений такого же общественного значения, такой же обобщающей силы, такого же лирического напряжения.

ОТВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЛИЧНОСТИ

А. ГУРВИЧ



Среди литературных произведений, появившихся за время войны и обративших на себя внимание, повесть Нины Емельяновой «Хирург» стоит особняком. У нее нет «родственных связей»: свой особый уголок жизни, своя точка зрения, непривычный для нас ритм и тон повествования. Вы прочтете ее с интересом, она покажется вам и новой, и оригинальной, но в то же время не доставит полного удовлетворения и запомнится скорее по контрасту с другими произведениями, чем собственными своими чертами. Нам дано здесь больше узнать, чем понять, больше увидеть, чем пережить.

Повесть замкнута в стенах госпиталя. «Разорванный ветром воздух» и «крик войны» не врываются в эти стены. Здесь царит тишина, но она таит в себе напряжение огромной энергии. Она продолжает бой со смертоносной пулей врага. В этой безмолвной, онемевшей войне, где человек в белом халате, вооруженный крохотным скальпелем, противопоставляет действию пушек и танков, есть своя стратегия, строжайшая дисциплина, отвaga, своя наука побеждать. Враг, возившись в тело бойца куском металла и выведя его из поля боя, продолжает неотступно преследовать раненого и здесь, в госпитале. Он подстерегает каждую оплошность хирурга, любую, едва уловимую неловкость его движения. Он ведет роковой счет секундами как малейшему промедлению, так и малейшей поспешности.

В схватке жизни и смерти на операционном столе драматический нерв повести. Операции главного хирурга госпиталя Петра Александровича описаны Емельяновой исключительно точно и ясно. Ход операций воспроизведен во всей беспрепятственности процесса. Можно говорить о полном перевоплощении автора в своего героя: так органически слитно, в одном дыхании живут здесь осторожность и смелость, спокойствие и напряженная бдительность, опыт и раздумье. Руки хирурга, инструменты и пораженный участок тела раненого возникают под пером автора с такой стереоскопической выпуклостью, так пластично, так осязаемо по форме и по фактуре, а каждое движение так понятно в своей целеустремленности, что читатель невольно на-

чинает ощущать судьбу оперируемого в собственных своих руках.

Емельянова добивается этой иллюзии активного соучастия читателя в жизни госпитальной отнюдь не взволнованностью тона. Наоборот, она размеренно спокойна, даже холодновата, исследовательски внимательна и рассудительна. Но эти особенности ума и темперамента обладают увлекательной силой, когда они сочетаются с знанием предмета и любовью к делу. Вкус к работе, какое-то особое чувственное наслаждение, испытываемое в самом процессе умелого, виртуозного труда, когда руки становятся безупречными исполнителями приказов воли и ума, — вот идея, мы бы сказали, даже навязчивая идея повести, все здесь себе подчинившая. От нее все качества, все сильные и слабые стороны повести, ее стиль и композиция, точность и чистота изобретательности и, скажем заранее, ее несомненная «цеховая» ограниченность.

Госпиталь Емельяновой — это храм, в котором царит культ мастерства. Здесь поклоняются главному хирургу, великому мастеру, посвященному в тайны человеческого тела. Отношение к нему врачей, сестер и других служителей храма проникнуто робостью от сознания огромного его превосходства, которое вместе с окружающими и боготворящими его учениками ощущает и сам великий мастер. Молодые врачи невольно подражают манерам главного хирурга, чтобы хоть внешне приобщиться к образу и подобию своего учителя.

В чем же тайна властной, покоряющей «умной силы» главного хирурга, названного в повести «другом жизни»? Повидимому, в присущем ему «душевном и физическом здоровье». Но о душевном здоровье Петра Александровича и вообще о нравственных источниках его творческой энергии, его таланта мы знаем очень немногое. Мы верим в благородство, человечность и высокие гражданские чувства Петра Александровича и охотно идем навстречу каждой возможности узнать его с этой стороны. Нам располагают к нему и отдельные его поступки, и немногословные разговоры с ранеными, и, наконец, вся его неутомимая выдающаяся деятельность.

Но индивидуальные особенности Петра Александровича, как человека своего времени и своего общества, только отмечены в повести и отнесены общими, беглыми чертами, не выразившими своеобразия личности. Сказано лишь то, что может быть вынесено за скобки в характеристике многих и разных достойных людей.

Мысли и чувства Петра Александровича для нас закрыты. Мы не знаем, широки или узки взгляды знаменитого хирурга, не знаем характера его ума и темперамента, его вкусов и потребностей, не посвящены в его переживания, выходящие за рамки профессиональной работы, несмотря на то, что действие повести протекает в то трагическое время, когда вопрос о жизни и смерти нашей стоял особенно остро. Человек может веотступно стоять на посту и с честью выполнять свой долг, — это не исключает его существования, как человека мыслящего и чувствующего перед лицом вселенной, даже если он и примитивен, и уж тем более, когда перед нами незаурядная личность. «Душевное здоровье» такого человека, должно быть, представляет собой не неподвижный покой, а сложную гармонию постоянно движущихся сил ума, воли, чувств.

Впрочем, может быть, Петр Александрович принадлежит к числу тех ученых, мирозерцание которых нередко, как заметил Ленин, бывает несвободно от всяческих предрассудков вопреки тому, что предметом их выдающейся деятельности являются естественные науки? Так или иначе, мы не можем считать свое знакомство с Петром Александровичем близким. Оно в значительной мере ограничено тем, что зримо и осязаемо, для чего необходим наблюдательный глаз художника, но нет надобности в его всепроникающем воображении.

Вот физическим здоровьем Петр Александрович дышит в полной мере. Резкая, контрастная его фигура сразу и надолго запоминается: «голова, очерченная твердыми четкими линиями, большой лоб, переходящий в глубоко пролысевший череп прекрасной формы, красиво и уверенно посаженный на крепкую шею, черные брови, темные быстрые глаза, плотная и свежая кожа лица и черная острая борода, оттененные белизной халата», «сильный решительный шаг» и «замечательные белые руки с красивыми, сильными пальцами». «Удобно и легко двигается его плотное тело... все в нем сильно и ждет работы».

Ограничив себя задачей показать Петра Александровича только как крупнейшего специалиста в своей области, Емельянова неизбежно должна была пойти на дальнейшее самоограничение и внутри этой задачи. «Ясное видение и понимание сложных патологических процессов в человеческом теле» не могли, конечно, быть воспроизведены автором как движение мыслей хирурга, — для чего надо было бы быть его гениальным двойником, — и поэтому мудрость ученого уступает в повести место его виртуозности,

технике его мастерства. Вот почему предметом наивысшего культа оказываются здесь руки хирурга. «Безошибочные» руки мастера, «Замечательные белые руки с красивыми сильными пальцами». Как часто, подробно и любовно описывает их Емельянов! Мы видим, как Петр Александрович перед операцией долго моет щеткой свои «мускулистые, обнаженные до локтя руки, как он «еще и еще раз провел щеткой под ногтями правой руки, сильно брызгая мыльной пеной», как «взглянул на розовые от теплой воды, чистые свои руки с истонченной от частого мытья кожей и, взяв у Зинаиды Платоновны ватку, намоченную спиртом, стал тщательно, не спеша, протирать ногти и пальцы».

«Когда Петр Александрович в стерильном халате с марлей, закрывающей губы, неся перед собой и отводя от себя согнутые в локтях и покрытые каплями воды руки с направленными прямо друг к другу длинными, тонкими пальцами с коротко обрезанными ногтями, подходил к столу, «молодые врачи встречали его почтительными и восторженными взглядами».

Нечего и говорить, как точно и подробно описаны руки Петра Александровича во время операции. Здесь вы не только знаете каждое их движение, скрытое в недрах операционного поля, но и ощущаете их напряжение, их упорную и утомительную борьбу с инородным телом в организме человека.

Но и после операции руки хирурга продолжают приковывать к себе внимание Емельяновой, как основа основ его магической силы, и она опять и опять демонстрирует их крупным планом. Вы видите манипуляции, с помощью которых Петр Александрович снимает со своих рук усталость, а затем следует целое гимнастическое представление. «Вот смотрите, — говорит Петр Александрович окружившим его молодым врачам, студентам и сестрам, — хирург должен владеть своими мускулами, как пианист звуком каждой клавиши, — и он поднял обе руки и стал показывать, как свободно сгибаются у него первые суставы, в то время как вторые остаются неподвижными, как сгибаются вторые без первых и как каждый палец отдельно делает разнообразные свободные движения, не увлекая за собой остальных».

Эта страница повести, как и ряд других, представляет собой наглядный предметный урок, тренировочное занятие, пособие для медицинского персонала. Молодые врачи тут же пытаются повторить ловкие движения Петра Александровича, но пальцы у них словно привязаны друг к другу, и ученики восторженно, с хорошей завистью смотрят на учителя, который и сам в полной мере наслаждается совершенством своих «гибких», «сильных», «чувствительных», «безошибочных», образцовых пальцев, не скрывая чувства самодовольства.

С точки зрения профессионального мастерства, уместности расценивают друг друга герои повести; с этой же меркой подходит и

сти и автор. Так охарактеризована хирургическая сестра Зинаида Платоновна, многолетняя сотрудница Петра Александровича, которую он ценит «за ее умение так включаться в самый ход операции, что руки ее как бы переставали быть руками другого человека и у хирурга получалось ощущение, что это его собственные продолженные руки достают ему нужный инструмент, не отвлекая его мозг от главной работы, направленной на тончайшие и быстреешие действия в поле операции».

Старый служитель госпиталя пьянчуга Фролов, также высоко ценим Петром Александровичем за «умение необычайно бережно и вместе с тем уверенно обращаться с больными».

Профессиональная квалификация оказывается альфой и омегой и в оценке подвигот бойцов, героические акты самопожертвования которых привели их в госпиталь. В рассуждениях и спорах раненых об этих подвигах торжествует точка зрения, которая является как бы формулой идеального героя Емельяновой. Согласно этой точке зрения героизм — это и есть мастерство, точнее он только производное, результат профессиональной умелости. Значит, мало сказать, что здесь подвиг и мастерство становятся синонимами. Нет, мастерство в оценке личности оказывается всеопределяющим и при его наличии о нравственных, душевных силах человека говорить не приходится.

Победитель спора о подвиге летчика Звягинцева, таранившего врага, «оценил в Звягинцеве высокое мастерство больше, чем личную смелость». Точно так же в беседе о Калинушкине раненые «не рассуждали о героизме человека, поборовшего танк, а сначала рассмотрели вернейшие способы уничтожения вражеских машин. И уже с этого, совершенно иного поворота одобрили Калинушкина».

Правда, тут оговорено, что «высшая точка мастерства требует смелости и отказа от себя» и что достигнуть ее можно «конечно, имея в себе незаурядную силу характера», но именно оговорено: «малком, в придаточных предложениях, которые нужны только для того, чтобы, оттолкнувшись от них, снова вернуться к главному».

Конечно, незаурядная сила характера! Что означает это «конечно», как не подчеркнутое отсутствие интереса к характерам героев повести, к незаурядным по силе характерам, которые равнодушно признаны здесь как нечто само собой разумеющееся, но не стали главным предметом познания художника, что было бы более чем естественно.

Звягинцев и Калинушкин которым Петр Александрович делает свои замечательные операции, занимают в повести значительное место. Оба они долгое время находятся на волоске от смерти. Можно представить себе, сколько мыслей и видений посетило их в тяжелые бессонные ночи. Как близки и до-

роги стали бы нам эти два мужественных, самоотверженных человека, если бы нам открылся их душевный мир, то личное, неповторимое и незаменяемое, что они готовы были принести нам в жертву. Но тщетно вы станете искать на многих посвященных им страницах возможности сблизиться с этими людьми. Их сокровенные мысли и чувства почти целиком уступили место физическим ощущениям больного. Звягинцев и Калинушкин существуют в повести, главным образом, как «хирургический случай», как объекты приложения сил и мастерства хирурга. Коль скоро в центре повести госпиталь и операции, — это закономерно, но инженеры человеческих душ и если можно так выразиться, инженеры человеческих тел отделены друг от друга именно тем различием задач и целей, которые стоят перед искусством и наукой, перед поэтом и врачом.

Конечно, чувственное, конкретное выражение идей является особенностью самой природы художественной литературы, которой бесплотная жизнь духа так же чужда, как и неодоушвлненная жизнь тела. Но неизбежный для художника материальный, предметный, телесный мир привлекает его к себе прежде всего той игрой, теми своими чертами и изменениями, которые выражают духовный мир человека, являясь его реальной, земной формой.

Наблюдая в своем госпитале за скромностью людей, совершивших исключительные по героизму подвиги, и тем не менее считавших, что они ничего особенного не сделали, ассистент главного хирурга Семен Иванович «понял, что люди и не могут рассказать, какими они были во время боя, просто потому, что память человека инстинктивно отстраняет эти воспоминания, отказывается восстановить тот гнев, озлобление, горение, ярость и то высочайшее напряжение всех сил, с которым человек именно в эту войну боюется на врага. Люди и представить себе не могут того подъема всех их душевных и физических сил, какой у них бывает во время боя».

Мысль эта очень верна. Высшее напряжение сил возникает в человеке только в момент необходимости их проявления. Оно не может быть повторено вне обстоятельств, его породивших, не может быть снова вызвано в себе человеком, только для того, чтобы рассказать о пережитом. Но разве «представить» себе и воскресить гнев, горение, любовь, страсть, высочайший подъем всех душевных и физических сил человека не является главной целью художника? Разве он не для того и призван, чтобы сказать нам о нас же то, в чем мы сами не можем отдать себе отчета, то что, как говорил А. Толстой, свойственно людям, но не может быть ими ни рассказано, ни объяснено?

Порой кажется, что в повести «Хирург» не столько автор создал своих героев, сколько герои создали автора. Они как бы предписали автору видеть, делать и понимать

такие то, что видят, делают и понимают — сами.

Они замечательные мастера своего дела, и Емельянова замечательно воспроизводит их мастерство. Они ежедневно, ежеминутно ощущают ритм и атмосферу жизни госпиталя, и Емельянова воссоздает эту атмосферу во всех самых неуловимых переходах ее по мере напряжения.

У них выработалась профессиональная привычка видеть в человеке прежде всего физическое тело, и Емельянова подчиняется этому видению даже тогда, когда хочет говорить о человеческих чувствах. Лицо Семена Ивановича «краснело от щек через лоб до корней светлых волос». Глубокое удовольствие, которое испытал Семен Иванович после удачной операции, передано как ощущение. При котором «в мускулах чувствуется еще тепло, сердце работает сильными ударами, а тело как будто стало легче, и кажется, что давление воздуха на плечи стало меньше». А подъем творческой энергии перед операцией как «ощущение в коже ее живых нервных окончаний, которые как-то делали ее плотнее и крепче... отрывистое сильное бегание сердца» и так почти везде сердцеведа опережает специалист сердечник.

Раненные терпят боли, неудобства, и эта тяжелая гнетущая жизнь больного тела передана Емельяновой с такой точностью и подробностью, которые опять-таки позволяют говорить о физическом перевоплощении автора.

Но герои повести ничего или почти ничего не могут сказать о своих душевных силах, о своих незаурядных характерах, и вместе с ними умолкает автор.

«Так откуда же эта сила в человеке?» — безответно спросил себя Семен Иванович, и вот вопрос остался открытым и для читателей повести «Хирург».

Теперь мы должны объяснить, почему до сих пор не уделили главного внимания Семenu Ивановичу, образ которого как будто противостоит всем нашим утверждениям.

Рядом с фигурой Петра Александровича, которая запечатлена Емельяновой апологетически, с точки зрения госпитальной сестры, боготворящей своего учителя, видное место в повести занимает постоянный ассистент главного хирурга Семен Иванович. На Семена Ивановича автор повести смотрит уже не со стороны и не снизу вверх, — ракурс, который всякую живую фигуру превращает в монумент. — а, так сказать, глаза в глаза, пожалуй, даже чуточку сверху вниз, с покровительственным вниманием. Сестры прозвали Семена Ивановича «милый мой». Семен Иванович еще молодой врач. В отличие от Петра Александровича в нем нет ни уверенности, ни самодовольства. Он весь в становлении. Много еще в его жизни не решенного и не достигнутого. Будучи даровитым молодым хирургом и работая, не покладая рук, Семен Иванович в то же время томится своим безучастием в войне. Ему все время не хватает

«горячей, взволнованной, чисто мускульной работы, которая всегда кажется человеку самой действенной формой помощи другим людям», он чувствует «необходимость самому броситься в схватку, бить врага направо и налево, безумя от злости и обиды...»

Семену Ивановичу кажется, что он не нашел своего места в нашей великой битве. Он еще не нашел самого себя, вернее не стал еще полностью самим собой и как творческая индивидуальность. Подобно другим ученикам Петра Александровича, подпавшим под его личное обаяние, Семен Иванович невольно подражает главному хирургу в жестах, манерах, походке. Он часто ловит себя на этом, смущаясь и краснея. В один из таких моментов мы и застанем в начале повести Семена Ивановича, который «как-раз вступал в период сурового изгнания внешнего и оскорбительного для него подражательства», поняв, как важно избавиться от простого копирования большого человека именно для того, чтобы глубже постигнуть его сущность. Но не только внешним подражательством стеснена свобода и естественность поведения Семена Ивановича. Находясь рядом с Петром Александровичем, Семен Иванович иногда излишне «старается» и поэтому едва уловимо кривит душой: то ли произнесет лишнее или угодливое слово, то ли сделает какое-нибудь ненужное движение, продиктованное ему не необходимостью или собственной потребностью, а косвенными, не имеющими отношения к делу соображениями. Так, например, когда Петр Александрович осматривал опасную рану Калинушкина, Семен Иванович заметив напряженное состояние главного хирурга, «нагнулся и стал из-под низа осматривать ногу Калинушкина, но, поймав себя на том, что рассматривает ногу не для пользы раненого, а только для показа, что и он занят делом, покраснел и выпрямился». И всегда в подобных случаях нравственный самоконтроль Семена Ивановича немедленно отмечает малейшую фальшь в его поведении.

Есть в сознании Семена Ивановича и еще одно раздвоение, заставляющее его бороться со своим чувством. Чувство это та, по определению Петра Александровича, «вредная жалостливость» к больным, которая мешает хирургу в его работе. «Нас, — говорит Петр Александрович, — иногда упрекают в равнодушии, с которым мы «режем» людей. Это глубочайшая и вреднейшая ошибка: не может быть равнодушия у хирурга. Но холодность, но отвлечение от личности лежащего перед ним человека — это да! Для хирурга недопустима вредная жалостливость. Если это есть в нем, он не хирург. Впрочем, понимание этой штуки приходит к каждому в свое время».

«Вот этого отвлечения от личности не только близкого, а и каждого человека у Семена Ивановича не получалось, и он не знал, получится ли когда-нибудь».

Как видим, Семен Иванович среди других героев повести, получивших в ней проверку

но столько характеров, сколько квалификации, является исключением. Правда, и здесь все притянуто и накрепко привязано к проблеме мастерства, но уже не со стороны техники, а со стороны нравственных предпосылок творческого развития личности.

Но две-три странички в начале повести и несколько страничек в конце, посвященные Семену Ивановичу, — это только старт и финиш, которые на всем протяжении повести соединены между собой лишь редким прерывающимся пунктиром. Несколько однообразных по существу моментов, когда Семен Иванович скопировал Петра Александровича и покраснел, — сделала ненужное показное движение и устыдился, произнес неуместное слово и опять устыдился и опять покраснел, — не раскрывают, конечно, перед нами того сложного пути, который должен был пройти Семен Иванович, чтобы душевно возмужать в такой мере, какую приписывают ему последние странички повести. Ведь тема освобождения человека от всего несвободного, наигранного, ненатурального в его поступках и ошибочного в его представлениях здесь доведена до конца. Семен Иванович освободился решительно от всех стеснявших его свободу противоречий и зависимостей. Он обрел в себе необходимую для его творчества «неравнодушную холодность», нашел, осознал свое место в общем потоке большой жизни народа и «нашел себя», утвердил свою индивидуальность. Он стал другим. Измениться в своей сущности — это, вероятно, самое большое, что может произойти в жизни человека. Такой разворот темы требует глубокой психологической разработки, богатого воображения художника, способного проникнуть в самые сокровенные уголки сознания своего героя и увидеть там его неугасающую мысль во всех ее оттенках и разветвлениях, во всех муках и радостях ее борьбы со своими оковами.

Но мы уже видели, что в изображении душевного мира своих героев у Емельяновой нет и малой доли той скрупулезной подробности, с какой она изображает предметный мир, нет той непрерывности процесса, которыми отличаются в ее описании внешние физические движения.

Еще важнее то, что развитие человека, а тем более преобразование его не может быть достигнуто, если оно возникает, как проблема внутреннего нравственного самоусовершенствования. Только столкновения с действительностью, борьба, знающая и победы, и поражения, богатый и суровый опыт, — словом только уроки самой жизни могут произвести существенные изменения в человеке и утвердить в нем новые качества. В повести «Хирург» нет конфликтов, вызванных столкновением интересов, характеров или идей основных ее героев. Каждый из них живет сам по себе, что определило и композицию повести, отличительным признаком которой является не переплетение мотивов, а их чередование. Первые две операции знакомят нас с Петром Александровичем, третья — с Се-

меном Ивановичем. Отсюда и особенности языка повести, скульптурно выпуклого, точного и подробного в описаниях и небогатого, недостаточно характерного в индивидуальной речи героев, скупого в диалогах, которые Емельянова охотно заменяет своим пересказом.

Жизнь, борьба в ее непосредственных проявлениях не развязана в повести. Этого провала в отношении Семена Ивановича не могут восполнить главы, рассказывающие нам некоторые эпизоды из его детства. Больше того, таков уж профессионально-практический характер повести, что эти странички кажутся в ней чужеродными, как, кстати сказать, и та до очевидности вставная глава, где дана короткая биографическая справка о Петре Александровиче и Зинаиде Платоновне.

По всем признакам Семен Иванович должен был стать главным героем повести. Об этом говорит и экспозиция, и финал ее, и в особенности наиболее содержательная по замыслу тема Семена Ивановича. С него повесть начинается, им заканчивается и, оттапливаясь от его чувств и мыслей, переходит к своему заключительному обобщению.

Но, повидимому, замысел Емельяновой в процессе работы претерпел изменения. В повести произошла заметный сдвиг, сместивший ее центр тяжести. Грузная фигура Петра Александровича прочно обосновалась в повести, оттеснив к краям ее Семена Ивановича и «милый мой» спрессовался. Потеряв место и время, он в последних страницах энергично пользуется отведенным ему эпизодом, чтобы наверстать упущенное и успеть выразить пройденную им незаметно для читателя эволюцию.

Произошло это у Емельяновой не случайно и не только потому, что раскрыть процесс духовного созревания человека очень трудно. Нам кажется, что автор уклонился от этой трудности не для облегчения своего труда, а потому, что по пути следования за своим героем столкнулся с более узкими, но более близкими себе интересами. Пафос «Хирурга» в том сдержанном восторге, с каким автор наблюдает, как среди безобразного разрушения человеческого тела красиво и целесообразно движется умелая товарищеская рука». Целесообразность, трезвость, точность, уместность — вот истинные хозяева повести Емельяновой. Опираясь этими, слишком определенными и ограниченными в своей определенности величинами, нельзя найти ту «неизвестную величину», в поисках которой бьются поэты и без постижения которой нет ответа на вопрос: «Откуда же эта сила в человеке?!» Семена Ивановича восхищает «очень русская черта — поступать не так правильно, как надо, а совершать поступок, в существе своем, может быть, и неправильный, но горячий и вдохновенный настолько, что он выше правильного». Не беремся судить, насколько это широкое национальное обобщение правомерно, но к натурам поэтическим оно относится бесспорно.

Если бы повесть Емельяновой была отню-

в этой чертой, Семен Иванович, вероятно, не решил бы всех стоящих перед ним проблем так правильно и законченно, что ему, не к чему уже более стремиться, но он стал бы более живой и перспективной фигурой: он не уступил бы предназначенных ему страниц подробному описанию операций и сохранил бы право на заглавную роль в этом произведении.

Емельянова должна была назвать свою повесть «Хирург». Это очень точное название относится к Петру Александровичу, который предстал здесь перед нами, как хирург, и только как хирург. У него есть специальность, но нет фамилии. Доктора Штокмана нельзя назвать только доктором. У него есть свое имя, потому что он личность, стоящая в центре социальной драмы. У него есть своя гражданская тема, выраженная горько-иронически, в обратном смысле, словами «враг народа». Если бы Петр Александрович был раскрыт перед нами, как личность, как характер, как современник величайшей народной трагедии и как гражданин вселенной, повесть о нем была бы названа его именем и, может быть, как у Ибсена, еще и его темой в словах «друг жизни».

Почему мы не видим «безошибочных» пальцев мастера, равно необходимых музыканту и хирургу в «Моцарте и Сальери»? Даже в применении к ремесленнику Сальери только в одной строчке вскользь упоминаются здесь «персты». Попробуйте без иронии заменить название «Моцарт и Сальери» словом «композиторы». А ведь здесь творческий момент и особенности дарований героев занимают видное место. Не потому ли нестеровский портрет Павлова производит значительно более глубокое и сильное впечатление, чем его же портрет профессора Юдина, что в первом изображены руки мыслителя и волевого человека, а во втором — руки хирурга?

Мы уже говорили о том, что Емельянова, как художник, как бы заимствует методы работы у своих героев. «Что-то отходило от Семена Ивановича, проясняя и обостряя все чувства. Одно из них было очень ясное: человек по фамилии Лосев, с его особым, близким Семену Ивановичу качеством исчез. Его не было... было только операционное поле и холодное, ясное представление о том, что нужно делать». Не для того, чтобы помочь человеку Лосеву, а что нужно делать в этом участке человеческого тела, чтобы исправить образовавшееся в нем повреждение. Хирург вступил в полосу холодного, ясного, четко-го видения и начал операцию».

В известной мере эту победу хирурга над собой делит со своим героем и Емельянова. Поразительно ясное и четкое видение ее отдает холодком. Мы не хотим сказать, что вредна для хирурга жалостливость необходима художнику. Она и ему вредна и неизбежной слабостью своей всегда производит отталкивающее впечатление. Чехов предостерегал писателей от жалостливости и призывал их окружать своего героя холодным фоном объективной действительности, даже тогда, когда в

ночной тиши писатель проливает слезы над его судьбой. Беспокойство и чувствительность поэта, художника заключены уже в том, что предметом его неугасимого любопытства и познания являются человеческие чувства. Сама сфера его деятельности предполагает наличие у него общественного темперамента. Именно в этом отношении мы не улавливаем родственной связи повести «Хирург» с другими произведениями советской литературы, которые оказались активными участниками нашей войны. В литературу ворвалась публицистика. Гражданская лирика насквозь пронизала собой не только поэзию, но и прозу. Речь идет не о качестве этой публицистики и лирики, которая в отдельных произведениях весьма разноценна, а об естественном в дни войны повышенном страстном тоне литературы.

Повесть Емельяновой человечна, герои ее ведут «благороднейшее из сражений», они «другья жизни» по призванию, по природе своего ремесла. Она, таким образом, гуманна по сути дела. Чистота ее нравственной атмосферы безукоризненна. Но чистота эта как-то стерильна. Она достигнута изолированностью повести от пыли и дыма войны, от ее горячего дыхания и трагизма. Мы не решимся назвать повесть Емельяновой асоциальной, но то, что она не может вызвать к себе широкого интереса именно потому, что в ней господствует не столько человек своего общества, сколько человек своей профессии. — это для нас несомненно.

Холодно рассудительный тон «Хирурга» обнаруживает узкие границы своих возможностей в последней странице повести, где автор решается выглянуть за священные стены своего хирургического храма, чтобы единым взором охватить широкий горизонт войны. Но публицистические обобщения законно врываются в художественное произведение и горят в нем ярким пламенем, когда они являются обобщением идей и чувств, выраженных здесь образно, в картинах живой действительности; когда вы чувствуете, что их долго сдерживаемая взрывчатая сила накоплена глубокими переживаниями и думами. Достаточно ли богата и обширна повесть Емельяновой своим содержанием, чтобы завершить ее мыслью о «народе, искавшем справедливости, страдавшем очень много и раньше, не за всю свою жизнь не страдавшем так, как в эту войну, от нашествия страшного врага, заманившего его, чтобы его уничтожить»? При всей своей широте эта фраза воспринимается не как конец повести, а как концовка. Народ, справедливость, война, страдания, история — эти понятия, заключающие в себе глубочайшие идеи нашей жизни, не влезают в узкие рамки повести, в которой стены госпиталя замыкают не только место действия, но в значительной степени и круг интересов. Вот почему Москва, над которой рыщут фашистские гремлины, сеющие смерть и разрушение, возникает за откнутой шторой госпиталя только как акварельный пейзаж, где «голубые лучи прожекторов.

наклоняясь, ходят по светлому предутреннему небу» и «легкий путь светящихся трассирующих пуль пересекает небо над госпиталем».

Вот, наконец, отсюда и последняя фраза повести, которая показалась бы слишком сторонней, отчужденной даже в труде историка о забытых временах далекого прошлого: «Война та, которую называют отечественной войной. — столкновение сил: одной — враждебной, стремящейся отнять и разрушить низин, и другой — умной силы, которая устраивает козни злой силы, защищает и создает жизнь, шла над Москвой».

Та, которую называют отечественной!

Мы нисколько не сомневаемся, что наша война и для Емельяновой есть война отечественная. Но это только усиливает потребность понять и объяснить ту силу инерции, которая вела рукой автора, когда он писал последнюю фразу повести.

В нашей литературе последних двух лет бросается в глаза одна особенность, вообще характерная для советской литературы, которую можно было бы назвать полным слиянием душевных сил автора и его главного героя. Вероятно, эта особенность предвещает целое литературное направление, естественное для нового общества, социальная природа которого определена его морально-политическим единством. Интересы господствующего деятеля нашего общества и гуманистические устремления искусства настолько едины в своей основе, что в художественных произведениях расстояние между автором и героем нередко исчезает. Этот сплав возникает в огне гражданской лирики. Писатель рассказывает о подвигах и испытаниях своего героя и вдруг не в силах сдержать своих чувств, дает им полную волю, и вы уже не знаете, кому принадлежат эти невольно вырвавшиеся слова — автору или его герою, потому что они в одинаковой мере близки и необходимы обоим.

В различных формах мы видели проявление этого скрепленного войной единства в глубоко человеческих очерках Аркадия Гайдара, с гибелью которого потеряли одного из лучших писателей — участников войны, в суровых мужественных военных летописях Василия Гроссмана, в задушевных «Письмах к товарищу» Бориса Горбатова, и во множестве других очерков, поэм, рассказов и статей.

На фоне этих взволнованных голосов слова о войне, «которую называют отечественной», не могут быть услышанными.

Мы думаем, что бесстрастность заключительных строк повести «Хирург» является прямым результатом ее цеховой замкнутости. Из узкого круга специальных интересов нет прямого выхода на широкие просторы общественной жизни. Пафос патриотизма не мог естественно возникнуть из того всепоглощающего интереса, с каким автор наблюдает «как среди безобразного разрушения человеческого тела красиво и целесообразно движется умелая, товарищеская рука».

Мы говорим о повести «Хирург» так подробно и взыскательно не только потому, что видим в авторе ее наблюдательного, умного

и безусловно даровитого писателя, хотя и этого было бы достаточно для принципиального спора, который всегда интересно и полезно вести, отталкиваясь от наиболее ярко проявления какой-либо тенденции. В данном же случае сама тенденция повести представляет для нас живой интерес, потому что ее профессиональный уклон подстерегает писателей на столбовой дорожке советской литературы. Человек дела, творец, созидатель — господствующий герой нашего общества, и он по праву будет занимать и в художественной литературе первое место. Это тот герой, по которому тосковали и которого предвидели в своих мечтах почти все великие русские писатели. Любовь к труду, восходящему до степени искусства, умножает и моральную, и материальную силу социалистического общества. Она должна быть воспета. Но стоит только отгородить пафос творчества от его истоков и устремлений, от мироощущения героя, и сразу же общезначимое станет узкоспецифическим. Апология мастерства как самоцели невольно приведет нас к тому, что мы станем певцами профессии, а не строителя новой жизни. Провозглашенный Горьким «восторг делания» неизмеримо более широкое понятие, чем «золотые руки». Он включает в себя и золотое русское сердце «родоначальника нового человечества», его борьбу не только с сопротивлением материала, но и с сопротивляющимися его делу людьми, будь то враги или отставшие товарищи, не поспевающие за стремительным ходом нашего времени. Столкновение идей, интересов, характеров, страстей, борьба чувств, становление или падение личности, стимулы, движущие поступками человека, его сокровенные мысли и настроения, — вот сфера деятельности инженера человеческих душ.

Неудивительно потому, что хотя в повести «Хирург» с наибольшим интересом читаются страницы, в которых описан ход операций Петра Александровича, запоминаются в ней больше другие места, приоткрывающие перед нами заключенный в человеческом теле мир души, путь к которому прокладывает не скальпель, а воображение художника.

Ночь в палате, где лежат Калинушкин и молодой партизан Лесков, переходы их мыслей от ясности в туманы полубытия, переплетение реального с видениями последнего боя, это странное существование на грани полусознания, эта атмосфера ночи в госпитале, бесшумное движение сестер, тихо и незаметно подкрадывшаяся смерть к Пескову, только что в бреду собиравшегося итти в разведку, взволнованная растерянность светловолосого паренька Саньки, который заметил по службе своего запившего деда Фролова, красивые и зеленые мерцания уличного света на потолке палаты, за которыми наблюдает Калинушкин, не решаясь сказать о них сестре, чтобы та не подумала, что ему это кажется, — вот две-три самые проникновенные страницы повести, может быть, лучшие из написанных Емельяновой. В них заключена какая-то трудно уловимая, но общепонятная и волнующая правда, они владеют нашим на-

строением, пробуждают возвышенные мысли о жизни и любовь к человеку.

При всей незначительности конфликта нам запомнилась сестра Ната Ивановская, оскорбленная вспышкой гнева Петра Александровича, ее проход по длинному коридору, разговор с Зинаидой Платоновной, с Семеном Ивановичем и с «жучком» доктором Ласкиным, сочувствие которого ей неприятно, ее воображаемый резкий разговор с Петром Александровичем и внезапная встреча с ним, когда Ната гозорит хирургу не то, что думает и не так, как хотела бы сказать.

Душевное беспокойство и творческая возбужденность мысли с наибольшей силой выражены Емельяновой в последней главе повести, несмотря на то, что в ней, как мы уже указывали, слишком быстро и исчерпывающе решены все проблемы, стоявшие перед Семеном Ивановичем.

Внезапно осевшая его идея операции, мысли о Лосеве, ставшем для Семена Ивановича родным человеком, и мысли о нем же специалиста-хирурга, требующие отвлечения от личности, их противоречие; сомнения, колебания Семена Ивановича и противостоящая им решимость. звонок к Петру Александровичу, приход ночью к Зинаиде Платоновне

в операционную, лаконичный, но полный глубокого значения и истинного драматизма разговор с Лосевым и реакция Семена Ивановича после окончания операции. — все это читается с интересом совсем иного свойства чем то, почти спортивное напряжение, с которым мы следим за операциями Петра Александровича.

Любопытно, что ход самой операции, которую сделал Семен Иванович Лосеву, вопреки общему характеру повести и ее методу, не описан Емельяновой. Душевные переживания героя, коль скоро они были затронуты, поняты, стали доминирующими и продиктовали этой главе свою логику развития. Они уже не могли уступить места технике хирургического дела, и здесь возникла неожиданная для всей повести, но естественная для данной главы купюра, которую автор даже внешне отметил белым пятном.

Мы потому подробно перечисляем все места повести, в которых автор поднимается от технологии хирургического мастерства к психологии творящего человека, от узко-профессионального к общечеловеческому, что именно в этих страницах, хотя они и не решают общего содержания и ценности повести «Хирург», хотим видеть автора следующей, еще не написанной книги Емельяновой.

О СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

М. ДОБРЫНИН



Белорусская литература эпохи Великой Отечественной войны выражает кипучую творческую деятельность талантливого и трудолюбивого борющегося народа. Основные темы ее определены самой жизнью, положением народа в эти страшные дни. Это — тема родины, тема народной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Образ советского человека, защищающего родину, свой город, село, дом, землю от поруганий, один из основных образов белорусской литературы. Его мы найдем в лирике, в прозе, в драме.

Янка Купала и Якуб Колас, Петро Глебко и Петрусь Бровко, Аркадий Кулешов и Максим Танк, Пимен Панченко и Антон Белевич, Анатолий Острейко и Михась Машара, Михась Лыньков и Кузьма Чорный, Илья Гурский и Кондрат Крапива, Михась Климович и Алесь Стаховин — все возвращаются мыслью к родной земле, к родине. Много горьких минут пережили они, покидая родную землю. Много горечи затаили они в своем сердце. Эту тоску, боль, горечь передают все писатели. Народные поэты Янка Купала и Якуб Колас в ряде произведений выразили не только бесконечную скорбь за родную землю, но и твердую уверенность в том, что «как развевался, развеваться над нами стяг советский будет». Лирика основоположников новейшей белорусской литературы, лирика их ближайших преемников и поэтов молодого поколения полна гнева, мужественного призыва и уверенности в победе.

«Встает народ мой белорусский героичный» — пишет Янка Купала. всем сердцем, всею мыслью сливаясь с родной землей. Этот голос земли, неумолчный, властный, слышит и Якуб Колас. Земля зовет поэта днем и ночью, она зовет молчащим взором озер, шумом дубрав, ропотом чащ, плачем ручьев.

Я слышу зов, земля родная,
Хоть песней я к тебе прильну!
Тебе я, сын твой, обещаю
Недолго будешь ты в плену.

Твой лес трепещет шумом гнезным,
Я вижу луч твоей зари,
Он солнцем заблестит полдневным,
Есть у тебя богатые.

Кровную, органическую связь с родной землей выражают все поэты, каждый по своему оригинально и самобытно. Вот почему у Петруся Бровки тоска вьет гнездо в сердце, вот почему он говорит:

Вспоминаются мне перелески под
Минском,
Где калина над юностью нашей цвела.
Слышу вербы зовут, и призывно,
пригоже
Луг шумит, где я первый прокос
проходил.

Туда рвется поэт, и как ни тяжело ему сейчас, он уверен в том, что счастье близко.

Как только Красная Армия вступила на белорусскую землю, П. Бровко шлет сыновний привет.

День добры, маці-Беларусь!
День добры, вам, бары і нівы!
Вітайце ясную зару
И вызвалення дзень шчаслівы!

Ты зацвіцеш, земля, і зноў
Ты закрусуеш зноў садамі...
Вітай же Беларусь, сыноў —
Яны прышлі к тебе з братамі.

Свою мечту о родине своеобразно выразил Петро Глебко в стихотворении «Родной хлеб». Партизан из-под Гродно встречается с земляками в Москве и угощает их хлебом, который пекали партизаны.

И — боже мой! Каким медвяным
Взволнует запахом она!
И каждый сразу станет пьяным,
Но не от горького вина:

Он бюджет пьлѣ от дум горячих
 Родина, где выростал,
 Где слезы первые — не прячь их! —
 И песни первые узнал.

Где каждый вечер у землянки
 Любимые с победой ждут,
 Где молодые партизанки
 В лесу опресоки пекут.

Тема о родине органически переходит в тему о борьбе Красной Армии и о партизанской борьбе.

В прекрасной поэме «Знамя бригады» Аркадия Кулешова выразил чувство мужества, воинской чести и уверенность в победе, хотя в нем есть и горечь разлуки с любимым городом — Минском.

Родина, родной город, пылающая улица, дом, где осталось все, что напоминало о труде и радости, — это нельзя забыть никогда.

Основная мысль поэмы А. Кулешова — родина. Понятие о родине широко и многообразно. Символом родины для бойцов является знамя войсковой части. Измена знамени — измена родине. В поэме речь идет о знамени бригады, которое воины выносят из боя с опасностью для жизни. Они сохраняют его, находясь в немецком окружении, и затем передают своим войскам. Вновь под этим знаменем идут люди в бой за родину.

Интересны в поэме Кулешова стихи, вызывающие в памяти литературно-исторические ассоциации. Отмечу прежде всего использование образа Лермонтова «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» и Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Эти литературно-исторические ассоциации не являются упреком автору. Напротив, они подчеркивают, что поэма Кулешова идейно и образно перекликается с классическими произведениями братской русской литературы.

Очень хорошо рисует А. Кулешов пейзаж. Природа у него выступает как живая действующая сила, помогающая нашим героям. Она борется вместе с ними против подлого врага. Безымянный ручей приводит их в глушь, а лесное затишье, трава постилает им постель, сосны и ели тихо над ними шумят, навевая покой. Сквозь желтую землю лесов пробиваются они к фронту, и их след замечает метель и, когда однажды ночью «вылез месяц — серебряный рог», — они попадают к своим.

Поэма Кулешова большой успех белорусской литературы. В ней ярко выражена любовь к родине, глубоко осознано чувство долга перед ней, тонко и лирично дано историческое ощущение жизни.

Я іду каля жыта
 Пакасілі яго куляметы,
 Усё пакасілі.
 А тупыя нямецкія боты
 Яго малацілі,
 Танкі гусеніц жорнамі
 Жыта посла памалолі,
 Коні потныя, чорныя
 Хлеб зямясцілі на полі.

Кроу служыла дрожджамі
 Палілі агнем і жалезам
 І ляжыць каменямі
 Хлеб з пякарняў нямецкіх за лесам
 На дарозе ляжыць каравай,
 Як на белым абрусе,
 Хлеб дармовы, бяры і кусай
 Можэ з гора і укусіш.

Где бы ни были белорусы, мысль о родине не покидает их. Пимен Панченко посвятил проникновенные стихи матери-Белоруссии, которая растила его, качала в колыбели, напевала по ночам песни и, наконец, с заботой в очах, собирала его в дорогу. Здесь все мило и дорого сердцу: шелест берез, волны ржи, утренняя роса, древний бор, голубые озера, напевы дроздов, «и чебрец в серебре». Воспоминания будут в душе ненависть к угнетателям и веру в победу над ними.

Осушу твои слезы, отчизна моя,
 Залечу твои раны, согрею тебя...

(«Возвращение»)

Любовь к родине неистребима, вечна. И если придется погибнуть в смертном бою, говорит поэт Максим Танк («Родине»), то все равно не забудется обида, нанесенная врагом родине.

Никогда: даже мертвые будем
 Мстить врагу за обиду твою.

Анатолий Острийко («Белоруссия») вспоминает село и зеленый сад, горьковатый запах сосен, шум осин, пригорки, перелески, перезвон криниц. Ему мила светлый широкий Неман, девичий веселый смех, первый звон косы, живая белорусская речь. Он уверен, что:

Средь настоящих белоруссов
 Нет ни изменников, ни трусов, —
 Костями все немцы лягут в ряд
 А Беларусь не покoryт!

Трогательно звучат лирические стихи о родине Максима Танка («Белорусь»). Стремясь разгадать прекрасные черты родины, поэт слышит ее голос в песнях, видит красоту в сказочных узорах, в привычных строках кириллицы. Ему понятен шум Днепра и Немана как живая летопись веков, — хотя время и изменило все: «горели пламенем багровым осин пожелтые листья». О родимом крае говорят песни у походных костров. Особенностью стихов М. Танка является их удивительная нежность и затаенная грусть.



Вторая большая тема белорусской литературы, вытекающая из первой, — тема партизанской борьбы. Вся страна поднялась на защиту своей чести и независимости. Не только народ, сама природа встречает враждебно немцев. Народный поэт Янка Купала прекрасно выразил это в своем призыве к белоруссам:

«Если враг сорвет яблоко, созревшее в нашем саду, оно разорвется в его руках гранатой! Если он сожмет горсть наших тяжелых колосьев, зерна вылетят и поразят его свинцовым дождем! Если он пойдет к нашим чис-

тым студеным криницам, они пересохнут, чтобы не дать ему воды!» Природа Белоруссии враждебна чужеземцам, она активная участница борьбы народа против них.

О партизанах и их героической борьбе написаны большие произведения в белорусской прозе и поэзии. Они рисуют великолепный образ борца, мужественно сражающегося и, если необходимо, гордо умирающего за родную землю.

Народный поэт Якуб Колас посвятил свою поэму «Суд в лесу» партизанам. Читатель видит два лагеря — на одной стороне пламенные белорусские патриоты — партизаны Иван Гурба, Гамыра, Галя, Никитка, Петрок и другие, а на другой — немцы-окупанты и их приспешники. Действие разворачивается быстро и заканчивается картиной суда над немцами.

Поэт рисует замечательные картины природы Белоруссии. Вся XVIII глава посвящена пейзажу:

Люблю я лес, старинный бор,
Где сосны ввысь вздымают шапки.
Где ели простирают лапки,
Возвая острый верх в простор.

Теперь мне лес вдвойне родной.
Ведь он отчизне помогает,
Бойцов бесстрашных укрывает —
Средь них и я живу душой.

Выразительна картина народного суда:

На землях наших, где от века
Мы шли по дедовским следам,
Где имена давали рекам,
Лесам, озерам, городам.
На эти землях враг разбитый
Найдет без гроба свой приют.

О партизанах и их борьбе Янка Купала пишет в стихотворении «Белорусским партизанам», Якуб Колас, кроме названной поэмы, дал рассказ «Партизан Купрей», стихи — «Клятва», «Засада», «Отомстим» и др. Михась Лыньков напечатал рассказы и повести — «Салют», «Детский ботинок», «Недопетые песни» и др. Илья Гурский выпустил «Лесные солдаты», «Староста», «Лесовики», «Поединок», «У огня» и др. Петрусь Бровка создал стихи и поэмы — «Кастусь Калиновский», «Партизан Бумажков», «Возвращение», «Неуловимые» и др. Кузьма Чоуный — «Смерть», «Боевое крещение», «Маленькая женщина», «Благословение матери» и др. Петро Глебоко стихи — «К белорусской молодежи», «Колхозный сторож», «Родной хлеб», «Партизаны» и др. Кондрат Крапива — «Проба огнем» и др. Пимен Панченко — «Молодой партизан», «Так начинается народный гнев» и др., Михась Мошара — «Ненависть», Антон Белевич — «Песня партизана», «Партизанская слава» и др. Максим Танк — «Осенней полночью», «Янук Сялиба», Алевс Стахович — «Неспokoйный городок», «Леса шумят». Анатолий Острейко — «Партизанские частушки», «В землянке», «Ветряк», «Звездная дорога» и др.

«Новый мир», № 3.

Картины борьбы партизан со своими угнетателями надолго останутся в белорусской литературе. В рассказе «Недопетые песни» М. Лыньков рисует взрыв железнодорожного полотна, крушение немецкого поезда. Пулеметную очередь партизаны дают под звуки песни о Ворошилове, о Красной Армии. Это была песенка, недопетая дедшакми, которых расстреляли по приказу немецкого офицера.

«И вдруг все исчезло, пропало: и трепетный свет луны, и серебристое сияние задумчивых сосен. И даже ветер, казалось, притих, умолк. Все осветилось багровым светом, и мы увидели, как передний паровоз поднялся и повис в огненном столбе — бешено крутились на месте колеса. Все это длилось какую-то долю секунды и рассыпалось, распалось в оглушающем грохоте, в тысячах громовых раскатов, всколыхнувших, казалось, само небо и землю. Бешеные вихри промчались над лесом, тяжело загудели сосны и ели, сполохом наполнились трепетные осины и березы. Когда замерло последнее эхо громового раската, слышно было, как надрывно шипел пар, что-то трещало еще, корежило, домалось. В нескольких метрах занимались робкие языки пламени, и в их отблеске видно было беспорядочное нагромождение битых вагонов, покореженных платформ, несколько уцелевших вагонов, взгромоздившихся друг на друга. Среди них было два классных. Оттуда выпрыгивали перепуганные люди, что-то кричали, кто-то вопил истошным голосом, доносились приглушенные стоны.

— Посаить их, нечистое племя... Поддай им соли, Устиныч, — крикнул через плечо командир засады».

Вот тогда-то под знакомый напев недопетой детской песенки и заговорил пулемет Устиныча. Сердце этого партизана было ожесточено: немцы убили его двух детей.

Партизанская война в Белоруссии яростна и упорна. В повести А. Стаховича «Леса шумят» немецкий полковник фон-Кюрнрих говорит: «Вы понимаете, господин бургомистр, что за народ у вас? Я прошел насквозь всю Европу... Я был во Франции, Чехословакии, Польше, Голландии, Норвегии... при этом он покоился на свою грудь, увешанную железными крестами, и нахмурил брови, будто перед ним стоял не немецкий бургомистр, а его заклятый враг, и с нарастающей злобой продолжал.— Я подавлял тысячи повстанцев, но я нигде еще не встречал такого сопротивления в тылу наших войск, как в этой Белоруссии! Это... это какой-то вулкан, а не Белоруссия!».

Герой этой повести Максим — типичный представитель белорусских партизан. Решительный, смелый, ловкий, выносливый, с военной хитростью, но в то же время добродушный.

В повести особенный интерес представляет эпизод освобождения белорусских девушек, угоняемых в Германию.

«Калистрат торопливо накинул на плечи пиджак и, не сводя с поезда взгляда, поковылял на насыпь. Через минуту он стоял на шпалах и изо всех сил, будто огромная птица

размахивала в воздухе своим старым пиджаком.

«Неужели не остановится? — молнией промелькнуло в голове Максима, когда поезд, казалось, вот-вот налетит и раздавит Калистрата...»

Евруг поезд содрогнулся и, оглушительно лязгая тормозами, сопя и вздрагивая, как раненный зверь, остановился в нескольких шагах от Калистрата...»

Девушки были освобождены и уведены в лес. В этой операции погиб старик-партизан Юстын. Смерть Юстына — одно из лучших лирических мест в произведении.

Повесть М. Стаховича представляет замечательное явление в белорусской литературе. В ней многое трактуется упрощенно, психология героев не всегда дана глубоко, многие эпизоды, как, например, взрыв Максимом школы и пленение немецкого офицера, звучат наивно, но в ней есть живое чувство, вера в победу. Ее мягкий лиризм дополняет прекрасный пейзаж, нарисованный с глубоким чувством и подлинным знанием природы.

Несомненно, выдающимся произведением о партизанах является поэма Максима Танка «Янук Сялиба». Сочно и красочно рисует поэт своих героев, родной уголок Белоруссии — Червоный Лог, приютившийся на перекрестке полевых дорог. Скупое, но выразительно нарисовано детство главного героя поэмы Янука Сялибы. Трудный путь прошел Янук от подпаса до свободного строителя жизни. И вот теперь он счастлив, село гуляет на его свадьбе с красавицей Райной.

Пируют гости, хата в пляс идет!

Счастливая, на лавке за столом

Сидит Райна рядом с Янучком.

Счастью молодых завидует Гарыдовец, он любит Райну, а она досталась другому. Война дала ему надежду.

Придя однажды вечером к себе,

Гарыдовец застал в своей избе

Гостей, что век не думал встретить он.

Среди них был старый войт — капитан Шарон, которого когда-то спас Гарыдовец, переправив его через границу. Теперь ветер войны принес этих людей снова, и Гарыдовец думает: «Господи опять мне руки развязал». Но если Гарыдовец был для оккупантов своим, то Януку, Райне, Василию, Банадьку — пришлось скрыться в лес, стать партизанами.

И у столярни старой, что ни день

Землянки, вырастали меж дерев

И много двигалось сюда людей

Из сел соседних, дальних хуторов.

Прекрасно изображает автор смелые партизанские дела Янука, с презрением относящегося к опасности и смерти. Беда подкралась неожиданно. В руки немцев попала Райна, когда она ходила в село за врачом к больному Януку.

Тут ее встретил Гарыдовец. Ярко показан мужественный характер женщины-партизанки.

Райна повела фашистов будто бы в лагерь, а на самом деле через поля, реку к глухому лесу. Она знала, где были партизанские посты, и действительно на переправе фашистов встретил огонь.

Райна рухнула. Когда ж она,

Привставши, крикнула: — Янук, Янук!

Ей эхом только дальняя сосна

Отозвалась, седую сдвинув бровь.

Лед окропила вспененная кровь...

Гул выстрелов, как дальней бури гром,

За льдиной плыл, пока ее за лес,

Минуя камни, черный бурелом, —

Не вынесло. Потом весь мир исчез!

Героической смертью Райны заканчивается поэма. Эпилог — лирическое размышление о судьбе родины, полное горестных переживаний и радостных надежд.

Поэт видит, что с запада тянутся низкие тучи, там пожар, разрушение. Поэт потрясен несчастьями, постигшими родную землю, но величественный образ Москвы дает ему радостную надежду на победу.

Знать, оттого

С тобой саиты навеки

Все мои думы и песни души

Так лишь весной сливаются реки,

Чтобы тяжелые льды сокрушить!

Читая поэму Танка, читатель видит зачарованные озера, сады, которые плывут золотым кестром, вековые дебри лесов, где растет дикая трава.

Пейзаж этот блещет переливами красок. Тут разгорятся огнем

Густою вереска медовые цветы,

Заскрилился ягоды рябин,

А меж болот, на древних мхах седых,

Раскинулись созвездья журавин.

Читатель слышит шум и звон векового бора. Полнокоვნно и полнозвучно дана природа в поэме. Ее образ близок и мил поэту.

Достойны внимания лирические отступления. Хочется указать на два места, где автор использовал народные жанры. В первых, в начале поэмы, где лед Егору рассказывает, как чорт гнал его за долги в ад, и как он обманул чорта, поджог лес и ушел от наказания. Во вторых, замечательна по поэтичности легенда столяра Банадька о музыканте Кулике. Здесь бог и чорт спорят о том, кому принадлежит музыкант, и решают предоставить выбор самому Кулику идти в ад или в рай.

Но музыкант не идет ни в ад и ни в рай, а идет домой, на Полесье стежкой прямой. С тех пор смерть ходит за Куликом по всем дворам.

Нет-нет да спросит: — Может, уж пора

Тебе на небо? — Нет, к чему спешить,

Еще у чарки я не вижу дча... —

И будет, верно, он навеки жить,

Друзьям — на радость и на славу — нам!

Здесь великолепно передано ощущение радости бытия, выраженное с чисто народным юмором и простотой.

Идейность, глубина и оригинальность трактовок, своеобразие и художественность образов делают поэму Максима Танка заметным явлением среди произведений эпохи Отечественной войны.

Партизанской теме посвящены и произведения И. Д. Гурского. Наиболее интересными из них являются повесть «Лесные солдаты» и рассказ «Лесовики». В этих своих вещах И. Гурский показывает нам героическую борьбу белорусских крестьян с немецкими захватчиками. Кошмары фашистского господства, сознание своего человеческого достоинства, жажда мести — заставляют мирных людей уходить в леса, делаться лесовиками — лесными солдатами. Рассказы И. Гурского написаны живым, красочным и образным языком, в них есть трогательные детали, перерастающие в символические обобщения.

Рассказы И. Гурского, однако, не лишены недостатков. К ним относятся повторяемость приемов и некоторая прямолинейность в описании психологии героев.

Партизанская тема в белорусской литературе перерастает в тему мщения, всеобщей героической борьбы с немецкими захватчиками. В рассказе Кузьмы Чорного «Отец» показана героическая психология не только старика-отца, но и его дочери и внучки. Немцы замутили маленькую Настячку. «Счастлива та мать, которая ляжет в могилу прежде, чем таким увидит свое дитя». Немец сказал матери:

«— Где твой брат? (Мать молчала, дрожала). Твой брат дома! Где он? Ты не скажешь? Если ты не скажешь, она (он ткнул пальцем Настячке в лицо) сейчас будет мертвая.

Ей нужно было выбирать между двумя родными, любимыми, дорогими. Сердце ее не вмещалось в груди».

Когда старик отец вернулся домой, он нашел внучку и дочь мертвыми в сарае, а в его хате хозяйничали немцы. Жажда мщения и ненависть опьянили старика: ударом заступа он убил немца, трудившегося над кадкой с салом, и нанес страшную рану другому. Писатель умело рисует нам психологическое состояние немца и старика.

В рассказе «Смерть» Кузьмы Чорного дано два образа — немца Клебера и предателя Патеичка. Движимый безумным чувством страха, Клебер бежит с поля боя в лес. «Он представлял собою странное зрелище — мокрый, одежда разорвана, лицо ободрано до крови. Он был без шапки. Над ушами в разные стороны торчали редкие кустики волос, на самой макушке, на круглой лысине чернея рубцом запекшаяся кровь: видимо, он сцарапался о сухой сук. Он часто дышал, колени его дрожали». В голове его был хаос мыслей и все недавнее пошло перед ним: бой, казнь партизана, лица родных и солдат, лицо предателя, который стоял под

виселицей и подтверждал, что он знает партизана. Каждый шорох вызывал у Клебера ужас, и вдруг он увидел этого предателя — Патеичка.

И немец, и Патеичик обрадовались друг другу. Каждый из них видел спасение в другом, и ни один из них не мог понять, что спасения нет. Чувство взаимной связи переросло в чувство подозрительности и вражды. Патеичик отнял у немца автоскат и свой хлеб, который тот захватил. Так, связанные чувством ненависти друг к другу и страха перед партизанами и Красной Армией, бродили они по окрестным лесам, пока окончательно не выбились из сил и не погибли: один на поле, другой — в лесу.

Кузьма Чорный прослеживает переходы, рождение мысли и чувства, глубоко проникая в психологию своих персонажей. Это самая интересная сторона его таланта.

Тему непокорности советских людей разрабатывает и Михась Лыньков в рассказе «Салют» и повести «Смерть за смерть». Напечатанные главы этой повести представляют большой интерес.

Война гонит людей на восток. Все они, взрослые и малые, обречены на нечеловеческие страдания. Людей немцы согнали с дороги на берег реки. Два солдата хитрили обесчестить девушку, ее мать, — зацпищая дочь, разбила немцу голову каской. Это был сигнал к расправе. Здоровых мужчин, в числе которых был также Игнат, немцы отправили на работу, брата несчастной девушки — комсомольца — тут же застрелил командант. «По сердцам людей прошел колючий холодок и нечто похожее на упрек, на угрызение совести: вот нашлось мужественное сердце, которое лопнуло в глаза смерти и отошло в небытие, не запятнав достоинства человека, славы земли родной. Может, и напрасным был этот вызов смерти, но кто бросит упрек на безвременную могилу человека?»

Немцы придумали дьявольскую штуку: они решили утопить людей в реке. «Это у него называется охотой на водоплавающих: пойдем; поглядим... — звал офицеров щеголеватый лейтенант, протирая перчаткой золотое пенсне». И вот страшная картина: «люди сползали, срывались с кручи. Сверху сыпался песок, сухая, желтая глина, разный мусор. Над берегом поднялся детский плач, надрывное голошение женщин. Проклятия, ропот, глухие молитвы смешивались с криками, с угрозами стоявшего наверху человека с коричневым пятном на щеке».

Большинство нашло в реке свою могилу. Героиня рассказа Надя вместе с мальчиком Васильком вынесена водой на берег.

— А мамка где? Где все люди, что были с нами вместе? — и детское личико нахмурилось, — он готов был заплакать». Отдохнув, Надя пошла дальше. «В лесу было тепло, тихо. Где-то недалеко куковала кукушка, над поляной звенел лесной жаворонок, промелькнул на сухом дереве пестрый дятел, ловко

взбираясь по стволу. Все было таким родным и знакомым до мельчайшего листика, до птичьего перышка, пристающего к веточке березы, что Надя вздохнула глубоко-глубоко. Все пережитое, виденное в эти дни, словно отшло куда-то далеко, растаяло, как страшный и нелепый сон».

Большой мастер художественного слова М. Лыньков убедительно и красочно рисует картины человеческих страданий.

Белорусский народ — герой. В его истории было немало великих испытаний, которые выковали его волю и мужество. Широкой популярностью пользуется имя Кастуся Калиновского. Поэт Петро Бровка посвятил этому герою свое стихотворение:

В земле белорусской
По селам летят отголоски:
— Кастусь Калиновский,
Явился Кастусь Калиновский.

Кастусь страшен и неуловим для врагов:

Пусть рыщут, пусть ищут
Его по-над берегом Гайны,
Хранит Беловежская пуша
Друзей Калиновского тайны.

Он мстит за страдания народа. Его рука настигает злодеев везде.

И если у Буга
Он с саблей протянутой встанет —
Врага по-над Припятью дальней
Достанет...
Он пулей догонит
Врага в Белостоке и в Бресте.

Великая Отечественная война выдвинула немало героев белоруссов и среди них прежде всего надо назвать имя капитана Гастелло, о котором народ создал уже много легенд. Белорусская литература не могла пройти мимо этого замечательного образа, так же, как не прошла она мимо героев К. Заслонова, М. Сильницкого, Т. Бумажкова, Т. Полавеця, Феди Смолячкова.

Миколу Сосновскому посвятил свою балладу Пимен Панченко. Это рассказ о герое-белоруссе, который своим телом закрыл дуло немецкого пулемета и тем самым дал возможность овладеть дотом.

Особенностью белорусской литературы эпохи войны является ярко выраженный социальный пафос, народный лиризм. Сама природа встала против фашистских варваров, она как могущественная сила помогает белорусскому народу в его борьбе против поработителей. Картины природы в прозе и стихах полны чувством гнева. Поэт А. Острейко пишет:

Бушуй, мой Неман, рви, сердитый,
Оковы хищного врага...

Костями тевтонскими покрыты
Твои седые берега.

Бушуй же гневом, Неман милый,
Вскипай и мщением звени,
На дно, на холодную могилу,
Врагов заклятых хорони...

Неман и Днепр, Березина и Припять, небо и земля, поле и лес, сад и трава — мстят немцам.

Недругов поят отравой криницы.
В щебете птиц им мерещится гром,
Каждый пригорок снарядами свищет.
Колет глаза им пшеницы зерно.
Страшною мезтью грозят пепелница.
Немцами устлано Немана дно.
Каждое яблоко стало грахотой,
Саблей — травинка, засадой — кусты.
Вышла на бой для суровой расплаты
Ты, Беларусь моя гордая, ты!

Борьба развернулась не на жизнь, а на смерть. Мысль белорусских писателей постоянно возвращается к родным местам, городам, к людям. Там, на родине, страдают земляки-белоруссы, они ждут часа своего освобождения. Многие увезены на каторгу в Германию и с тоской и великой надеждой смотрят на восток, откуда придет избавление. Удивительно глубоко выразил чувства девушек, увезенных в рабство, поэт Аркадий Кулешов в «Письме из полоня» —

Я рабыня, рабыня, я черная, черная,
черная,

Любый мой,
Не с тобой,

А с проклятой бедой обрученная...

Худо на чужбине, худо в неволье на родше, которая лежит под немецкой пятой.

Особым разделом белорусской литературы Отечественной войны является фольклор и сатира. С начала войны выходит боевой листок «Раздавим фашистскую гадину», где метким, как снайперская пуля, словом, острым стихом, статьей разят белорусские писатели немецко-фашистских захватчиков.

Тяжелые испытания не сломили волю народа к борьбе. Красная Армия освобождает белорусские земли. Белоруссия скоро снова станет свободной, и сбудутся предсказания песнетворца белорусского народа Янки Купалы:

Очистим мы леса и поле,
Не будет гитлерова следа,
Вернет и счастье, и волю
В наш обновленный дом победа.
Залечим раны. Станет раем
Все, превращенное в руины,
Зажмем над нашим юным краем
Мы свет невиданный и дивный.

О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАШИХ ДНЕЙ

С. Я. МАРШАК



Большая русская литература всегда ставила перед собой воспитательные и просветительные задачи в самом широком смысле этого слова. Но и более узким и конкретным вопросом — вопросом о воспитании детей — занимались крупнейшие писатели века.

В одну эпоху это был Виссарион Белинский, в другую — Лев Толстой, в третью — Максим Горький. Все они, каждый по-своему, много и заботливо думали о том, какую книгу дать в руки человеку, начинающему жить. Эту традицию великой русской литературы надо сохранить. Вопрос о воспитании будущих поколений сейчас важен, как никогда, и мы знаем, какая роль в воспитании принадлежит детской книге.

Мы хотим воспитать своих детей патриотами, настоящими гражданами социалистического государства, искусными строителями и мужественными бойцами, воспитать в них силу ума и воли, сердца и воображения. Мы хотим, чтобы они знали свое прошлое, знали и любили свою страну.

У Толстого, у Льва Николаевича, есть одно произведение в высшей степени замечательное, хоть и не очень известное. Написано оно на ту же тему, что и «Война и мир» — об Отечественной войне 1812 года, но для детей.

Толстой рассказал как-то деревенским школьникам, своим ученикам, всю эпопею войны с Наполеоном.

По уговору со школьным учителем он рассказывал им русскую историю «с конца», то есть с новейших времен, а учитель — «с начала» — с древнейших.

История «с конца» занимала слушателей гораздо больше, чем история «с начала», — может быть, именно потому, что «с конца», а скорее всего потому, что рассказчиком был Лев Толстой.

Он начал свою историю с французской революции, рассказал об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне.

«Как только дело дошло до нас, — пишет Лев Николаевич. — со всех сторон послышались звуки и слова живого участия.

— Что же, он и нас завоюет?

Когда же не покорился ему Александр, все выразили одобрение. Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, все замерли от волнения.

Немец, мой товарищ, стоял в комнате. — А, и вы на нас! — сказал ему Петька..

Отступление наших войск мучило слушателей так, что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? И ругали Кутузова и Барклая:

— Плох твой Кутузов!

— Ты погоди, — говорил другой..

Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов. — все загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество — отступление неприятеля.

— Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить, — сказал я.

— Окарячил его, — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы.

Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга.

— Так-то лучше! Вот те и ключи.

Потом я продолжал, как мы погнали француза.

Как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате:

— А, вы так-то! То на нас, а как сила не берет, так с нами.

И вдруг все поднялись и начали ухать на немца так, что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа.. торжествовали, пировали..»

На этом кончает Толстой свою историю Отечественной войны для детей.

Расходился его слушатели разгоряченные, взволнованные, полные боевого пыла.

«Все полетели под лестницу, кто обещая задать французу, кто укоряя немца, кто повторыя, как Кутузова его окарячил».

В заключение Толстой приводит очень любопытный свой разговор с немцем, на которого ребята «ухали». Немец не одобрил рассказа Льва Николаевича.

— Вы совершенно по-русски рассказывали, — сказал он. — Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рассказывают эту историю».

Толстой ответил ему, что его рассказ — не история, а сказка, возбуждающая народное чувство.

Я привел здесь этот отрывок из рассказа Льва Толстого потому, что вижу в нем магический ключ к настоящей детской литературе, ключ, необходимый каждому из нас, пишущих для детей.

Толстому удалось труднейшее дело — превратить в сказку повесть об Отечественной войне и в то же время сохранить правду истории. Для того чтобы это сделать, нужно было владеть материалом «Войны и мира» и отлично понимать особенности читателя-ребенка.

Сердцу и сознанию этого читателя больше всего говорит сказка — и волшебная сказка и сказка-быль.

И та, и другая может рассказать обо всем на свете — о краях и народах, о морях и звездах, о том, что близко, и о том, что за тридевять земель, о временах нынешних и давно минувших.

Толстому удалось историческая сказка. И как в настоящей, в народной сказке тут сначала — горести и беды, а в конце счастливый.

«...мы проводили Наполеона до Парижа... торжествовали, пировали».

Нехватает только: «И я там был, мед-пиво пил».

Большой охват событий в быстром, даже стремительном темпе, с высокими подъемами и крутыми спусками, с живым, неподдельным чувством рассказчика, со смелыми обобщениями и выводами, — все это одинаково необходимо и хорошей сказке для младшего возраста, и романтической юншеской повести.

Стремительный темп вовсе не означает беглости и суетливости. Рассказчик может быть нетороплив и обстоятелен, но никакие подробности не должны заслонять у него главного, резкого контура идеи и сюжета.

Только тогда идея и сюжет повести оставляют глубокий и долгий след в памяти читателя. Только тогда они его организуют, и воспитывают.

А для этого у автора всякой книги должна быть своя, хорошо осознанная концепция — философская, и политическая, и поэтическая.

Сейчас, во время Великой Отечественной войны, нам особенно нужны для детей сказки, «возбуждающие народное чувство».

В эти военные годы у нас появилось немало детских книжек о людях, сражающихся за родину, об их замечательных подвигах, о беспримерной смелости и самоотверженности. Есть среди этих книжек добросовестные, трогательные, полюбившиеся читателю если не поэтическим своим качеством, то своей темой и фактами, о которых в них говорится.

Мы, разумеется, не вправе ни от кого тре-

бовать мастерства и блеска, с каким написан «Кавказский пленник» Толстого. Каждый дает, что может. Но хотелось бы, чтобы авторы детских книжек по примеру Толстого отчетливо осознали жанр, над которым они работают, и его задачи. От этого их книги стали бы более детскими, а следовательно, были бы лучше не только в педагогическом, но и в литературном отношении.

В нашей литературе для взрослых военная тема чаще всего находит свое выражение в очерке. Но у нас уже есть и крупные драматические произведения, и повести, и целые поэмы, и баллады на фронтовые темы.

А вот в детской литературе, где сюжетная повесть и рассказ особенно важны, этого еще очень мало.

Даже в такой интересной, насыщенной событиями книге, как «Степан Полосухин» Леонида Соловьева, достигают настоящего напряжения и заставляют читателя жадно развлекать только те страницы, где Степан Полосухин со своими боевыми товарищами влетает на удалом маленьком катере в бухту Бердянского порта, занятого неприятелем.

Полны напряжения и последующие страницы, где маленький экипаж катера дерется с немцами, прибывшими на трех грузовиках, и не подпускает их к своему поврежденному суденышку. Читатель, какого бы возраста он ни был, с глубокой тревогой следит за каждым поворотом этого героического боя, нетерпеливо ожидая той минуты, когда мотор на нашем катере снова заработает, застучит.

Но дальше повесть утрачивает свое напряжение, тяготеет к биографии, хронике, и герой ее, который в начале книги обещает быть индивидуальностью, характером, в конце концов остается контуром, очерченным только общими, хоть и типическими для нашей молодежи чертами.

За эту книгу автору будет очень благодарны многие юные читатели, но стать их постоянным спутником и героем Степан Полосухин вряд ли может.

А ведь книга Соловьева — одна из наиболее сюжетных в детской литературе о войне. Свой ползаголовок — повесть — она оправдывает, хотя бы тем, что охватывает целый период в жизни героя.

В детской беллетристике наших дней преобладает сейчас полурассказ-полвочерк. Очень типична в этом смысле книжка Георгия Березко «Красная ракета».

В обстановке и положениях этого рассказа-очерка много подлинного драматизма. Кучка храбрецов, занявшая по приказу командования школу на окраине деревни, посылает в небо белую ракету и в ответ ждет красной, которая должна быть сигналом общего наступления. Сигнала все нет и нет, а в ожидании его люди бьются, гибнут, отражают яростные контратаки и все нетерпеливее смотрят в ту сторону неба, где должна взвиться красная ракета. Все на своем посту, все готовы умереть, чтобы исполнить долг, — и командир

подразделения, и связанной, и девушка-санитар-структур.

Сюжет выбран и намечен удачно. Умело ограничено время действия — между двумя сигнальными ракетами, красной и белой. — и площадка действия — полуразрушенный школьный дом.

Чем строже ограничены условия места и времени, тем напряженнее действие.

И, однако, нельзя сказать, чтобы книжка Березко могла целиком захватить непосредственного юного читателя. Впечатление ослабляется медленным, несколько даже вялым темпом, недостаточной определенностью языка и характеров. Может быть, излишняя, скрупулезная добросовестность описателя событий больше всего помешала в этой книжке belletrисту, рассказчику. Читатель — и взрослый и ребенок — очень любит подробности, но при том лишь условия, если они не мешают темпу.

Хроникальность — вот основной недостаток наших военных книжек для детей. Ни одна из них не может быть названа «сказкой», возбуждающей народное чувство» в толстовском смысле, а это то, что нам нужно больше всего.

В детской повести о войне следует избегать нагромождения ужасов. От юных читателей незначит скрывать суровую правду войны, многие из них ведь и сами были свидетелями, участниками и жертвами грозных событий. Но наряду с тем жестоким, что несет с собой война, и может быть даже в первую очередь, надо показать ребенку то лучшее и светлое, что нам открылось в человеке на фронте — его великодушие, самопожертвование, верность и преданность долгу, терпение, выдержку, беззаветную храбрость, находчивость в самую трудную минуту.

Все это показано в нашей детской литературе недостаточно ярко и убедительно.

Очень привлекательную книжку дал маленьким детям Лев Кассиль вместе с художником Ермолаевым. Книжка называется «Твои защитники». Хорошие рисунки, четкий, лаконичный текст. Нужно сказать только, что чрезмерное обилие тем в рассказах, прядущее им некоторую белогость, является существенным недостатком книги. Трудно на нескольких страницах рассказать обо всех видах оружия. Но эта книжка своеобразная и вполне детская. Дети смотрят рисунки и читают текст с настоящим увлечением.

Есть отдельные неплохие страницы в книжке Заречной о Зое Космодемьянской. Много живости, темперамента и даже лихости в рассказе Успенского «Скобяр». Но той романтической, просторной и целеустремленной повести-эпопеи, полной событий и чувств, которая так соответствует запросам юности, у нас в сущности еще нет. А ведь материала для нее больше, чем нужно.

В книгах для детей мало чувств, мало воображения.

Недавно на писательском совещании один из поэтов говорил о «Ромео и Джульетте». Он назвал пьесу Шекспира «тишайшей». Непонятно,

как можно называть тишайшим произведение, в котором бушует такая буря чувств. В «Ромео и Джульетте» говорится не только о любви и верности до гроба. Там есть борьба юных, но сильных своей любовью людей с жестокими предрассудками целого рода.

Сложные и большие чувства человека состоят из простых чувств — из любви к другу, к жене, к своему дому, к своей речке, к своему лесу. Этого не надо забывать. У героев Краснодона, поднимающихся до таких великих чувств, были и эти простые чувства, и, быть может, они-то и лежали в основе их патриотизма, их подвига.

Мы должны воспитывать в наших детях чувство красоты, потому что иначе их легко можно будет прельстить жалкой мишурой, блестящими побрякушками, которыми соблазняет слабых людей враг. Им надо говорить о любви, потому что иначе они могут принять за любовь какие-то плоские и легкие чувства, которые достаются человеку дешево.

Нет, мало, скупо пишут о любви в наших юношеских повестях. Возьмите того же «Степана Полосухина». В этой повести есть и любовь, — правда, как побочная тема, — любовь моряка к спасенной им девушке. По замыслу автора это благородная первая любовь.

Но посмотрите, какие слова нашел автор для проявления чувств своего героя. Их можно выписать на одной страничке, и они покажутся очень элементарными: «Он как-то заволновался, почувствовал прикосновение теплой руки» (стр. 94). Или: «И странное дело: это легкое прикосновение к ее локтю наполнило его непонятным и смутным волнением» (стр. 33). Или: «Вера нашла в темноте его руку и жвала крепко. Он задохнулся, почувствовал сухой жар в щеках» (стр. 86).

Эта элементарность в выражении чувств — существеннейший недостаток наших книг для юношества. Надо давать их так щедро и сложно, как это делали великие классики мировой литературы в своих романтических поэмах и романтических повестях.

Щедрость чувств нужна не только в юношеской, но и в детской книге. Но там они, эти чувства, должны быть еще крупнее, отчетливее, проще. Однако простота не есть примитивность. Это понимают и сами дети. Недаром один из юных корреспондентов писал Горькому: «Писатели, пишите проще, понятнее и сложнее». Другими словами, простота заключается в чистоте, ясности, прямоте чувств, а не в примитивности и не в элементарности.

Пожалуй, писателям, берущимся за исторические темы, в этом смысле больше повезло. Дети старшего возраста с удовольствием и увлечением читают роман Голубова «Багратион». Голубов дает образ военачальника 1812 года, ученика Суворова, генерала-солдата. В повести много русских людей разных слоев и разных характеров, и все они связаны одним патристическим порывом. Пусть в характерах романа Голубова есть некоторая условность, а в манере приподнятость, не всегда оправданная содержанием, но книга вводит

читателя в значительную для нашей истории эпоху и выполняет свою главную задачу — дает ощущение и знание нашего прошлого.

Маль, что юношеских книг по истории у нас мало. В отрочестве они еще нужнее, чем в зрелости. Большинство из них, например, хорошая историческая повесть Шишовой «Джек-Соломинка», предназначено для самого старшего возраста. А вот для младших ребят, для тех, кому Толстой рассказывал про Отечественную войну 1812 года, у нас совсем нет исторических книг. Не будем думать, что это невыполнимая задача.

Но задач у нас так много!

Где детские книги о родине — о ее реках, лесах и горах? Ведь о Волге, наверно, можно написать книгу не хуже, чем «Жизнь на Миссисипи», а рассказы об Урале, об Алтае и Сибири могли бы поспорить в успехе с романами Купера, с повестями Киплинга и Джека Лондона. Вся географическая карта нашей страны, которую за военное время мы так хорошо и подробно изучили по боевым сводкам, могла бы быть ярко запечатлена в детской художественной книге, в тексте и рисунках.

Часто, когда слушаешь военную сводку, перечисляющую множество городов, местечек и населенных пунктов с великолепными древними названиями, начинаешь понимать, в каком долгу мы перед нашей страной. Нужно, чтобы писатели рассказали обо всех этих городах и городишках, названных и неназванных, о земле, на которой они стоят, о том, как они строились, жили и боролись.

А где у нас жизнеописание героев и великих людей, прославивших нашу страну? Недавно в Детгизе вышли в переработанном виде хорошие, лаконичные и правдивые рассказы о Ленине Кононова. Но ведь не исчерпывают же огромной ленинской жизни эти немногие странички. А биографиями писателей почти всегда занимаются литературоведы, — я их очень уважаю, они много знают, но, кажется, не знают главного — того, что хорошо знал очень наивный и не очень точный автор старинных повестей «Пушкин-лицейст» и «Гоголь-лицейст» — старик Авенариус.

Пока что мы не создали и хорошей, любимой ребятами школьной повести, то-есть увлекательной биографии школьника, написанной для него самого, неподслащенной, незасахаренной и оптимистической.

Детский быт умеет изображать Аркадий Гайдар. Умеет Алексей Пантелеев. Посмотрите его недавний ленинградский рассказ «На яликке» и короткую школьную повесть «Новенькая». Многие могут сделать в этой области Валентин Катаев. Его «Белеет парус одинокий» — до сих пор одна из самых любимых детских книг.

Мне скажут, трудно писать о школе во время ее Перестройки. У нас появились новые школы, — ремесленные, суворовские. Средняя школа разделилась на мужскую и женскую с несколько различным бытом и укладом. Все

это еще не отстоялось, не приобрело еще отчетливых и бытовых форм.

Это, конечно, так, но есть путь к изображению всего нового, возникающего, растущего. Это поэтическая литература, которая умеет предчувствовать и воображать. Именно такую литературу дети больше всего и ценят. Только она и может воспитывать в них нравственное чувство, высокую мораль, и притом воспитывать средствами, свободными от унылой дидактики.

В одном из последних рассказов Федин — четырнадцатилетний мальчик-партизан, успевший захватить в плен десяток немцев — когда по-одному, а когда и под два, — с любопытством спрашивает у писателя:

— Вот вы сегодня читали рассказ. Что это, правда или вы это придумываете?

— Зачем придумывать, — ответил ему писатель, — правда интересное всегда придумаю.

— Да, как бы не так, — протянул мальчик с явным недоверием.

Это «как бы не так» полно совершенно ясного, отчетливого содержания. Чем, какими чудесами и невероятными событиями можно удивить и убедить этого мальчика, уже столько пережившего и переживавшего на своем веку? Его не обманешь, не проведешь на мякине. Легковесной приключенческой беллетристике он не поверит.

И если он требует от писателя «придумки», это значит, что в книге ему хочется увидеть жизнь шире, поэтичнее и еще осмысленнее, чем он увидел ее сам, своими глазами.

В этом-то и заключается секрет настоящей детской сказки и юношеской повести.

Мы часто пишем для детей рассказы, предназначенные скорее для взрослых, чем для них, или детские книжки, слишком схематичные, чтобы дети в них по-настоящему поверили. Мы даем им частные случаи, короткие эпизоды, а растущему человеку нужно что-то очень просторное и быстро развивающееся.

В сущности, самая короткая народная сказка — это очень большая повесть, только обобщенная до коактности.

То же относится и к стихам.

В последнее время появились новые стихи Михалкова, живые, доходчивые, до краев полные сегодняшним днем. Особенно примечательны среди них «Быль для детей» и «Данила Кузьмич» — современный «Мужичок с ноготок».

Новую книжку лирических стихов «Островок на Каме» написала Зинаида Александрова. В этих стихах отразилось то, что испытали тысячи наших женщин и детей, разлученных войной, увидавших новые для них края родной земли, страстно ждущих того, чего ждет вся страна, — победы, и помогающих победе в меру своих сил.

А. Барто написала удачные стихи о маленьких рабочих нынешнего и будущего дня — о наших ремесленниках — и стихи о школьниках-первоклассниках.

Это все несомненные успехи нашей детской литературы. Но и здесь надо пожелать того же, чего мы желаем нашей прозе: побольше

воображения, побольше чувства, побольше сюжета, даже в самой маленькой книжке, даже в самой короткой песенке или стихотворении. Ближе подошел к жанрам, любимым детьми, детский театр. В пьесах для детей, очень различных по теме и по качеству, много романтики, которая так привлекает юного читателя и зрителя.

Может быть, это потому, что театр, встречающийся с детской аудиторией в буквальном смысле лицом к лицу, не может не знать, что нужно ребенку и что его интересует.

Театр — яркий праздник в жизни ребенка, каждый спектакль оставляет глубокий след в его памяти. Но до сих пор хороших спектаклей у нас было больше, чем хороших пьес. Однако, в последнее время можно говорить о некотором урожае и в этой области.

Опытный и талантливый детский драматург Евгений Шварц дал пьесу «Далекий край» — о детях Ленинграда, эвакуированных в далекий край и мечтающих воевать за Ленинград. Они и в самом деле воюют за свой родной город, но не на ленинградском фронте, а на колхозном поле.

Старый ветеран детской драматургии, серьезная и вдумчивая писательница А. Я. Бруштейн дала детскому театру новую сказку «Король-паук».

Т. Гаубе написала большую драматическую сказку «Город мастеров», интересную по теме и тонкую по мастерству.

Драматург Алексей Симуков дал содержательную пьесу «Отважное сердце».

Всех пьес я не могу перечислить, но по тем из них, которые включены в репертуар театров, видно, что дело детской драматургии на подъеме.

Следует сказать хоть несколько слов о наших научно-художественных, научно-популярных и технических книгах. Их тоже далеко недостаточно, но все же успехи в этой области могут нас радовать.

Научно-познавательная книга для детей должна быть художественной книгой. Ведь ребенка привлекает только то, что захватывает его воображение. Вот почему мы можем смело причислить к познавательной детской литературе книги такого знатока и поэта русской природы, как Михаил Пришвин. Большинство рассказов его из книжки «Лисичкин хлеб» — «Говорящий грач», «О чем шептались раки», «Еж» и другие — могут и должны войти в наши хрестоматии.

Хорошо пишут о родной природе Виталий Бианки и Евгений Чарушин, сочетающий в одном лице и писателя, и художника-графика, иллюстрирующего свои книги.

Один из пионеров научно-художественного жанра М. Ильин — совместно с писательницей Еленой Сегал — заканчивает в настоящее время вторую часть большой книги «Как

человек стал великаном» — о культурном и техническом прогрессе человека, который усилил и удлинил до трудно вообразимых пределов свое зрение, слух, ноги, руки, о том, как человек меняется сам в процессе труда и меняет все вокруг себя.

Техническая книга для детей, естественно, уделяет главное внимание во время войны технике войны.

Детиз выпустил книгу Орлова — «Разящие лучи», о прожекторе и звукоуловителе, о маяке и светофоре.

В книге Орлова много достоинств. Это смелая книга. Она объясняет связь между разными открытиями, которые детям могут показаться далекими друг от друга. Она полемизирует с другой юношеской книгой — «Гиперболоид инженера Гарина», а это непривычный, и, я думаю, полезный прием. Пусть дети задумаются и решат сами, на чьей стороне научная правда.

У нас уже научились писать детские технические книги интересно, занимательно и в то же время точно и правдиво.

Талантливый писатель Абрамов, недавно умерший, создал вместе с Долгушиным хорошую книжку об оружии пехоты — винтовке, автоматическом оружьи, о пулемете и об «артиллерии пехоты» — миномете.

О химической войне написал Нечаев.

Словом, техническая литература у нас появляется, но этого мало. У нас почти нет научно-фантастической беллетристики, которая по существу более всего привлекательна для ребенка и подростка. Конечно, сейчас гораздо труднее писать научные романы и повести, чем во времена Жюль Верна: наука и техника стали много сложнее и богаче. Но значит ли это, что можно сложить оружие?

Подводя итоги, я сказал бы, что детская литература у нас развивается. Но следует помнить, какие огромные задачи стоят сейчас перед ней. Мы должны не только радовать детей случайными подарками, — мы обязаны дать им нечто насущное, настоящее — больше мысли и больше чувства, мы должны участвовать в формировании их мировоззрения.

Вся наша жизнь последнего времени сосредоточена на одной цели, на одном желании — покончить поскорее с врагом, уничтожить его физически и морально, чтобы самая тень фашизма никогда больше не омрачала землю.

Величайший долг каждого из писателей — участвовать в этом святом деле военного и морально-политического разгрома фашистских сил.

Наша война — это борьба за будущее поколение свободных и счастливых людей.

За них воюет наша великолепная армия, направляемая гением Сталина. Им, детям будущим поколениям, мы должны отдать весь свой опыт и все свое умение.

Не привел за собой,
 Не принес для детей
 Ни игрушек ч ни сластей.
 Лишь от каждого глаза принес
 По пригоршне соленых слез.
 Но никто этих слез не попросит, —
 Их у матери досыта.
 Нет, не этап приду я в свой дом, —
 В новой каске приду, со штыком,
 Не скитальцем и не бедняком, —
 А всйду я хозяином в дом,
 Солнце в дом
 Принесу, а не ночь.
 Молоком
 Напью свою дочь,
 Посажу тогда сына я
 На живого,
 Боевого
 Коня.

Поэма Аркадия Кулешова учит стой-

кости и верности знамени. В этих качествах поэт видит залог победы. В эпиллоге поэмы бригада, казавшаяся погибшей, вступает на родную белорусскую землю, очищая ее от фашистских захватчиков. Бригаду ведет прежний командир ее — полковник Зарудный. Пронесенное сквозь все испытания бригадное знамя снова реет над бригадой и ведет ее в бой: Строгий, сдержанный поэт Аркадий Кулешов с огромным волнением говорит о родной Белоруссии.

В этих стихах традиционный образ горстки родной земли, широко распространенный в нашей фронтовой поэзии, поэтически отвергается: «Что им горстка земли, если вся им нужна непреложно?»

Заключительные строки поэмы утверждают волю народа, которому нужна не всякая жизнь, но жизнь на освобожденной советской земле.

Григорий ЛЕВИН



ДАЛЕКО НА СЕВЕРЕ*

Врачам, сестрам, санитарам «Карельского фронта» посвящена эта повесть Юрия Германа. Написанная в форме дневниковых записей санитарки Наташи Говоровой, она рисует суровые фронтовые будни, бессонные ночи, бомбежки, обстрелы и труд — непрерывный, тяжелый и самоотверженный труд санитаров. Один за другим проходят перед читателями образы раненых бойцов и командиров, тех, кого вынесла с поля сражения Наташа со своими товарищами и подругами.

Вот капитан Храмцов, на котором, когда его приносят в операционную, «почти нет живого места, только лицо и голова не ранены».

Едва оправившись после ранения, он снова возвращается в свой батальон.

Вот молодой лейтенант Перехрест, которого Наташа под минометным огнем на коряге переправила через болотную воду и потом волокла на спине. От него впервые она услышала «прекрасное слово — сестрица».

Вот также спасенный ею раненный военфельдшер, «тяжелый очень дядька, сердитый, каждую минуту вырывается и говорит, что сам пойдет, а сам идти не может, падает».

Много искреннего участия, тревожной, заботливой любви вложила Наташа в каждого из них, она чувствует, что словно сроднилась со «своими крестниками, измученными, заросшими, промокшими, продрогшими. Вместе с ними она делила все опасности, трудности и беды. Одна цель — любовь к родине, к родному Ленинграду объединила их, свя-

зала неразрывными узами, что крепче всякого родства и братства. И одна крылатая фраза, как пароль и приветствие повторяется всеми ими при встречах и при расставаниях:

— В шесть часов, после победы, в Ленинграде, под аркой главного штаба!..

В центре повести образ Наташи Говоровой, от имени которой и ведется повествование. Картины фронтовой жизни, фигуры врачей и бойцов, — все это предстает перед нами, пройдя сквозь призму ее сознания, все это словно согрето ее волнением, ее переживаниями, радостями и печальями.

Наташа принадлежит к тому поколению, которое выросло, созрело и закалилось на войне. 22 июня 1941 года — это как бы вторая дата ее рождения, «последний день старой жизни», как она ее называет. Работа на фронте — ее первые самостоятельные шаги в жизни.

В начале повести характер Наташи не лишен еще некоторой детской наивности. Нужно сказать, что, изображая эту черту героини, писатель утрачивает чувство меры и наивность Наташи становится назойливой. Например, она представляет себе начальника человеком, который «сидит у себя в конторе и вокруг него телефоны, и он по телефонам кричит: «запрещая! Ни в коем случае! Снять с должности войны, Наташа не только не утратила своей искренности и отзывчивости, но, наоборот, натура ее стала еще более человеческой. И поэтому, когда кончается ее работа в качестве санитарки и она становится сестрой, она чувствует, что закончился большой и значительный период в ее жизни. Она с благодарностью вспо-

* Ю. Герман, повесть, «Молодая гвардия», 1943 г.

минает пройденную суровую школу, медсанбат, в котором работала, госпиталь, в котором училась, и людей, которых видела на этом самом северном в мире фронте».

Образ Наташи нарисован автором с большой искренностью, теплотой и лиричностью.

Выразительны и образы наташинных товарищей по работе — хирурга Русакова, операционной сестры Анны Марковны, «мамы Флеровской», Шурика Зайченко.

Юрий Герман хорошо владеет искусством очерчивать образ скрупулезно, но характерными и меткими деталями. Отказываясь от распространенной и обобщающей авторской характеристики героя, он стремится в нескольких словах воссоздать его портрет и наметить характер. Вот, например, как знакомит Герман читателя со своим героем—Шуриком—в начале повести: «Милый Шура, который никогда в своей жизни не прыгнул на ходу с трамвая, который не умеет плавать, не курит и пище самой смерти боится американских гор».

Но не эта предварительная характеристика создает образ. Он создается постепенно, в ходе всей повести, складываясь из многих поступков, из всего поведения действующего лица. И часто оказывается, что первое впечатление о том или ином человеке обманчиво, что его внутренняя сущность не соответствует первому впечатлению.

Так, Шурик сначала предстает перед нами, как «беззащитный в своих огромных очках, с короткой ногой, шепелявый. Вот уж, действительно, «тридцать три несчастья»! И этот неловкий, робкий и чудаковатый юноша в решительную минуту находит в себе достаточно мужества и самообладания, чтобы спасти раненого бойца-сибиряка и уничтожить немца. Он совершает смелый поступок и получает медаль. «Ну, кто бы мог подумать?» — удивляется Наташа.

Наоборот, Боря Вайнштейн, который с первого же дня войны принимает сгубо военный вид: «ремни, полевая сумка, бинокль», сыплет фразами вроде: «скорее бы на фронт! Руки чешутся хорошенько надавать этим мерзавцам», этот «оптимист-говорун» оказывается самым поганеньким трусом.

Происходит как бы «прояснение» образа. Он раскрывается в новом, неожиданном и истинном свете. Отсюда динамичность ряда образов в повести.

Повесть, как уже было отмечено, написана в форме дневника. Это помогает автору оживить повествование, максимально сблизить с читателем своих героев.

Но, с другой стороны, эта дневниковость, приводит и к некоторой суженности изображения фронтовой действительности, замкнутого и ограниченного сферы деятельности Наташи. В повести регистрируется каждое новое событие жизни Наташи, вплоть до самых мелких фактов, и это скрывает более широкую перспективу. Интимный «камерный» тон повествования порой слишком смягчает, приглушает грохот ожесточенных сражений. Особенно усиливается это впечатление преувеличением в ряде мест общей духовной незрелости героини, иногда переходящей в сентиментальность.

С этим же связана и недостаточная полнота и внутренняя содержательность некоторых образов бойцов, командиров и врачей (хотя бы того же Храмцова). Характерная запоминающаяся деталь и лирическая окраска повествования, при всей выразительности и эмоциональной действенности этих средств, оказываются тем не менее недостаточными. Особенно чувствуешь это, когда читаешь описание последних дней работы Наташи (конференция врачей и др.). Характеристики становятся здесь бледными и отрывочными. Живой, художественно полнокровный образ уступает место беглым и торопливым наброскам. Самое же главное—Ю. Герману надо найти меру, чтобы интимность повествования не переходила в признак духовной незрелости — «детскости» главных героев. На самом деле они более взрослые во всех отношениях. Духовный мир их реальных прототипов более богат. Непонимание этого писателем приводит к некоторому однообразию ряда его последних произведений. Счастливое исключение составляет повесть «Студеное море».

З. Паперный.



СОЛДАТ-ПОЛКОВОДЕЦ*

Книга Кирилла Пигарева «Солдат-Полководец», несомненно, будет сочувственно встречена широким читателем. Написанная живо и содержательно, она читается с большим интересом и увлечением.

Книга открывает поэтичным народным преданием, в котором «выразилось твердое убеждение в том, что Суворов не может уме-

реть. Он будет жить в своих заветах, бессмертных в памяти народа. А народ, хранящий заветы Суворова, побежден быть не может.»

Автор книги ставит своей задачей показать гениального полководца как воспитателя русского воина и раскрыть глубоко народное содержание суворовского военного искусства.

Генеалогия Суворова-полководца содержит всех выдающихся военачальников далекого и недавнего прошлого, Суворов вдохновлялся

* Кирилл Пигарев. Солдат-полководец. Очерки о Суворове. ГИХЛ, 1934 г.

примерами и Эпаминонда, и Юлия Цезаря, умел извлекать пользу даже из безрассудной решительности Карла XII. Пигарев убедительно показывает, что непосредственным образом для него был, все же, Петр I и его «Устав воинский». Таким образом, Суворов ставится в ряд величайших представителей и основоположников национальной школы русского военного искусства.

По мнению Пигарева, Суворова и Петра сближает между собой самоотверженная любовь к отечеству, возвышенное понимание своего долга перед родным народом, неутолимая жажда деятельности, исключительное умение владеть своим временем, прямота и упорство характера, возвращение к внешней условности в обращении с людьми, русский склад ума с его трудолюбием, приветливостью и живым чувством высокого и смешного.

Суворов беззаветно верил в силу и высокие моральные качества русского солдата, русского человека. «Не одним штыком поражали противника суворовские «чудо-богатыри», — пишет Пигарев, — они поражали его своим моральным превосходством». Природная выносливость и способность к дисциплине, сознательное исполнение своего долга и инициатива в бою, беззаветная храбрость и презрение к трусости, высокая человечность в обращении с поверженным врагом — вот отличительные черты русского воина, воспитанного Суворовым.

Эти черты нашли свое выражение и в знаменитых афоризмах-наставлениях великого полководца: «Русак не трусак; пройдем», «Чем ближе к врагу, тем лучше», «Храбрый вперед — и жив; трусишку и назад убивают, как собаку; ему, если и жив останется, ни чести, ни места нет»; «Солдат — не разбойник» и многих других. Характеризуя суворовскую школу военного искусства, автор немногословно, но очень выразительно и эмоционально говорит о плеяде славных русских полководцев: Кутузове, Багратионе, Кульневе и других, выросших под крылом Суворова.

Второй очерк, входящий в книгу, — «Герой Суворова», — посвящен наставлениям великого полководца о достоинствах офицера. В этом отношении особенный интерес представляет собою письмо Суворова Карачаю, своему крестнику, поручику Финагорийского полка. «Достоинства военные, — писал в этом письме Суворов, — суть: для солдата отвага, для офицера смелость, для генерала доблесть, руководствуемые началами порядка и дисциплины, управляемые бдительностью и предусмотрительностью».

Глубокое знание военного дела, неустанное совершенствование своего военного мастерства

и умелое использование момента как в мирной обстановке, так и в особенности в бою («одна минута, — говорил он, — решает исход баталии»), относились Суворовым к основным обязанностям командира. Будучи сам всесторонне образованным и начитанным человеком, он и от офицеров требовал широкого образования, необходимого для того, чтобы нравственно воспитать себя и служить нравственным авторитетом в глазах своих подчиненных. В частности, Суворов высоко ценил знание иностранных языков и сам владел восемью языками.

Суворову было чуждо зазнайство и пренебрежительное отношение к противнику. В письме к Карачаю он писал: «Никогда не презирай своего неприятеля, каков бы он ни был; знай хорошенько его оружие, и способы обращения с ним; знай, в чем заключается сила и в чем слабость врага».

Суворов не отрицал честолюбия, но честолюбия без кичливости, честолюбия, выражающегося в стремлении быть героем на благо и пользу родины.

Такзы в понимании Суворова достоинства офицера, обстоятельно и интересно комментируемые автором рецензируемой книги, и нельзя не согласиться с автором, когда он пишет: «Чудесный образ этого русского героя и гениального полководца близок нам тем, что три всей своей сложности он прост в своем героизме и героичен в своей простоте. А ведь эти черты его — черты глубоко народные, отличавшие и отличающие русского человека на всем протяжении его многовековой истории».

Большой интерес в книге представляет глава «Атака словом и пером». Это оригинальное исследование, в котором автор ставит своей задачей «дать почувствовать Суворова через язык и стиль его писем, приказов и обращений к солдатам».

Ясность, точность, образность языка Суворова вытекала из глубокого знания и понимания им народной речи. Он широко использовал русские пословицы, поговорки, поисказки и сам создал множество ярких афоризмов, близких к изречениям народной мудрости: «воюют не числом, а умением», «глядењем крепости не возьмешь», «нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет», и многие другие.

Пигарев обоснованно делает вывод: «Стремительности суворовских действий как нельзя лучше отвечает динамичность суворовского стиля. Это настоящая атака словом».

Книга Пигарева — результат добросовестного и вдумчивого изучения общерусской литературы о Суворове и любовного отношения к избранной теме.

Н. Павлов



КОРОТКО О КНИГАХ

«ЗАВЕТЫ СУВОРОВА» (сборник цитированных изречений). Составил Е. Пигарев. ОГИЗ. Гослитиздат, 1943. — Многие из суворовских изречений давно стали любимым выражением народной мудрости, запоедаями поведения русского солдата.

Составитель сборника Е. Пигарев отмечает в предисловии:

«Афоризмы Суворова — плод богатейшего боевого и жизненного опыта. В них сказались не только Суворов-полководец, но и Суворов-мудрец, наследник и хранитель лучших национальных традиций русского народа».

Это верное определение как нельзя лучше подтверждают сами афоризмы.

Круг заложённых в них мыслей необычайно широк. Изречения Суворова говорят не только о воинской доблести и умении, но и о национальной гордости, о понятии чести, о нравственных принципах, о патриотизме, о человеколюбии русского война-человека. Обо всем, что помогает не только воевать и побеждать, но и жить достойно и справедливо, в мирные времена. Можно не сомневаться, что «Заветы Суворова» будут иметь большое воспитательное значение для самых широких кругов советского народа.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН. «СТАЛИНГРАД». «Советский Писатель», 1943. — В книге собраны очерки, написанные на Сталинградском фронте в период с сентября 1942 г. до начала января 1943 г. Очерки эти известны читателю по газетам и журналам. В дни героической обороны Сталинграда этих очерков ждали с оромым волнением. Но и сейчас, когда свыше года отделяет нас от описываемых событий, книга Василия Гроссмана «Сталинград» нисколько не утратила смысла и значения. Этим мы обязаны таланту художника, который не только описал великую битву, но как бы проник в душу и помыслы ее участников. Очерки Гроссмана рисуют значительные эпизоды из беспримерной в истории операции, руководимой полководческим гением товарища Сталина.

«Сталинград» сохраняет не только для нас, но и для будущего поколения незабываемые дорогие черты советского воина — не только военной его доблести, но и тех высоких нравственных и моральных качеств, которыми по праву гордится советский народ. Эти очерки читатель будет не раз перечитывать как летопись славы великого советского народа в его битве с фашизмом.

ПАВЛО ТЫЧИНА—ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, Государственное Издательство Детской Литературы, НКП РСФСР, М.—Л., 1943. — Сборник содержит ряд лучших произведений известного украинского поэта. Стихи эти взяты из книг, изданных поэтом за 25 лет литературной деятельности («Солнечные кларнеты», «Пауг», «Ветер с Украины», «Партия ведет», «Чувство единой семьи», «Сталь и нежность», «Побеждать и жить»). Выдающийся мастер поэзии, заме-

чательный советский патриот, продолжающий лучшие русские традиции русской и украинской литературы Павло Тычина глубоко и верно выразил в своих стихах душу и чаяния украинского народа в его борьбе за свободу, счастье и справедливость, его лютую ненависть к фашизму. Сборник дает читателю возможность почувствовать все поэтическое своеобразие Павло Тычины и знакомит его с произведениями, воспитывающими любовь к родине. Юный советский читатель с благодарностью примет эту книгу.

ВЕРА ИНБЕР. «ДУША ЛЕНИНГРАДА». Стихи. ОГИЗ. Гослитиздат. М. 1943. — В книжке всего одиннадцать стихотворений и одна глава из поэмы «Пулковский меридиан».

Но как много и хорошо сказано о городе-герое, о великой силе духа ленинградцев, о матерях и женах, чья заболтавшая женская рука помогла отстоять израненный город, о детях — чудесных маленьких патриотах нашей земли.

В стихах Веры Инбер выражены чувства народа, гордо своей исторической славой и боевой непреклонностью, овеянного праотей ленинско-сталинских идей.

«Душа Ленинграда» предстает перед нами прекрасная в любви к родине и грозная в ненависти к врагам ее.

Ленинградская эпопея, несомненно, будет не раз еще темой больших поэтических полотен. Но как бы совершенны ни были будущие произведения, стихи В. Инбер, написанные от полноты потрясенного сердца поэтом-очевидцем и участником исторической битвы, сохранят всю теплоту живого дыхания времени.

Не раз вспомнятся строки:

И ежели отныне захотят,

Найдя слова с понятием вровень,

Сказать о пролитой бесценной крови,

О мужестве, проверенном сто крат,

О доблести, то скажут: «Ленинград, —

И все сольется в этом слове».

Н. РЫЛЕНКОВ. «СИНЕЕ ВИНО». ОГИЗ. Гослитиздат М. 1943. — Николай Рыленков — молодой поэт, несомненно, одаренный, но столь же неровный. Декадентское название книжки способно ввести читателя в заблуждение, и оно не случайно, хотя и не определяет существо заключенных в ней стихов. Рыленков владеет лирическим чувством, он понимает, что война вовсе не зачеркнула в советском человеке все богатство и многообразие личных чувств, а лишь изменила их выражение. Советские воины несут в своем сердце не только опалющую ненависть к врагу, но и нежную память о семье и друзьях. Их волнует, радует и печалит всё, чем жива полноценная человеческая душа. Этими изостросными проникнуты стихи сборника.

Но поэт не всегда понимает, что истинные чувства прекрасны своей простотой и непосредственностью. Выспренность не помогает

...вину, не возвышает, а умаляет их значимость.

В разделе «Испытание огнем и железом» автор пишет о войне:

И синего вина, вина печали,
Она нам полной мерой поднесла,
Когда мы в первых схватках постигали
Законы боевого ремесла.

В этих строках, думается нам, точности и ясности чувства мешает мнимая поэтичность. На самом деле переживания первых боев выглядят куда проще и мудрее, чем этикетка «синее вино печали». Пожалуй, не имело смысла на этом останавливаться, если бы тяготение к словесной вычурности, наигранному умиленню, комнатной красавице и просто многословию не сказывалось и в других стихах («Дружба», «Разбитое зеркало», «Письма без адреса» и др.).

Есть в стихах Рыленкова настоящая искренность, чувство времени и живое ощущение родной природы. Но шаткость поэтической манеры — шарахание от внепоэтического упрощения к мнимой поэтичности — нарушают ясность и внутреннюю ценность стиха, ослабляют впечатление.

Книжку «Синее вино» читатель воспримет не без интереса с ожиданием, что автор в ближайшем будущем скажет свое собственное полноценное слово в поэзии о виденном и пережитом.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ, «РАССКАЗЫ О РОДИНЕ», ОГИЗ, Гослитиздат, М. 1943, — Написанное Платоновым крайне неравноценно, но в книжке «Рассказы о родине» собрано несколько лучших рассказов, написанных писателем в дни Отечественной войны, — «Одухотворенные люди», Рассказ о мертвом старике», «Броня», «Железная старуха», «Дед-солдат» и «Крестьянин и Ягафар».

Автору удалось показать живые, исполненные душевной силы и личного своеобразия образы самых разнообразных представителей советского народа, объединенных единым патриотическим чувством.

Тут пятеро бессмертных героев-моряков, поградивших своей смертью путь врагу («Одухотворенные люди»), и пожилой инженер Саввин — чудесный русский человек, талантливый изобретатель («Броня»), и старый дед-солдат, и башкирский крестьянин Ягафар, который становится «красноармейцем по хлебному делу».

Каждого из своих героев автор стремится показать как неповторимый характер со мно-

гими оттенками чувств, мыслей, настроений, выражающими их любовь и преданность родине. В этом художественное достоинство и ценность книжки.

ЗИНАИДА ШИШОВА, «БЛОКАДА» (Поэма), «Советский писатель», М. 1943. — «Блокада» — одно из первых больших поэтических произведений о незабываемых месяцах героической обороны осажденного Ленинграда. Это своеобразный лирический дневник женщины-матери. На ее хрупкие плечи пала непомерная тяжесть голода, лишений и тревог. Среди оледеневшего, разбомбленного быта, казалось, не удержаться ничему живому. Враг с кровожадностью садиста строил на этом свои расчеты.

Трагический облик голодной блокады со всей неумолимостью реалистического видения обрисован автором. Поэт правдив, он ничего не сглаживает и не скрывает, но, видя все горе, понимает, что истина глубже и шире внешней картины разрушений.

Для ее выражения поэт нашел правдивые, хотя и не особенно яркие слова. Ему в общих чертах удалось показать силу передовых идей, которые воспитали в советских людях мужество, человечность, веру в справедливость. Именно эти чувства в критическую минуту еще больше объединили ленинградцев в единую дружную семью — трудовую и самоотверженную.

Поэма показывает, как выстояли ленинградцы, поддерживая друг друга морально и физически. Эпические элементы поэмы лишь в незначительной мере передают глубину затронутых в ней событий. Но то, что написано в ней, волнует искренностью чувства.

ЛЕСЯ УКРАИНКА, «ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ», Государственное издательство «Искусство», М.—Л., 1944. — «Лесная песня» — одно из лучших драматургических произведений выдающейся украинской писательницы, классика украинской литературы Леси Украинки.

Перевод поэта Мих. Исаковского передает не только все богатство содержания «Лесной песни», но и всю ее поэтическую, романтическую прелесть. Искусство поэта-переводчика слилось воедино с внутренней красотой и поэтической силой оригинала.

Появление «Лесной песни» в переводе М. Исаковского еще одно свидетельство дружбы советских народов, несокрушимого их единства в борьбе против общего врага, в защите свободы и национальной культуры народов нашей великой родины.



Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Шербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 12/V-44 г.
A7857. 10 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 1160.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.